

Вера

ПАНОВА

Кружилиха Евдокия

Лучшая мировая классика

Кружилиха. Евдокия
Вера Федоровна Панова

Аннотация
Вера Федоровна Панова. Кружилиха. Евдокия
Кружилиха
Глава первая. Листопад
Глава вторая. Главный конструктор
Глава третья. Возвращение Лукашина
Глава четвертая. Уздечкин и Толька
Глава пятая. Дети завода
Глава шестая. Тетрадки
Глава седьмая. Накануне победы
Глава восьмая. Мать
Глава девятая. День рождения Нонны
Глава десятая. День рождения Нонны
Глава одиннадцатая. Воскресенье
Глава двенадцатая. Неприятности личные и служебные
Глава тринадцатая. Любовь
Глава четырнадцатая. Ночью
Глава пятнадцатая. Концы и начала
Евдокия
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

29
30

Аннотация

Действие романа «Кружилиха» происходит в последние месяцы Великой Отечественной войны. В рабочем городке на Урале находится крупный оборонный завод, где круглые сутки гремят заводские цеха. Там война свела очень разных людей, но их объединяет стремление помочь фронту. Роман про людей, которые своим трудом приближали победу, про инженеров, конструкторов, вчерашних школьников, которым раньше времени пришлось повзрослеть и наравне со взрослыми встать к станкам.

В небольшом провинциальном городке живут рабочий по имени Евдоким и его жена Евдокия. Оба трудолюбивые, работящие и хозяйственные, но своих детей у них нет, поэтому они взяли на воспитание приемных. Их жизнь может показаться на первый взгляд незамысловатой, обыденной, однако на самом деле она полна сильных страстей, ярких и важных событий, заставляющих глубоко сопереживать героям.

Вера Федоровна Панова
Кружилиха
Евдокия

© В. Панова, наследники, 2024
© ООО «Издательство АСТ», 2025

Кружилиха

В прозрачном золоте, в воздушно-алом сиянье над широкой рекой поднимается солнце. Вместе с солнцем поднимается в небо медленный, торжественный гудок. Он заглушает грохот паровозов, шум машин, человеческие голоса — и беззвучно проходят паровозы по заводскому двору, беззвучно сбрасывают свой груз подъемные краны, беззвучно шевелят губами люди… Могучий гудок долго плывет по реке, его слышат в городе, который стоит в девяти километрах от Кружилихи.

По гудку к проходным устремляются люди. Одни пришли пешком из поселка, другие приехали трамваем, большинство — поездами. Длинные поезда подвозят и подвозят людей к полустанку — из города, из пригородов. Только остановится поезд, народ высыпает из вагонов и спешит к заводу — и приливает, приливает, приливает толпами к проходным. Тулупы, ватники, кожанки, шинели, штатские пальто, меховые шубки. Платки, ушанки, шлемы-буденовки, вязаные шапки. Мужчины и женщины, брюнеты и блондины, высокие и малорослые, веселые и печальные,

озорные и скромные — десять тысяч людей добрых всякого роду-племени сошлось на завод на дневную смену.

Гудок утихает медленно, он словно спускается с высот — ниже, ниже, припадает к земле, распластывается по ней, замирает где-то в недрах глухой басовой нотой. Протекли, разлились по цехам людские потоки. Только охрана осталась в проходных… Смена началась.

Глава первая
Листопад

В морозный январский вечер генерал Листопад, директор Кружилихи, отвез жену в больницу.

Больница была хорошая, лучшая в городе. Мирзоеву, шоферу, приказано ехать с особой осторожностью.

— Чтобы как по воздуху! — сказал Листопад.

И Мирзоев, который во время беременности Клавдии был отмечен как самый внимательный из шоферов, превзошел самого себя: не ехали — плыли.

— Мы тебя, Клаша, словно на руках перенесли, — сказал Листопад, помогая жене выйти из машины.

Стояли у чугунных решетчатых ворот. За воротами был двор с большими белыми деревьями, и в глубине двора — родильный корпус. Над входом в корпус неярко горел фонарь. От ворот к крыльцу, между высокими, в рост человека, сугробами, была расчищена дорожка-ущелье. По этому ущелью Листопад довел Клавдию до крыльца. Она шла быстро, возбужденная; Листопад слышал ее

дыхание. Он сжал ее локоть и сказал:

— Не волнуйся, все будет хорошо.

— Я вовсе не волнуюсь, с чего ты взял? — сказала Клавдия.

В вестибюль вошли вместе, а дальше Листопада не пустили. Пожилая женщина в белом халате и очках завладела Клавдией, а ему велела уходить и взять с собой Клавдину шубку. Шубка новая, котиковая, предмет забот и восторгов Клавдии.

— В самом деле, — сказала Клавдия, — возьми ее домой, а будешь нас забирать — привези, не забудь.

Она радостно засмеялась, и Листопад улыбнулся, представив себе, как повезет отсюда Клашу с ребенком… Он записал номер телефона дежурного врача. Клавдия крепко поцеловала его в губы и пошла вверх по лестнице, сопровождаемая женщиной в очках. Листопад вернулся в машину.

— Вот, — сказал он с притворной досадой, садясь рядом с Мирзоевым, а шубу кладя на заднее сиденье, — вечно наградят какой-нибудь чепухой на постном масле. Никогда не женись, Ахмет, канитель с ними. Придется в театр тащиться с шубой.

В театре происходило в этот вечер совещание городского партактива.

Листопад опоздал. Идя через фойе, он видел в приоткрытую дверь тесные ряды голов в партере и слышал голос Макарова, первого секретаря горкома партии. Судя по долетавшим фразам, Макаров начал доклад уже давно. Через кулисы Листопад прошел на сцену, в президиум. Люди за длинным красным столом потеснились и дали ему место посредине. Сейчас же Зотов, директор авиазавода, прислал ему записку: «Ты что опаздываешь?» Листопад на том же листке написал ответ: «Жену отвозил в родильный». И видел, как записка пошла по рукам и как все читавшие сочувственно улыбались… Зотов перегнулся за спиной соседа к Листопаду и сказал громким шепотом:

— Причина уважительная. Поздравляю.

— Рано! — так же шепотом ответил Листопад, но про себя подумал, что это может произойти каждую минуту.

Надо будет позвонить в больницу из театра после конца заседания…

Он ждал прений. Доклад интересовал его мало: все, что говорил Макаров, предварительно обсуждалось на бюро горкома, и некоторые цифры для доклада Листопад посылал Макарову сегодня утром. Листопад руководил заводом с сорок вто-

рого года и был в городе свой человек.

Листопад всматривался в зал. Где там его люди — коммунисты Кружилихи? Рябухина, парторга, здесь нет: он в госпитале, на той неделе ему оперировали флегмону, вызванную засевшим в голени осколком. Вчера Листопад говорил по телефону с профессоршей. Профессорша сказала, что Рябухин еще не раз вернется на операционный стол, потому что возни с осколками, застрявшими в его голени, хватит лет на двадцать… Заехать завтра проведать Рябухина. А приятель Уздечкин где? Вон он, приятель Уздечкин, сидит крайним в пятом ряду и хмуро смотрит в лицо докладчику, а сам думает о Листопаде и до смерти хочет посмотреть на него, но удерживается. И нарочно сел с краю, чтобы ловчее было выходить к трибуне, когда придет время выступать.

Ах, Уздечкин, Уздечкин, ведь сломаешь себе шею дурацким своим упрямством. Доведешь меня до крайности — что с тобой, Уздечкин, будет? Думаешь, тебе рабочие верят больше, чем мне? Не век тебе сидеть на выборной должности. Специальность у тебя пустяковая, да и забыл ты ее за эти годы. Вернуться на производство при твоей амбиции тебе будет ой нелегко!..

У Уздечкина на лице напряженная гримаса,

он бледен, худ и некрасив, как все болезненные и плохо побритые люди. И Листопад, который любил все красивое, здоровое и веселое, посматривал на Уздечкина морщась…

Зато приятно смотреть на старика Веденеева: он пришел на актив в черной тройке превосходного сукна, хотя и старомодной. На нем белоснежный крахмальный воротничок и темный галстук, усы и седые виски аккуратно подстрижены. Вид именинника. Молодец, Никита Трофимыч! Знай наших. Вот какие у нас на Кружилихе рабочие-кадровики!

Никита Трофимыч сегодня и вправду именинник: он получил известие о старшем сыне Павле (младший убит в сорок третьем году). Павел вылечился, ему сделали протез, он прислал письмо отцу и в свою цеховую парторганизацию. Пишет, что скоро приедет. И старик Веденеев, забыв свою гордую сдержанность, сияет от счастья… Да, в такую годину хоть без ноги, но возвращается сын, — большое счастье…

Макаров закончил доклад и сошел с трибуны. Когда он садился на свое место в президиуме, его умный, чуть лукавый взгляд скользнул по лицу Листопада. Листопад понял: Макарову наперед известно все, что будет сейчас говорить Уздечкин.

Поддержит он Уздечкина или не поддержит?

Выступали коммунисты — главным образом рабочие Кружилихи и авиазавода. Они говорили о вещах, которые в газетах называются производственными неполадками.

Листопад и сам знал, какие у него неполадки. Это были участки, куда он еще не добрался и где требовалось его вмешательство. Старик Веденеев рассказал о том, что новый пресс, о котором столько было разговоров, до сих пор не пущен.

— Мы через партийную организацию и технические совещания неоднократно обращали внимание директора, — сказал он, посмотрев в сторону Листопада.

Листопад кивнул головой: верно, обращали. На секунду ему стало досадно, что всплыла история с прессом. Два месяца назад Зотов чуть не оборвал у него телефонный провод — христом-богом молил: уступи мне пресс, я в следующем квартале получу, отдам. Листопад не уступил. Теперь Зотов обижен. Он пишет записку: «Ты что же как собака на сене: мне не дал и сам не пользуешься…»

Ладно. Пойдет пресс, не завтра — послезавтра пойдет.

После Веденеева выступила работница с авиазавода и рассказала, что многие жилища у них

в очень плохом состоянии и дирекция не принимает мер. Зотов нахмурился, перестал писать, закачался на стуле… Листопад хотел было написать ему ядовитую записочку, но не успел: на трибуну взошел Уздечкин.

Знакомство Листопада с Уздечкиным произошло меньше года назад. Когда Листопад принял завод, председатель завкома Уздечкин был призван в армию. На фронте его тяжело контузило, он долго лечился, в действующую его обратно не пустили, а послали в Омск, на политработу. Он писал на завод отчаянные письма, прося его выручить и забрать домой. Рябухин занялся этим делом и выхлопотал Уздечкину разрешение вернуться на завод, где его вскоре снова выбрали председателем завкома.

Уздечкин осмотрелся и пришел к Листопаду с кучей претензий.

— Нет, в это вы не путайтесь, будьте любезны, — сказал ему Листопад. — Это предоставьте мне.

— Извините, товарищ директор, — сказал Уздечкин, — разве вы не знаете, что это прямая функция профсоюза?

— Не знаю, — сказал Листопад, которому Уздечкин сразу не понравился. — Это ваша забота — знать свои функции.

— А социалистическое соревнование вы с нас спросите? — осведомился Уздечкин.

— Не я спрошу, — ответил Листопад, — фронт спросит.

— Этот разговор, — сказал Уздечкин, — придется продолжить в другой обстановке.

— Не к чему, — сказал Листопад, — потому что ничего нового вы от меня не услышите.

С того дня, разгораясь и накаляясь, шла эта борьба. Листопада она иногда раздражала; Уздечкина сжигала, как чахотка.

Листопаду говорили, что у Уздечкина большое несчастье: жена его пошла на фронт санитаркой и погибла в самом начале войны; остались две маленькие девочки, подросток — брат жены и больная старуха — теща; Уздечкин в домашней жизни — мученик. Листопад был равнодушен к этим рассказам, потому что Уздечкин ему не нравился.

Что он делает, этот человек! Он вытаскивает из нагрудного кармана гимнастерки целую стопку листков. Кажется, он намерен делать доклад длиннее, чем у Макарова…

Худыми пальцами он пытается застегнуть пуговицу, пуговица отрывается, он роняет ее на пол. Кто-то в президиуме нагибается и подает

ему пуговицу.

— Вопрос, товарищи, не в прессе, — говорит Уздечкин, — пресс — это, в общем, мелочь. Вопрос гораздо глубже и принципиальнее…

Фу-ты, как скучно начал. Ближе к делу. Говори прямо, как я тебя зажимаю…

— Что я обнаружил, вернувшись на завод? Обнаружил прежде всего, что дирекция не имеет контакта с завкомом и не стремится к этому контакту…

Врешь, прежде всего ты обнаружил, что завод перевыполняет программу из месяца в месяц. При старом директоре не вылезали из наркомата, плакались — скиньте процентов пятнадцать, не управляемся, мощности не хватает…

— Никакой согласованности у нас, по сути дела, нет, а есть только единоначалие, точнее сказать — единовластие, еще точнее — директорское самодержавие…

Смотри, какая точность…

— Никогда наш завком не занимал в жизни предприятия такое ничтожно малое место, как сейчас…

Кто ж тебе виноват, голубчик? Сумей занять большое место. Сумей…

— Прежний директор считался с нами, он умел

поддерживать престиж профсоюза на заводе…

Да своего-то престижа не поддержал, вот беда. Сняли за непригодность…

— Товарищ Листопад пытается подменить собой профсоюзную организацию…

— Факты! Факты! — с легким нетерпением говорит Макаров.

— Пожалуйста. Товарищи, вот здесь записаны факты за один только последний год…

Он потрясает перед залом пачкой листков. Губы у него серые.

Зотов оставил свой блокнот и с приоткрытым ртом смотрит на Уздечкина. Прищурившись, зорко смотрит Макаров. Все смотрят. Такого выступления за годы войны не слышали на городском активе.

Уздечкин перечисляет невыполненные предложения технических конференций. Порядочно — штук двадцать. Есть очень дельные. Черт его знает, и в самом деле: почему они не выполнены? Одни — потому, что параллельные проекты разрабатываются у главного технолога, другие как-то забылись за более срочными делами…

— Вывод такой, что директор плохо прислушивается к голосу масс…

Печальный вывод.

— …зато каждое требование главного конструктора выполняется моментально, как будто это приказ наркомата…

Да, старичка берегу, что верно, то верно.

— У главного конструктора ревматизм или там подагра, так он перенес работу отдела к себе на квартиру. Инженеры ходят к нему заниматься. Товарищи, это же недопустимое явление: что за частная контора в условиях социалистического производства!

А уйдет главный конструктор на пенсию — лучше будет? Другого такого не скоро сыщешь.

— Или возьмем историю с начальником литейного цеха Грушевым. Завком против того, чтобы его премировали; а директор премирует, что называется, каждую пятницу. Лично я высказывался и против награждения его орденом.

— Почему? — спрашивает Макаров.

— Потому что у рабочих определенное мнение о нем. Потому что Грушевой думает только о своей выгоде, как бы выдвинуться… Но директор к нам не прислушался.

А мне некогда разбираться, о чем Грушевой думает. Цех Грушевого систематически перевыполняет программу по взрывателям, и я представляю Грушевого к награде, — просто и ясно.

— …Если требуются средства на наши культурно-массовые или бытовые мероприятия, то директор отпускает неохотно, и приходится долго просить и доказывать. И в то же время за победу над командой «Спартак» он дал каждому из наших футболистов по тысяче рублей, а вратарю две тысячи…

— Нет, правда? — Зотов живо поворачивается к Листопаду. — Ух, черт!.. — говорит он с восхищением.

— Невозможно определить, чем руководствуется директор в своих симпатиях и антипатиях. Между прочим, для него не существует различия между людьми, пролившими кровь за родину, и людьми, которые всю войну просидели в тылу…

— Демагогия! — крикнули в зале. Крикнул старик Веденеев, у которого младший сын убит на фронте, а старший возвращается без ноги…

У Зотова на лице нескрываемое удовольствие. Вот так *пропесочивают* директора Кружилихи! Ну и ну!

— …Таким образом получается, что завкому директор не оставляет на производстве ничего, кроме организации социалистического соревнования…

— Ну, это не мало… — замечает Макаров. — Это

не мало. Дай вам бог справиться…

— …и тут мы бесправны. Когда доходит до оценки показателей, является директор и отстраняет нас. И работники, которых мы намечаем, остаются в тени, а на первое место выдвигаются люди, угодные директору…

— Потому что у меня другая мерка, чем у вас! — кричит Листопад, первый раз не сдержавшись. — Потому что я сужу человека по его труду, мне дела нет, в скольких там ваших комиссиях он состоит!..

— Вы слышали, товарищи! — кричит Уздечкин. — Директору дела нет до общественной работы!

— Демагогия! — опять кричат из зала.

— Тише! — кричат другие. — Дайте ему говорить! Не мешайте ему!

— Товарищ Листопад, — говорит Макаров, — вы получите слово — скажете.

Что тут говорить? Нечего говорить. Факты не выдуманные. Уздечкин еще не знает многого. Например: что начальник ОРСа держит в области агентов. Их обязанность — сообщать о ходе колхозных поставок государству. Как только колхоз выполнил все поставки и получил право продавать свои продукты — мы тут как тут: заключаем

договоры, забираем картошку, овощи… Через несколько дней, получив официальные сведения от организаций, в колхоз являются снабженцы авиационного и других заводов. Ан уже поздно — Кружилиха все лучшее прибрала к рукам. Зато и вы, многоуважаемый председатель завкома, картошку кушаете и в ус не дуете…

Рассказывать об этом здесь не станешь. Лучше бы вообще смолчать. Все было, все. Зажимал, нарушал, подменял. Только не из желания самодержавно властвовать: от несчастной страсти непременно самому во все вмешаться, собственными руками поднять всякое дело, хоть большое, хоть маловажное. Может, оно и не очень разумно. Даже, наверно, совсем неразумно, да что поделаешь: такой характер.

Но с другой стороны: если бы он вел себя так антиобщественно и антипартийно, как излагает Уздечкин, — неужели тот же Рябухин, тот же Макаров не сказали бы ему об этом? Сказали бы.

Сейчас придется выйти на трибуну и что-то ответить. Насчет технических предложений, почему не выполнены. К слову: не выполнено двадцать, а выполнено за этот же год больше четырехсот… Пошутить насчет футболистов, чтобы в зале засмеялись… Насчет взаимоотношений с

Уздечкиным: сослаться на Рябухина, что вот Рябухин работает же и не жалуется, что ему крылья связывают… В заключение чуть-чуть — мягко, сострадательно, деликатно — намекнуть, что у Уздечкина нервы не в порядке…

Он вышел на авансцену — большой, широкий, с набором разноцветных орденских колодочек на груди, в блистательной генеральской форме, которая стесняла его тело и которую он надевал только для официальных выходов, очень сильный и, несмотря на это, выражением глаз похожий на ребенка.

— Товарищи, — начал он доверительно.

Коммунисты, вожаки среди рабочих, люди, создающие на заводе общественное мнение, должны уйти с собрания, простив своему директору его прегрешения и веря в него по-прежнему!

— А все-таки ты собака на сене, — говорил после собрания Зотов, натягивая свою генеральскую шинель. — Прямо обидно, ей-богу. Нет, серьезно, когда пустишь пресс?

— Пущу.

— Чего ждешь?

— Человека.

— За человеком остановка?

— Тебе хорошо: кадрами себя обеспечил?

— Ну, где там, тоже, знаешь… Хочешь, я дам тебе человека на пресс? Ей-богу, дам. Он пойдет. Дать?

— Давай.

— Только уговор: ты мне за него уступи своего Грушевого. У тебя в литерном ведь уже налажено дело.

Листопад засмеялся:

— Он не пойдет.

— Нет, я серьезно. Ух, он злой на работу! Я ему знаешь какие создам условия… Давай!

— Я тоже серьезно. Не выйдет, ваше превосходительство. Мне самому нужен Грушевой.

Листопаду хотелось знать, что думает Макаров о выступлении Уздечкина. В своем заключительном слове Макаров пространно говорил о роли профсоюзов в социалистическом соревновании и даже не обмолвился о происшедшем инциденте… Макаров прошел через вестибюль, разговаривая с двумя рабочими авиазавода. Он поймал взгляд Листопада, но не остановился.

Из комнаты театрального администратора Листопад позвонил по телефону в больницу. Ему сказали:

— Ваша жена помещена в четырнадцатой палате, второй этаж. Она чувствует себя хорошо.

Нет, еще не родила. Даже схваток нет. Вы ее рано привезли. Она вам велела кланяться. Позвоните утром.

Вот тебе раз, оказывается, рано, а Клавдия торопила. Что-то ей показалось, она — сразу в больницу. Паника от неопытности. Следующего придется рожать — будет уже смыслить кое-что…

Среди ночи он проснулся один на широкой постели и, еще не открывая глаз, подумал: вдруг Клаша уже родила? Которое сегодня число? Одиннадцатое января пошло с полуночи. Это будет день рождения сына: одиннадцатое января… Ему захотелось позвонить в больницу, но он сдержал себя и позвонил только утром, как ему велели.

Женский голос спросил, кто говорит. Он назвал себя и спросил, как обстоят дела у его жены — Листопад, Клавдия Васильевна, четырнадцатая палата. Женский голос повторил торопливо: «Листопад? Подождите минуточку, я сейчас», — и трубка замолчала. Листопад ждал. Прошло много времени. Какие-то голоса переговаривались около аппарата, а трубка все молчала. Наконец ее взяли, и мужской, густой ровный голос сказал:

— Товарищ Листопад? Я прошу вас сейчас же приехать в больницу.

— Что случилось? — спросил Листопад. — Не рожает?

Голос повторил нарочито ровно:

— Приезжайте в больницу.

Таким голосом не зовут на радость.

— Несчастье? — спросил Листопад.

— Да. Несчастье.

На секунду у него помутилось в глазах.

— Может быть, надо что-нибудь… достать? привезти?

— Ничего не надо. Приезжайте.

Трубку повесили.

С вечера она была очень весела и смеялась над собой, что поторопилась. Схваток не было. Два раза она чувствовала небольшую боль… Она поужинала и уснула. Утром стали ее будить — она была мертва. И неродившийся ребенок был уже мертв.

Главный врач рассказал об этом очень подробно. Он употреблял слова: «гипертония», «сосудистая система», «сердечная периферия». Взяв лист бумаги, он нарисовал много разветвляющихся линий, чтобы объяснить, отчего умерла Клавдия. Листопад следил за проворным кончиком его карандаша и ничего не понимал. Произошла ужасная, подлая, оскорбительная бессмыслица…

— Она когда-нибудь болела дистрофией? — спросил главный врач.

— Должно быть, — сказал Листопад. — Она перенесла ленинградскую блокаду… Да, конечно, болела.

— А на приливы крови к голове она не жаловалась? — спросил главный врач.

— Ни на что она не жаловалась, — сказал Листопад и пошел от врача, глядя себе под ноги.

Тело Клавдии привезли на Кружилиху и положили в Доме культуры. Все устраивал завком. Из института, где училась Клавдия, прибежали озябшие, заплаканные девушки — ее подруги. Они принесли венки и институтское знамя, убрали Клавдию… Листопад ни во что не вмешивался.

На гражданскую панихиду явилась Маргарита Валерьяновна, жена главного конструктора. Перекрестившись и пошептав, она поцеловала Клавдию в губы и в руку, потом подошла к Листопаду и обняла его.

— Ужасно, — сказала она, — когда такое юное существо… — и заплакала.

Он не отвечал и продолжал смотреть на Клавдию.

Веки Клавдии были окружены глубокими впадинами и казались очень большими, и вся она

была не такая, как в жизни. В жизни у нее всегда были немного раскрыты губы, а теперь они сомкнуты плотно и строго, потому что челюсть подвязана: навечно подвязана, никогда уже не раскрыться милым губам… В жизни Клавдия ходила растрепанная, волосы у нее были пушистые, светлые, каждый волосок блестел на солнце, а сейчас она причесана гладко, с аккуратным пробором посредине, и приглаженные волосы кажутся более темными и делают лицо более взрослым, и гордым, и умным…

Листопад смотрел на это прекрасное новое лицо и все тяжелее чувствовал ужасную, несправедливую обиду, неизвестно кем причиненную.

Он не привык к таким обидам: жизнь его до сих пор баловала. От сознания вопиющей нелепости и непоправимости того, что произошло, у него чернело в глазах и спирало дыхание. Хоть бы все поскорее уж кончилось!.. А предстоял еще путь на кладбище, погребение — эти девушки, ее подруги, вздумают еще, чего доброго, говорить речи на могиле…

Ему вспомнилось: месяца два назад, не больше, Клавдия, растрепанная, с приоткрытым красивым ртом, сидит на диване и шьет что-то маленькое, а он рассказывает ей о своей матери.

— Ты любишь свою маму, — сказала Клавдия, слушавшая внимательно, как слушают дети.

— Люблю, — сказал Листопад задумчиво.

— И, наверно, не пишешь ей. Все сыновья такие — ленятся писать. Покойный брат редко-редко маме писал.

— Нет, я пишу, — сказал Листопад. — Как что важное у меня случится, я ей пишу. Вот — написал же, когда женился; сразу написал и послал твою карточку… Но, конечно, я оторвался от них. Мать умрет — телеграммы дать не догадаются. Письмом сообщат: такого-то числа умерла, такого-то числа похоронили, чтобы я поминал. И все.

И Клавдия слушала с участием, и в добрых, живых глазах ее блеснули слезы, — и вот прошло два месяца. Клавдия лежит в гробу, и придется писать матери о ее смерти…

Последний раз все подошли к Клавдии, гроб закрыли крышкой и понесли из комнаты. Маргарита Валерьяновна пробормотала испуганно: «Ногами, ногами!..» Гроб поставили на грузовик, убранный венками и гирляндами из сосновых веток. На другом грузовике ехал заводской оркестр с желтыми трубами. Похоронный марш они играли в медленном, торжественном ритме, а грузовики мчались полным ходом, и это было

как бред…

После похорон Маргарита Валерьяновна уговаривала Листопада ехать к ним. Листопад отказался и поехал домой.

Квартиру прежнего директора он отдал главному конструктору, а сам жил с Клавдией в двух комнатах в старом заводском доме.

Широкая мраморная лестница с пологими ступенями вела наверх, на просторную площадку. Площадка была вымощена серыми и белыми плитками. Стены белые, очень высокие; свет из громадного окна, отражаясь от них, резал глаза. Шаги по каменным плиткам звучали звонко, резко, пустынно. В обе стороны от светлой площадки расходился длинный сумрачный коридор. По левую сторону он был похож на туннель; далеко-далеко, в конце этого темного туннеля, светлело овальное окно. Стены туннеля были симметрично прорезаны высокими дверными нишами… С правой стороны коридор, разбежавшись, упирался в дверь, обитую черной клеенкой: там находилась директорская квартира. Листопад вошел, отперев дверь английским ключом.

(С одиннадцатого числа он здесь не был. Как ушел тогда утром в больницу, так и не заходил сюда, пропадал на заводе.)

Комнаты очень большие, холодные — топили плохо.

В одной был кабинет Листопада, а в другой — Клашино царство: какие-то коробочки — не поймешь для чего, какие-то флакончики — бог знает с чем, и тетрадки со стенографическими записями, которых Листопад не умел прочитать, и книги, которые он прочитать не успевал… Старые туфли валялись под кроватью. На большом зеркале висел чулок; в зеркале отражалась недоштопанная дыра на пятке; тут же торчала игла.

Листопад не любил больших, высоких комнат — он вырос в деревенской хате с беленными стенами и вымытыми фикусами. И Клавдия любила уют и часто рассказывала подругам, как она все тут великолепно устроит к рождению маленького. Она с увлечением рассказывала, какие гардины у секретарши Анны Ивановны, и как она непременно сделает себе такие же гардины, и что если кабинет разгородить книжной полкой надвое, то будет не так похоже на сарай. Но она никак не могла собраться купить материи на гардины или заказать столяру полку, и так все оставалось как есть. Один раз Листопад пришел домой в плохом настроении и накричал на Клавдию: он кричал, что ему осточертело жить

по-цыгански, и, вызвав рабочих, велел отгородить часть спальни и устроить кухню и ванную. Клавдия, видя его усердие, побежала и раздобыла где-то фаянсовую ванну. Ванну притащили, перегородки сделали, но колонку для воды поставить все не удавалось: водопроводчиков на заводе было мало, а дела у них много. Так и стояла ванна без употребления, а мыться Листопад ходил в баню. Обед супругам приносили из заводской столовой. Уборщица заводоуправления убирала им квартиру и ходила за покупками…

Листопад постоял в спальне, постоял в кабинете, опять пошел в спальню… Казалось, кликнуть: «Клаша!» — и ответит голос: «Я-а!» На вешалке шубка, та самая… Синяя тетрадка, в ней крючки и закорючки. На обложке написано: «Сопротивление материалов». Это она стенографически записывала лекции… Убрать все с глаз долой.

Но убирать он не стал. Снял китель и сапоги и лег в кабинете на диване, укрывшись шинелью.

Зимние сумерки стояли в окнах. Было тихо. Не звонил телефон.

«Клаша!» — позвал он одним беззвучным движением губ. «Я-а!» — не прозвучал, а только припомнился голос… Была Клаша, и нет Клаши. Как сон прошла…

Он заснул: трое суток он почти не смыкал глаз. Когда проснулся, солнце било в окна с востока. Он проспал остаток дня и всю ночь!

Звонили. Он босиком пошел отворять, выглянул, не снимая цепочки: за дверью стоял Рябухин в синем байковом халате, без шапки.

— Ты откуда? — спросил Листопад, впустив его.

— Из госпиталя, как видишь.

— Ты мне снишься или нет? — спросил Листопад.

Рябухин улыбнулся.

— Нет, не снюсь.

Листопад сел на измятый диван. Почесывая открытую волосатую грудь, жмурясь и позевывая, смотрел на Рябухина.

— Удрал, что ли?

— Удрал, — улыбался Рябухин. — Пришлось удрать: не выписывают и отпуска не дают.

— Чудак, — сказал Листопад. — В халате по морозу. Простудишься, садовая голова, сляжешь на месяц. Изловчился бы позвонить мне — я б тебе Мирзоева подослал с машиной и с дохой.

— Только у тебя сейчас и делов, — сказал Рябухин и отвел глаза. И от этого сочувствия, высказанного намеком, издалека, сильнее засосало

у Листопада в сердце…

— Чаю хочу, — сказал Рябухин и, хромая, ушел в кухню. Листопад слышал, как он возился там с примусом и чиркал спичками. (Рябухин жалеет его. Удрал из госпиталя в халате и от всего сердца кипятит ему чай. И верит, что этот чай поможет Листопаду уврачевать душевную рану.)

Пока Листопад умывался, чистил зубы, надевал чистую рубашку, чайник вскипел. Рябухин, ничего не спрашивая, отыскал чашки, хлеб, жестянку консервов, постелил газету на письменном столе, и они сели завтракать.

— Я к ним больше не вернусь, ты им меня не выдавай, — сказал Рябухин. — У меня уже зажило, они меня держат для наблюдений, как подопытного кролика. Профессорша эта, самая главная, полковник медицинской службы, сумасшедшая старуха, так она прямо сказала: «Я вас, говорит, выписать не могу, у вас замечательное созвездие осколков». Созвездие, слышишь? Астрономы.

(И болтает тоже для врачевания душевной раны.)

— Надо будет вернуть им эту робу, а от них получить мой костюм и шинель.

— Ты возьми пока у меня, что тебе надо, — сказал Листопад, — а халат отошли, а то еще, гляди,

обвинят в краже казенного барахла. Ну, я тебе скажу, наскочил на меня Уздечкин на активе, — продолжал он. — Пух и перья!

— Слыхал, — ответил Рябухин.

— Ах, тебе уже доложили!

— Народ приходил проведать — рассказывал.

— Ты вот что! — сказал Листопад, вдруг почувствовав ревнивое раздражение. — Ты, если солидарен с Уздечкиным, дай ему добрый совет: не тем путем действует, этак у него ни черта не получится, хоть три года бейся. В ЦК надо писать!

— Он напишет в ЦК, — сказал Рябухин, задумчиво разглядывая Листопада. — Он сказал, что дойдет до Сталина.

— Чего ж нейдет?

— Он, видишь ли, очень дисциплинированный и очень аккуратный в делах человек…

— Бездарность!

— …Как человек дисциплинированный, аккуратный и… скромный, он, естественно, обратился прежде всего в первичную партийную организацию.

— И пошел дальше по инстанциям.

— И пошел по инстанциям.

— Скучно мне с вами, черти зеленые, — ска-

зал Листопад. — Даже склоку добрую не умеете заварить.

Он сказал так нарочно, чтобы раздразнить Рябухина и вывести его из равновесия. Но тот безмятежно смотрел ему в лицо голубыми глазами и хлебал чай.

— Ты двурушник, — сказал Листопад. — Ты вот пришел ко мне сегодня и ходишь за мной, а ведь ты меня не любишь. Ты Уздечкина любишь.

Позвонили. Рябухин пошел отворять. Это была Домна, уборщица.

— Домнушка! — закричал Рябухин. — Счастлив тебя видеть! Как живешь, дорогая?.. Послушай, ты мне выручишь из госпиталя мои вещи, на тебя вся надежда…

— Директор-то дома? — спросила Домна тонким для жалостливости голосом. — На службу не идет, сердечный? Тут чем свет пакет принесли, велели отдать…

— Вот тебе пакет, — сказал Рябухин, выпроводив Домну и возвращаясь в кабинет.

Листопад вскрыл конверт — там были фотографии Клавдии, снятой в гробу; за гробом смутно виднелся сам Листопад… Когда это успели сделать?.. Листопад спрятал конверт в стол, не показав Рябухину.

— Ты и Домну любишь, — сказал он, пренебрегая возней, которую подняли вокруг его несчастья. — Ты любишь, которые простенькие, которые ни черта не умеют, кроме как пол мести и протоколы писать.

— Люблю, люблю простеньких, — сказал Рябухин, прибирая на столе. — А ты сукин сын, эгоцентрист проклятый, но я и тебя люблю — черт тебя знает почему.

Перебил телефон. Звонила секретарша Анна Ивановна. Она спрашивала, доставить почту ему на квартиру или он сам придет, и между прочим сказала, что главный конструктор прибыл на завод и бушует в цехах.

Глава вторая
Главный конструктор

Маргарита Валерьяновна, жена главного конструктора, была первой дамой на заводе.

Десять лет назад Серго Орджоникидзе призвал жен командиров промышленности к участию в общественной жизни предприятий. Маргарита Валерьяновна попробовала, и ей понравилось.

Всю жизнь она была только женой своего мужа, домашней хозяйкой, и ничего толком в общественной жизни не понимала. А тут вдруг взяла и организовала на заводе образцовый детский сад и диетическую столовую.

Ее похвалили, и она стала уважать себя. А до этого она уважала только своего мужа Владимира Ипполитовича. Она существовала для того, чтобы ему в положенный час был подан обед и в положенный — ужин, чтобы ящичек штучного дерева, стоявший на его столе с левой руки, всегда был наполнен папиросами, а медная спичечница, стоявшая с правой руки, — спичками и чтобы в шесть часов утра был готов крепкий, как йод, по особому способу приготовленный чай.

Начав свою деятельность на южном заводе, где тогда служил Владимир Ипполитович, Маргарита Валерьяновна продолжала работать и на Кружилихе.

В годы войны работы было особенно много. Иногда Маргарита Валерьяновна просто изнемогала. Она состояла в активе завкома и имела дело с врачами, бухгалтерами, инвалидами, эвакуированными, беременными, управдомами, поварихами, санитарной инспекцией, отделом народного образования, отделом социального обеспечения, отделом рабочего снабжения и детьми ясельного возраста.

Весь завод знал эту худенькую озабоченную женщину с плоской грудью, с бледным до голубизны лицом в сеточке мелких морщин и смешными мелкими кудерьками, подвязанными смешным бантом — не по моде, не по возрасту, не к лицу.

О ней говорили: «Старуха сказала, что достанет дров», «Позвоните старухе, пусть попросит директора...» Если бы Маргарита Валерьяновна узнала, что ее называют старухой, она бы очень удивилась. Она считала себя молодой. Тридцать пять лет назад, когда она выходила замуж за своего Владимира Ипполитовича, он был уже мужчина

в годах, а она была совсем юное существо. И все тридцать пять лет он сохранялся в ее сознании как мужчина в годах, а она сама — как юное существо. Летом она носила платьица с оборочками, носочки и туфли-босоножки, какие носят молоденькие девушки. При случае проявляла милую кокетливую резвость.

Вообще наружностью и манерами она была похожа на старую девицу, а не на замужнюю женщину почтенных лет.

Она никогда не была матерью, потому что Владимир Ипполитович не хотел детей. Он считал, что дети отнимают у родителей много времени и сил, которые могут быть использованы более продуктивно. Из детей еще неизвестно, что получится, а из него, Владимира Ипполитовича, уже получилось незаурядное явление, и этим явлением надо дорожить, и Маргарита Валерьяновна должна оберегать и лелеять его, Владимира Ипполитовича, выдающегося изобретателя, одного из крупнейших конструкторов в стране, а не каких-то там детей, из которых еще неизвестно, что получится.

Против общественной деятельности Маргариты Валерьяновны Владимир Ипполитович не возражал, но поставил условие: чтобы от этой

деятельности никоим образом не страдали его интересы. Маргарита Валерьяновна, ужасаясь своей решимости, дала слово, что интересы не пострадают. И вот десять лет она держала свое обещание.

Владимир Ипполитович вставал по будильнику в половине шестого. В шесть он пил чай: очень крепкий, очень сладкий, не очень горячий, но и не чрезмерно остывший, ровно два стакана и без крошки хлеба. Потом он выкуривал папиросу. Пока он пил чай и курил, нельзя было разговаривать, нельзя было громко дышать: он в это время обдумывал свои занятия на предстоящий день. Несколько блокнотов лежало перед ним; он делал в них пометки. В шесть тридцать он забирал свои блокноты и уходил из столовой в кабинет, сказав «спасибо» и поцеловав у безмолвной Маргариты Валерьяновны ручку.

До девяти он работал один; потом приходили конструкторы. Они звонили робко, входили тихо: они боялись главного конструктора. То, что он сосредоточил основную работу отдела в своей квартире, было для них мучением.

Под эту работу он отвел в квартире три самые большие и светлые комнаты. В них было очень тепло: Владимир Ипполитович страдал

ревматизмом. Удобные столы, отличные лампы, техническая библиотека на четырех языках, телефон, ковры под ногами… Любой конструктор с радостью променял бы этот комфорт на неуютное, плохо отопленное помещение отдела на заводе, где сидели теперь только копировщики, — лишь бы уйти от неусыпного, придирчивого надзора главного конструктора.

Они не могли не восхищаться им, потому что то, что он делал, было великолепно. Они понимали, что не каждому инженеру выпадает счастье иметь такого учителя. Но они не могли не ненавидеть его, потому что они были люди, усталые люди, со своими недомоганиями, детишками, бытовыми неурядицами, заботами, — а он не хотел считаться ни с чьей усталостью и ни с чьими недомоганиями и заботами. Если кто-нибудь не являлся на работу по болезни, он воспринимал это как личное оскорбление.

— Я же работаю! — говорил он.

Он мог уволить человека неожиданно и без объяснений — за малейшую небрежность, за пустяковый просчет и просто из каприза. Дальнейшее было делом дирекции и профсоюза; выгнанный волен был переводиться в цех или совсем уходить с завода, главного конструктора

это не касалось.

С работниками, которыми он дорожил, он был корректнее, чем с другими; но ни с одним не был ласков.

Для него не существовал общезаводской распорядок дня; своих работников он подчинил своему режиму.

В половине второго он вставал и уходил из кабинета. Это был знак, что конструкторы могут расходиться на обеденный перерыв.

За приготовлением его обеда наблюдала сама Маргарита Валерьяновна. На домработницу опасно было положиться. Не дай бог что могло произойти, если бы еда оказалась не по вкусу Владимиру Ипполитовичу: он не стал бы есть! А Маргарита Валерьяновна захворала бы от раскаянья… Он ел всего два раза в день и помалу, но пища должна была ему нравиться. На сладкое он съедал маленький кусочек пирожного домашнего приготовления. И в самые трудные месяцы войны, когда город питался горохом и льняным маслом, Маргарита Валерьяновна героическими усилиями добывала белую муку, ваниль, шафран и пекла мужу пирожное, без которого, по ее убеждению, он не мог обойтись.

После обеда Владимир Ипполитович немного

отдыхал, затем опять уходил в кабинет — до полуночи.

— Мало спите! — говорил пользовавший его доктор Иван Антоныч. — В наши с вами годы, уважаемый пациент, спать надо больше.

— Я сплю позорно много, — возражал Владимир Ипполитович. — Эдисон спал четыре часа в сутки.

Над его столом стоял на полочке радиорепродуктор. Он был включен лишь настолько, чтобы звуки из эфира доносились как тихий шепот, — этот шепот не мешал Владимиру Ипполитовичу. Когда из репродуктора еле слышно начинали доноситься позывные, всегда предшествовавшие приказу Сталина, Владимир Ипполитович включал репродуктор на полную слышимость и вызывал из соседних комнат своих конструкторов. Они входили, и он объявлял приподнято, с дрожью в руках:

— Сейчас будет приказ!

В первые месяцы войны, когда немцы захватили у нас большую территорию и подбирались к Москве, Владимир Ипполитович испытал мучительную горечь. У него не было сомнений в том, что захват этот временный, что победа останется за Советским Союзом; но горечь душила его. И

теперь он брал реванш. Один летний вечер 1944 года, когда были переданы пять приказов, был для Владимира Ипполитовича одним из счастливейших вечеров в жизни. Январские победы Красной Армии в 1945 году возвращали ему молодость.

Иногда в нем проглядывало что-то похожее на сердечную доброту. Заметив, что у того или другого сотрудника глаза слипаются от утомления, он взглядывал на часы и говорил сухо и обиженно:

— Вы можете идти домой.

На часы взглядывал, чтобы намекнуть сотруднику: отпускаю-де тебя раньше положенного часа исключительно из сострадания к твоему жалкому положению.

Все-таки не каждый может трудиться так, как он. Да, не каждый.

Ему было семьдесят восемь лет.

В то утро, когда Рябухин сбежал из госпиталя, Владимир Ипполитович за утренним чаем вдруг заговорил.

— Опять больна! — сказал он с раздражением.

Маргарита Валерьяновна тонко, по-кошачьи чихнула в платочек и посмотрела на мужа покрасневшими глазами.

— Должно быть, — сказала она виновато, — я

простудилась вчера на похоронах.

— Незачем было ходить на похороны, — сказал Владимир Ипполитович. — Ведь вот я не пошел же. Как будто горе Листопада стало меньше от того, что ты была на похоронах.

— Нет, конечно, но так, видишь ли, принято, — тихо оправдывалась Маргарита Валерьяновна. — Как же так: он бывает у нас, он с тобой работает — и вдруг никто из нас не пришел бы на похороны…

— Предрассудки, провинция, — сказал Владимир Ипполитович. — Мужчина в наши дни переживает все это совершенно иначе.

Медленно переставляя больные ноги в валенках, он прошел в кабинет, сел к столу и задумался.

Похороны, похороны. Который день он слышит это слово. Умерла молодая женщина. Все ахают: подумайте, такая молодая, жить бы да жить!.. Не понимают, что для желания жизни нет предела.

И праву на жизнь тоже нет предела. Неужели из-за того, что он прожил три четверти века, его право на жизнь меньше, чем право этой молодой женщины?

Он внимательно посмотрел на свои бледные сухие руки, изуродованные ревматизмом. Осто-

рожно сжал и разжал пальцы…

Доктор Иван Антоныч говорит прямо: «Пора, пора поберечь себя, потом спохватитесь — поздно будет». Да, пора. Война близится к концу, и близится к концу его жизненная миссия. Для завода он подготовил конструкторов; не справятся — пришлют им кого-нибудь вместо него… А он — на отдых, на отдых. На пенсию. Много ли им с Маргаритой нужно…

На покое можно будет заняться вещами, до которых сейчас не добраться — нет времени. Например, ознакомиться со всем, что сделано в области атомной энергии. Самая грандиозная область науки на ближайшее столетие. Новая эра техники… У него есть несколько мыслей, но они нуждаются в проверке. На проверку нужны годы…

Ужасно: человек достигает вершин своей творческой зрелости, — вот когда, подлинно, жить да жить!.. — и тут, как в насмешку, сваливаются на него физические немощи…

Есть, в конце концов, кто-нибудь, кто отвечает за это свинство? Или действительно не с кого спрашивать?..

Он оставляет богатое наследство. Его автоматы совершеннее английских, американских, немец-

ких. Его мотопилу знают все советские саперы.

На заводе нет ни одного станка, к которому он не приложил бы руку.

Время от времени, когда ему становилось легче, он отправлялся в цеха и, прохаживаясь, обозревал богатства, которые он оставляет наследникам.

Он положил руку на телефонный аппарат, подумал и снял трубку: «Транспортный отдел». — «Что на дворе?» — «Десять ниже нуля». Позвонил в гараж: машину к восьми часам…

Первой на работу пришла Нонна Сергеевна. В дверь кабинета заглянула ее белокурая голова.

— Доброе утро, Владимир Ипполитович.

— Доброе утро. Сейчас мы поедем на завод.

— Я вам обязательно там нужна?

— Да.

Она повернулась и пошла надевать пальто, которое только что сняла. У главного конструктора плохое настроение, вот он и едет на завод закатывать истерику. Будет таскаться из цеха в цех и ко всему придираться. Невозможный старик.

До завода было рукой подать.

Ныряя на выбоинах, объезжая кучи ржавого лома и колотого льда, замедляя ход на переездах через рельсы, машина ехала мимо складов. Главный конструктор сидел рядом с шофером и

смотрел вперед холодными глазами.

Он повернулся к Нонне и сказал ей:

— Еще грязнее стало!

Она не ответила. Выражение лица у нее было такое же холодное, как у главного конструктора. Она все это видела каждый день. На ее глазах выросли эти горы хлама. Старику не вдолбишь, что некому их убирать…

Около деревообделочной главный конструктор вылез из машины и медленно пошел, опираясь на палку. Несмотря на малый рост и щуплость, он даже здесь, среди громадных штабелей леса, выглядел чрезвычайно внушительно. Котиковая шапка сидела у него на голове твердо и вызывающе.

Машина тихо двигалась за ним, а Нонна шла рядом, скучая и злясь, и думала: гулял бы без адъютантов; проклятое барство; ей и так по десять раз в день приходится бегать в лаборатории и цеха.

На стенах красной краской, потускневшей от влаги и копоти, были написаны лозунги: «Все силы на оборону страны!», «Смерть фашистским захватчикам!» — и другие того же содержания.

— Все то же самое! — сказал главный конструктор, указывая на надписи палкой. — Три года то

же самое! Неужели трудно сделать новую надпись: «На Берлин!»

Пленные немцы убирали снег. Они отбивали лопатами слежавшийся лед и складывали его в вагонетки. Молоденький румяный русский боец, с винтовкой, караулил их. Главный конструктор приостановился: в эту войну он еще не видел ни одного немца. Немцы были поджарые, с испитыми лицами; одни почище, другие погрязнее, но в общем у всех вид не блестящий. Шинели словно корова их жевала; на ногах худые ботинки и обмотки… Работали они лениво, с безучастным выражением; и такое же выражение, что, мол, никакого проку от них не дождешься, и зря их сюда пригнали, и все это одна проформа, — такое же выражение было на лице молоденького бойца. Главный конструктор смотрел с ледяной любознательностью. Немцы посматривали на него… Он вдруг сказал по-немецки:

— Да, вы стреляли по Москве, а теперь вы делаете для нас эту черную работу.

— Война имеет свои гримасы, — не сразу ответил немец, который был почище других.

— Это очень злая гримаса, — сказал главный конструктор, — но это еще не худшая из гримас.

Он пошел дальше, опираясь на палку, закинув

голову, медленно переставляя ноги в фетровых валенках; на валенки были надеты блестящие калоши. Немцы смотрели вслед ему и надменной молодой женщине, сопровождавшей его. Один из немцев спросил:

— Кто это?

— Конечно, владелец завода, — ответил тот немец, который был почище, — разве ты не видишь?

Оставшись дома одна, Маргарита Валерьяновна дала работнице хозяйственные инструкции, потом собственноручно вымыла и убрала в буфет стакан и подстаканник Владимира Ипполитовича, а потом позвонила доктору Ивану Антонычу и попросила его зайти к ней по дороге в поликлинику: что-то нездоровится, она боится расхвораться, а хворать ей никак нельзя.

Иван Антоныч был самый старый и самый известный врач на Кружилихе. До революции он был здесь единственным лекарем, если не считать знахарок и повитух; акционеры очень гордились тем, что они так прогрессивны — держат на заводе штатного врача. Теперь Иван Антоныч заведовал заводской поликлиникой, у него под началом был большой штат врачей, стационарных и так называемых «расхожих».

Ему очень верили и старались именно его заполучить к больному, и он шел на зов, хотя это уже не входило в его обязанности.

Он говорил:

— Это было — в котором же году? В том году, когда мы построили малярийную станцию, вот когда!

— Петров? — спрашивал он. — Это кто же? Ах, это тот, с предрасположением к ангинам, вы так и скажите!

Он помнил людей по болезням, как другие помнят по фамилиям и лицам. Фамилии в отдельных случаях еще запоминал кое-как; но имени-отчества запомнить не мог и не считал нужным.

— Чего ради, — говорил он, — я буду упражнять мою стариковскую память на этом предмете?

И во избежание недоразумений всех мужчин называл «уважаемый пациент», а всех женщин — просто «мадам».

— Лежать, мадам, лежать и лежать! — сказал он, выписывая Маргарите Валерьяновне рецепт. — У вас чистейшей воды грипп, я ни за что не поручусь, если вы будете прыгать.

— Вы же знаете, доктор, — со скромной гордостью отвечала Маргарита Валерьяновна, — что я прыгаю не для собственного удовольствия. У

меня столько нагрузок!

— Нагрузки в нормальных дозах, — сказал доктор, стараясь попасть в калошу и делая при этом такие движения ногой, какие делает полотер, — не вредны для здоровья, я в принципе не возражаю против нагрузок. Но при злоупотреблении, как все излишества… одним словом — лежать!

Он ушел, а Маргарита Валерьяновна надела перед зеркалом девичий капор с помпонами и пошла в собес: надо было поговорить насчет пенсии для одной старушки, матери фронтовика; а дозвониться в собес по телефону — Маргарита Валерьяновна знала по опыту — совершенно немыслимо…

Она вышла на улицу и увидела подъезжающий знакомый автомобиль — это возвращался с завода Владимир Ипполитович.

Она сама не знала, как это получилось, что она вдруг побежала со всех ног и юркнула за угол дома, хотя ей нужно было совсем в другую сторону. Стоя за углом, переводя дыхание, она прислушалась: вот машина остановилась, вот щелкнула дверцей, вот запела, разворачиваясь, — и уехала. Но Маргарита Валерьяновна не сразу вышла из своего убежища: Владимир Ипполитович обык-

новенно очень долго взбирается на крыльцо.

Ей было немножко неловко, что она так улизнула. Господи, как маленькая.

«Он бы задержал меня, — оправдывалась она перед собой, — и я бы могла не застать заместителя председателя. А без заместителя председателя никто не возьмется решать мое дело. И потом, — подумала она, набравшись храбрости, — ну, хорошо, я ради него встаю в пять часов утра, и к половине второго я всегда обязательно должна быть дома, — но не могу же я постоянно быть прикованной к нему, ведь каждый человек имеет право брать от жизни что-то для себя!»

И она бодро заспешила своей деловитой походочкой в собес. По дороге зашла в аптеку и заказала себе лекарство от гриппа.

— Старик на заводе, — сказал Листопад Рябухину, выслушав сообщение Анны Ивановны. — Надо уважить, повидаться. Давай надевай, что найдешь подходящее, — едем.

— Я в партком, — сказал Рябухин, — у меня своих дел скопилось до черта. Передавай старику поклон.

Листопад оставил его примерять пиджаки и брюки, а сам пошел на завод. Встречные люди сказали, что главный конструктор в литейном.

Но в литейном оказался только начальник цеха, взъерошенный и красный, как после бани.

— Был, — отвечал он на вопрос Листопада, — был, весь вышел. А бог его знает, где он сейчас. Ой, орал!.. — У начальника цеха была на лице широкая, восхищенная улыбка, как будто ему было очень приятно, что главный конструктор орал на него. — Так орал, я думал — из него душа вон…

Листопад бегло взглянул, что делается в цехе: второй конвейер опять стоял, заливку производили на полу. Износилась лента, время делать капитальный ремонт.

— А это что? — спросил Листопад.

В сторонке, где было меньше хлама, две женщины, запорошенные пылью, с черными подглазницами, формовали что-то большое и замысловатое. Они делали это особенно тщательно, любовно ровняли землю, отходили, чтобы взглянуть на свою работу со стороны…

— Решетку делаем, — сказал начальник цеха. — Заказ горисполкома. Решетка для городского сада. Первый заказ на благоустройство, Александр Игнатьевич…

Главного конструктора Листопад догнал около старых мартенов. Главный конструктор выходил из цеха, окруженный инженерами. Тут были и

сталевары, и главный энергетик, и начальник отдела механизации Чекалдин, мальчик с образованием техника, которого Листопад недавно выдвинул на руководящую работу. В стороне от них всех молчаливо держалась Нонна. На лице у нее было написано: «Ах, ну на что мы время тратим!..»

— Владимир Ипполитович, — сказал Листопад, здороваясь, — рад видеть вас на заводе.

— Я уже домой, домой, — сказал главный конструктор и маленькой сухой рукой отмахнулся от разговоров и дел. — Все видел, все сказал, до свиданья, товарищи, до свиданья... А вам, молодой человек, — сказал он Чекалдину, — советую подумать хорошенько над вашим планом. Фантазия у вас горячая, а обосновать не умеете. Опыта мало, опыта. — Чекалдин смотрел ему в глаза, краснея, серьезно и смущенно. — Но фантазируете вы недурно, — продолжал главный конструктор, — недурно! Я подумаю о том, что вы мне сказали, — великодушно пообещал он, и взгляд Чекалдина оживился, молодое широкое лицо озарилось простодушной доверчивой радостью. — Подумаю. Дней через десять позвоните Нонне Сергеевне...

— Я с вами, — сказал Листопад.

Он сел с главным конструктором на заднее сиденье, а рядом с шофером, спиной к Листопаду, села эта женщина, которую он терпеть не мог за ее чванный вид, — до того не мог терпеть, что даже не поздоровался с нею.

— Что, — спросил Листопад, — Чекалдин говорил вам о реконструкции литейных цехов? Я еще не смотрел его план; говорят, это сделано с темпераментом.

— Вряд ли этот план стоит первым вопросом в повестке дня, — отрезал главный конструктор. — Прежде чем реконструировать, надо очистить помещения. Всюду скрап, цеха обросли скрапом. — Он помолчал. — Конвейер отремонтировать не можем, а мечтаем о реконструкции. — Помолчал еще, пожевывая тонкими губами. — При мне заливали вторую печь, я велел проверить шихту — кремний и хром. В количествах недопустимых. Неудивительно, что бывает брак.

«Ну, что еще? — весело подумал Листопад. — Старик не до конца выговорился на заводе. Выговаривайся, что с тобой сделаешь. Срывай сердце».

— Очень мы еще далеки от совершенства.

Экие Америки открывает.

— Впрочем, — сказал главный конструктор, — ко мне это уже почти не имеет отношения.

Известное дело: сейчас скажет, что время на покой. Каждую встречу эти разговоры: в них — и ревность старости к молодости, и то смирение, которое паче гордости.

— Хочу предупредить вас, Александр Игнатьевич, что моя работа на заводе кончается в тот день, когда будет закончена война.

Уже и срок назначил.

— Вы напрасно отмалчиваетесь, Александр Игнатьевич. Вам следует подумать, кем меня заменить.

Нет у нас незаменимых. Каждому можно найти замену — для работы, но не для сердца. Вот — лежит сердце именно к этому старику, капризному, властному, вечно сующему нос туда, где его не спрашивают. Блеск ли таланта привлекает, или обаяние сильной воли, или то и другое вместе?.. Просто взял бы и не отпускал от себя. А как не отпустишь?..

Подъезжали к дому.

— Поговорим, — сказал Листопад.

Они сидят в жарко натопленном кабинете. Конструктор, чертивший что-то на большом столе у окна, при появлении директора деликатно

удалился. Они вдвоем.

— Владимир Ипполитович, прежде всего: бросьте вы так близко принимать к сердцу то, что делается на заводе. Не так это все страшно, как вам кажется. Как-никак, за войну три ордена завод получил. Зря расстраиваетесь. Предоставьте мне расстраиваться. Ведь вы непосредственно на производстве не работаете года с двадцать шестого?..

— Вы хорошо помните мою биографию.

— Да я ее наизусть знаю. Я о вас все знаю, я ж вас как брильянт берегу — неужели не видите?

Все, что угодно говорить, подхалимничать, стелиться травкой, лишь бы старик оставил эту идею — уходить с завода.

— Что то было за производство, где вы работали, по сравнению с этим!

— Ну, знаете, — сказал главный конструктор, обидясь, — был прекрасный государственный завод на три тысячи рабочих — не таких, как у нас сейчас, а рабочих высокой квалификации.

— Потому что тогда был нэп и безработица, и вы могли подбирать кадры. И прекрасным ваш завод выглядел в те времена, сейчас вы на него и смотреть бы не стали.

Главный конструктор со скучающим видом

передвигал детали, лежащие на столе.

— Подумаешь — скрап!.. Я вот вспоминаю зарю нашей индустриализации, первую пятилетку. Дорогие машины портили, брак выпускали, всякие были и ошибки, и жертвы, все испытал лично. Но ведь создали же мы социалистическую индустрию, и в какие сроки! И куда бы шагнули, вы подумайте, если бы не помешали проклятые немцы! Владимир Ипполитович, вы социализм строили. Вы в борьбе с фашистами, себя не жалея, участвуете, как большой советский патриот. Неужели уйдете теперь?

— Я вам сказал, что уйду, когда война кончится.

— А в той жизни, которая начнется после войны, не хотите принять участие? К тому идет, что вот-вот предложат переходить на мирную продукцию.

— Гаданье на кофейной гуще.

— Почему ж на кофейной гуще? Я гадаю по сводкам Информбюро, по продвижению нашей армии, по заказам, которые к нам поступают. Вы не видали в литейном, как формуют решетку для городского сада?.. Кто понимает — ведь это ж до слез…

— То, что для вас месяцы, — сказал главный

конструктор, откинувшись на спинку кресла, — для меня — десятилетия. Мое время измеряется другими мерами, чем ваше. Вы говорите — скоро. Что значит скоро? Сколько это, вы считаете? Месяц?

— Больше.

— Год?

— Возможно, меньше.

— Возможно?.. Возможно, Александр Игнатьевич, что я не проживу этот год. До победы я дотяну, но не больше. Должность скоро будет вакантной. — Он открыл ящичек штучного дерева. — Курите, пожалуйста.

Они закурили. В кабинет вошла Нонна, с независимым видом, ни на кого не взглянув, подошла к шкафу, достала чертежи, вышла.

Главный конструктор проводил ее глазами.

— Начинали мы, — сказал он, — продолжать — им. Надо полагать, — сказал он немного погодя, окутанный дымом, — что номенклатура нашей продукции станет гораздо обширнее по сравнению с довоенной.

— Безусловно, — отвечал Листопад. — Во-первых, за годы войны в стране возникли потребности, которые надо удовлетворить. Во-вторых, и оборудование наше сейчас мощнее довоен-

ного, возможности расширились. Оставайтесь, Владимир Ипполитович. Будем думать вместе о будущем завода.

— Я думаю о других вещах, — сказал главный конструктор, — о вещах печальных и скучных. Нет, на меня не рассчитывайте, Александр Игнатьевич. Со мной кончено.

— Вот видишь, — сказал он за ужином Маргарите Валерьяновне, — я говорил, что в наше время люди иначе переживают несчастья. Вчера Листопад похоронил жену, а сегодня был здесь у меня, строил прогнозы на мирное время — и с большим увлечением, представь.

Трудно было понять — хвалит он Листопада или осуждает. Маргарита Валерьяновна приняла его слова как осуждение и, всплеснув руками, сказала: «Какой ужас!..» Она испытывала некоторые угрызения совести перед мужем, и ей еще больше, чем обычно, хотелось угодить ему. Но Владимир Ипполитович обдал ее вскользь недобрым взглядом, и она поняла: не то сказала. Она попыталась исправить ошибку:

— То есть, разумеется, не то ужас, что он строил прогнозы…

— А то, что с увлечением, понимаю, — договорил за нее Владимир Ипполитович и тем

положил конец разговору. — Передай, пожалуйста, солонку, Маргарита.

Глава третья
Возвращение Лукашина

На заводском полустанке высадился сержант Семен Ефимович Лукашин.

Он был в шинели без погон, в кирзовых сапогах и нес на плече деревянный сундучок и мешок, скрепленные ремнем.

Время шло к вечеру. В крайнем окошке станционного домика, у кассира, уже горела лампочка, но на дворе было еще светло. Сразу за полустанком начиналась гора: крутая, белая — и по белой горе черными зигзагами поднимались деревянные лестницы для пешеходов.

Лестницами до поселка вдвое ближе, чем ездовой дорогой, и не так скользко. Лукашин встряхнулся, чтобы ноша удобнее легла на плече, и пошел вверх.

Так же, как четыре года назад, вереницами идут по лестницам люди с поезда. Так же стоят над заводом столбы дыма, растекаясь и сливаясь вершинами.

Лукашин поднялся на гору и вышел на безбрежно широкую улицу. Далеко-далеко друг против

друга стояли высокие каменные дома. Необъятный закат разливался над этой улицей, где трамвай казался не больше спичечного коробка.

Улица была новая, ее начали строить в первую пятилетку, строили до самой войны и не достроили: заборов у домов не было; на местах, где должны быть сады, лежали пустыри.

Прошел трамвай, люди висели на подножках и на буфере. Куда тут с багажом влезешь. Лукашин продолжал путь пешком.

Конца-краю нет улице: дом — пустырь, два дома — опять пустырь на полкилометра.

Пожарный гараж с большим колоколом над воротами. Кирпичные корпуса индустриального техникума, расположенные буквой «П». Длинный-длинный дощатый забор — неведомо, что за ним. И столбы, столбы, столбы с натянутой черной проволокой.

Забор поворачивал полукружием, улица вдруг сузилась и покатилась вниз между двумя горками. По горкам разбросаны без порядка деревянные дома. Эти строились давно, многие еще в прошлом столетии. Кривые лесенки спускались вниз, к трамвайным путям. Дерево построек почерневшее, суровое: словно углем на белой бумаге нарисован старый поселок.

К домам разбегались дорожки-тропки. Дорожка к дому Веденеевых посыпана золой. И прежде она всегда была посыпана золой: это Мариамна посыпала, жена Веденеева. Медная бляшка дверного звонка блестит: это Мариамна начищает ее до блеска. Лукашин позвонил: прежним голосом залился звоночек за дверью. Послышались шаги, громыхнул болт. Отворила Мариамна. Она не узнала Лукашина и стояла, хмуря брови и загородив дверь широким плечом… Он улыбнулся:

— Не узнаете, Мариамна Федоровна?

— О господи, — сказала Мариамна мужским голосом и впустила его в дом.

В доме все было на прежнем месте. Любо посмотреть, как люди уберегли порядок своей жизни. Даже фарфоровая собачка с отбитой мордой стояла в стеклянном шкафчике на той же полке, между хрустальным яйцом и крымской раковиной.

Одно было новое — большой портрет Андрея, увитый красными и черными лентами. Лукашин увидел его сразу, как только Мариамна зажгла электричество: портрет висел прямо против двери и смотрел на входящих веселыми глазами.

— Садись, — сказала Мариамна. — Сейчас старик придет.

Она была пермячка, до тридцати лет жила в деревне и вместо «ч» говорила «ц»: сейцас.

Лукашин сел.

— Давно?.. — спросил он, глядя на портрет.

— Давно. В Сталинграде.

— А жиличка живет?

— Жиличка? Живет.

Она сказала «жилицка», презрительно и недружелюбно. Лукашин покивал головой: все, мол, понятно — и переменил разговор:

— А Павел что?

— А Павел едет, — другим тоном, оживленно и хвастливо, заговорила Мариамна. — Павел едет домой. Никитку не узнает, поди: отроком стал Никитка. А Катерина-то уехала — Павел сюда, она отсюда. На Украину ее услали, там немцы все пожгли, людей поугоняли, так ее туда назначили порядок наводить.

Катерина, жена Павла и мать Никитки, была партийный работник, вечно в разъездах и делах.

— Без ноги Павел, на протезе, а ты на своих ногах?

— Я на своих, — сказал Лукашин. — У меня только легкие прострелены и зубы чужие.

Глазами она сосчитала нашивки на его груди: семь нашивок — семь ранений. Гимнастерка на

нем без погон. Мариамна спросила:

— Совсем уволен?

— Совсем.

Мариамна накрыла на стол, поставила четыре прибора. Когда-то много приборов ставилось на этом столе. Тогда был Андрей, были дома Павел и Катерина. Спускалась сверху жиличка Нонна Сергеевна, ее сажали рядом с Андреем. Прибегала Марийка, сестра Павла и Андрея, Мариамнина падчерица: болтала как сорока, ее дразнили соломенной вдовой, а она сердилась…

— Соломенная вдова в гору пошла, — сказала Мариамна. — В стахановцах ходит, на двух станках работает, орден ей дали, мои матушки…

Говоря с ним, она ни минуты не сидела без дела: затопила печку, где заранее были уложены дрова и лучина, прибрала шитье, укрыла швейную машину чехлом, принесла воды в чайнике и полила цветы.

Весь день она вот так ходила по дому своей тяжелой походкой либо сидела, согнувшись, над шитьем. Семья была большая, Мариамна шила на всех.

— А у тебя-то теперь собственный дом! — сказала она. — Старик сказывал — больше нашего, шесть комнат, будешь дачников пускать, разбо-

гатеешь, Семен!

— Дом-то дом, — сказал Лукашин. — Возня с ним большая.

— Какая возня?

— Еще пока введут в наследство. И налог надо платить за два года.

— Ты на фронте был, с тебя налог не возьмут, — сказала Мариамна. Она всегда все знала по части собственных домов.

— Да не с меня. Отец два года не платил.

— Мать-то, поди, от горя померла, — сказала Мариамна. — Всего на полгода и пережила отца.

— Она от печени померла, — сказал Лукашин. — Рак печени признали у нее.

— Но а печень от чего болит? От горя.

Позвонили.

— Старик! — сказала Мариамна и проворно пошла отворять.

Когда Лукашин был мальчонкой, его боднула корова. Сколько ребят играло на улице, и никого она не боднула, только его боднула. И много лет спустя — уже у него усы росли — о нем говорили в деревне Рогачи:

— Лукашихин мальчонка, которого корова забодала.

Он мечтал о высшем образовании. На его глазах

крестьянские сыновья уезжали в город учиться и возвращались учителями, врачами, агрономами. И он мечтал стать учителем, учить детей, и чтобы все уважали его, и чтобы матери приходили к нему и говорили:

— Дайте мне совет, Семен Ефимыч, что мне делать с моим Петькой, чтобы он слушался.

А он вызовет Петьку к себе и поведет с ним тихую, прочувствованную беседу, и Петька раскается и станет шелковый.

Но едва Лукашин окончил пять классов, как отец устроил его на краткие курсы счетоводства, а потом поместил счетоводом в заготконтору, где был заведующим.

Лукашин сидел в затхлой комнате, среди корзин с яйцами и мешков с пряжей, и страдал. Все люди как-то вместе, а он сидит один как сыч с утра до вечера…

Его мучило, что он подчинился отцу и погубил все свое будущее, и засел за эту работу, которую терпеть не может.

Ему казалось, что никогда у него не будет светлой и разумной жизни, о которой он мечтал, и он был грустен и молчалив даже на праздничных гуляньях и танцульках.

Люди говорили его матери:

— Это он у тебя потому такой, что его маленького корова забодала.

Мать пропускала это мимо ушей. У нее в жизни было только одно занятие, которому она предавалась с большой охотой: она лечилась. У нее всегда что-нибудь болело, она принимала порошки, микстуры, капли, ставила грелки, компрессы и горчичники, натиралась мазями, варила какие-то травы… Она зазывала к себе соседок и угощала их, чтобы поговорить с ними о своих болезнях. Чужие болезни интересовали ее гораздо меньше, она слушала о них ревниво и, не выдержав, перебивала:

— А вот у меня тоже…

Время от времени она уезжала в город — показаться городским докторам. Она столько рассказывала им о своих недомоганиях, что ее немедленно клали в больницу и начинали делать разные исследования. Через неделю-другую ее выпускали, сказав, что никакой болезни у нее нет. Она возвращалась домой разочарованная и говорила:

— Они ничего не понимают.

Позже, в старости, она действительно тяжело заболела. И когда ей сказали, что она должна серьезно лечиться, — она испугалась, опечалилась,

лечилась без удовольствия и догорела быстро и грустно, в молчании, в недоумении — как же так: вот и жизнь прошла, а она и не заметила, только лечилась, и леченье-то оказалось ни к чему.

Лукашин просидел в заготконторе одиннадцать лет.

Когда отец уезжал по делам, он откладывал счеты и читал книги. Читая, плакал и смеялся, и бабы, входившие в контору, слышали из задней комнаты странные звуки — то сморканье, то клекот… В заднюю комнату бабы не входили: прилавок преграждал им путь. Они окликали: «Кто тут есть?» «Сейчас!» — отвечал Лукашин, вытирал слезы подолом рубахи и выходил к прилавку.

Иногда отец отпускал его к крестному. Крестный был Никита Трофимыч Веденеев. Он доводился Лукашиным дальним родственником, таким дальним, что это родство не имело названия. Лукашин любил ездить к Веденеевым. Там жили дружно, большой согласной семьей. «Хорошо они живут!» — думал Лукашин, наблюдая их жизнь.

Два раза его брали на кратковременную службу в армию. Ему там понравилось: он был среди людей и делал то же, что люди. Дело это имело

смысл, насущный для всего народа. Красноармеец, боец окружен общим уважением… В ученьях и походах Лукашин отдыхал от заготконторы, от своего одиночества. Когда началась война, его призвали снова — для настоящих битв.

«Что хорошо в армии, — думал Лукашин, — это то, что каждую минуту знаешь, что надо делать. Тут ведь как: сегодня ты все исполнил хорошо, и тебя уважают. Завтра покажешь себя в плохом свете — вся твоя вчерашняя заслуга насмарку. Станешь оправдываться — тебя и слушать не будут. Но послезавтра у тебя есть возможность опять заработать уважение и даже, может быть, на тебя будут смотреть с восторгом».

Он служил старательно и скоро заслужил сержантское звание. Был не по годам солиден; любил читать наставления молодым бойцам, и они в шутку называли его «папаша». На коротких солдатских ночевках он засыпал с ясными мыслями и с сознанием исполненного долга.

Говорят: плох солдат, который не мечтает стать генералом. Лукашин понимал, что генералом ему не быть никогда — талантов нету; но солдат он был хороший.

Ему везло: в самых трудных операциях он отделывался легкими ранениями. (Поневоле будешь

считать эти ранения легкими, когда кругом люди гибнут либо тяжко калечатся, а ты повалялся в прифронтовом госпитале — и опять в часть.)

Война шла, Лукашин служил. Кругом люди получали ордена и медали, он ничего не получал. Он думал, что, пожалуй, многих награждают за точно такие дела, какие и он совершил; значит, он такую же пользу приносит, как и они. И он научился уважать солдата-фронтовика независимо от того, есть у него награды или нет.

Войне завиднелся конец: наши войска гнали немцев к границе. Что же, скоро по домам? Он вернется, отец его спросит: «Ну, когда приступаешь к занятиям в конторе?» А он ответит не сразу. Он будет сидеть и курить, и отец поймет, что он ушел из-под родительской власти и что на него уже нельзя гаркнуть, нельзя трахнуть кулаком… «В контору — нет, — скажет затем Лукашин. — Я остаюсь в армии…»

И вдруг под Станиславом тяжелое ранение — в лицо и грудь.

И это в момент, когда Лукашин уже спокойно уверовал в свою счастливую звезду!

«Ну, ясно, — подумал он, очнувшись в медсанбате. — Это же я! Со мной обязательно что-нибудь должно было случиться в этом роде…»

Его возили из госпиталя в госпиталь. Под конец повезли в Москву, и там знаменитый хирург-стоматолог в несколько приемов сделал ему операцию лица. Возились три месяца, замучили, зато сделали чисто: шрамы были едва заметны.

— Со временем и совсем исчезнут, — сказал хирург, любуясь своей работой.

После этого Лукашину вставили новую челюсть с жемчужными зубами. Зубы ему очень понравились; они даже отчасти вознаградили его за страдания.

В московском госпитале он получил письмо от односельчан. Они сообщали, что его родители умерли, что ему в наследство остался дом и деньги на сберкнижке, и спрашивали, не будет ли насчет дома каких-нибудь распоряжений.

Лукашин ответил, что дома ему сейчас не нужно, пускай сельсовет им пока что распоряжается, — и несколько дней пролежал в растерянности и печали, со странным чувством, что что-то от него оторвалось. Вот — отец загубил его молодость, и мать он любил не так уж горячо… а все-таки оторвалось!

Когда с него сняли бинты, он пошел в коридор к большому зеркалу и посмотрелся.

Исхудавшее, желтое лицо с глубокими морщи-

нами вдоль щек. Морщины на лбу. Шрамы на подбородке. Нос торчит. Борода растет неровно: там, где нашита новая кожа, ничего не растет… Хорош. Никто и не подумает, что тридцать лет человеку. Много старше на вид!

Только зубы хороши.

«А что я буду делать?» — подумал Лукашин, стоя перед зеркалом.

В армию вряд ли пустят.

Как-то надо решать свою жизнь.

Очень трудно решать самому! Вдруг ошибешься — и некому сказать: вот видишь, а ты советовал…

Учителем быть он уже не мечтал. Прошли его молодые годочки. Он все забыл, кроме солдатской науки.

К счетоводству не лежала душа. Проще всего вернуться в заготконтору… Нет, не хочу!

Поеду к Веденеевым на Кружилиху.

Все-таки он заехал сначала в Рогачи. Увидел пустой дом, неотопленный, страшно холодный — в доме холоднее, чем на улице… Сходил на кладбище, посмотрел на родительские могилы, крытые снегом… И, зайдя в сельсовет и в сберкассу, чтобы получить деньги, оставленные отцом, отправился на станцию.

Две старухи проводили его. Они расспрашивали, и рассказывали, и жалели его. Он слушал молча.

— В контору пойдешь работать или в колхоз? — спросили старухи.

Он ответил:

— Да нет. Поеду на Кружилиху, там посмотрю.

Старухи как будто разочаровались, но не стали его уговаривать. Одна сказала:

— Что ж. Поезжай, посмотри, может, лучше там покажется, чем у нас.

Они караулили его багаж, пока он покупал билет. Они помнили его младенцем, они хоронили его родителей — и вот теперь он уходил от них. Они не укоряли его. Он влез в вагон, а они пошли со станции в своих старых, заплатанных рабочих сапогах.

Никита Трофимыч пришел не один, с ним был его старый приятель Мартьянов, которого Лукашин знал.

— Здравствуйте! — сказал Мартьянов. — Еще одна живая душа прибыла! Я как знал — захватил пол-литра. Мариамна Федоровна! Разрешишь поставить на стол или подашь графинчик?

— Я те дам на стол, — сказала Мариамна. — Бутылка грязными руками захватана, а он на стол.

Старик Веденеев взял Лукашина за плечи, вгляделся ему в лицо.

— Да, брат, — сказал он, — не украсила нас война! А Андрея нет! — он отвернулся и ушел умываться, и за ним, на ходу стягивая промасленную спецовку, ушел Мартьянов.

— Он тебя любит, старик, — сказала Мариамна, ставя на стол пятый прибор. — Любит, вот и сказал про Андрея. Он никому про Андрея не говорит.

Прибежал с улицы Никитка, семилетний сын Павла и Катерины, названный в честь деда. Это был крупный красивый мальчик, румяный, с глазами зеленоватыми, как у всех Веденеевых.

— На отца похож? — спросила Мариамна. — Покажу тебе карточку Павла, когда тот был в Никиткиных годах: вылитый! — Гордость была в ее голосе; концом фартука она утерла Никитке лоб и щеки. — На морозе катался, а вспотел как в бане… Иди ручки мыть!

«Хорошо у них, — думал Лукашин, наблюдая эту милую семейную жизнь, которой он был лишен. — Ах, хорошо!»

Если бы позвали — навек бы тут остался жить…

Мужчины умылись и вышли к ужину. Все сели

за стол. Мариамна подала горячую картошку и морковную кашу. Лукашин достал из своего мешка зачерствелый хлеб и консервы. Мартьянов разлил водку в рюмки.

— За вернувшихся и возвращающихся, — сказал он.

— Хорошая вещь, — сказал Лукашин, выпив рюмку.

— Напиток для молодых девиц, — сказал Мартьянов. — К старости я стал уважать чистый спирт. Действует без отказа, лишней воды в брюхо не льешь и великолепная дезинфекция для всего организма.

— Мартьянов, Мартьянов, ты этой отравой погубишь свое здоровье, — сказал Веденеев.

— Наоборот, — сказал Мартьянов. — Мне доктор Иван Антоныч поставил диагноз: вы, говорит, проспиртованы до такой степени, что можете смело болеть хоть холерой, она вас не скрутит… За твое здоровье, Сема. Дай тебе бог устроиться… Я через эту свою культурную привычку думаю прожить сто лет.

— Сто? — переспросил Веденеев, подмигнул Лукашину.

— Как минимум, — отвечал Мартьянов.

— И хочется тебе?

— А ясно.

— Ты же верующий.

— И что из этого следует?

— Почему же ты цепляешься за земную жизнь? Если полагаешь, что твоя душа бессмертна…

— Как тебе сказать? — сказал Мартьянов. — Люблю не столь душу свою, сколь тело. Скажешь — нечего тут любить? Абсолютно с тобой согласен. Ну, что тут любить, откровенно говоря?.. Но люблю. Дорожу, и оберегаю, и ублажаю, как могу. Душа-то у меня, Трофимыч, еще хуже, чем тело: самая ординарная душонка. А я ценю души — знаешь какие? понимаешь, Сема?.. души высокие, души большого огня!.. Какой кому прок от бессмертия моей души? Пускай уж лучше тело поживет подольше…

Мартьянов был с Кубани, в здешних краях жил с 1931 года. «Пострадал по кулацкой лавочке», — объяснял он. Приехал он с женой. Ему было тогда лет пятьдесят. Старуха не вынесла сурового климата, скоро умерла. Мартьянов сначала работал на баржах, потом его взяли на Кружилиху.

Он сразу понял, чего хочет от него Советская власть. С первых месяцев он стал в число ударников. Сила у него была большая. Всякую работу он соображал быстро. Он дорожил своим новым по-

ложением, аккуратно платил взносы в профсоюз, ходил на все собрания. Впрочем, он никогда не пересаливал: перед начальством не заискивал, допускал самокритику в приличной пропорции, а религиозностью своей даже кокетничал. Умный был мужик, непомерной живучести, хоть и пьяница.

За свою долгую жизнь он побывал во многих местах, перепробовал многие занятия, прочитал много книг. Умел красно говорить о чем угодно, и никогда нельзя было угадать — от души он говорит или с издевкой.

Павел Веденеев недолюбливал его, называл: «потенциальный мироед». Но старик Веденеев любил поговорить с Мартьяновым, который в рассказах и балагурстве был неиссякаем. Никита Трофимыч слушал его и изредка вставлял коротенькие нравоучительные фразы. При этом он был убежден, что воспитывает Мартьянова в коммунистическом духе и воспитывает приемами глубокими и тонкими, недоступными Павлу. С годами этот союз креп и превращался в обыкновенную стариковскую привязанность.

А покойный Андрей говорил, бывало, что на Мартьянове лежат напластования всех экономических реформ двадцатого века, начиная от

столыпинской системы и кончая ликвидацией кулачества как класса.

В кухне с черного хода хлопнула дверь, застучали быстрые каблуки — в столовую вбежала Марийка, дочь Веденеева.

— Батюшки мои! — сказала она, остановившись и всплеснув руками. — Сема!

Лукашин встал и, конфузливо улыбаясь, одернул гимнастерку. В прежнее время он держался от Марийки подальше — она смущала его… Чем? Да хотя бы тем, что она была молодая и — ему казалось — очень красивая. Она часто смеялась, и он думал, что она смеется над ним. Она была такая подвижная и шумная, что с ее приходом вся комната словно начинала кружиться. Закружилась и теперь.

До войны она два раза выходила замуж, оба мужа оказались неудачными, и она с ними разошлась. Потому-то ее и дразнили соломенной вдовой; и это тоже смущало Лукашина.

Разведясь со своими мужьями, она не вернулась к отцу и Мариамне, а продолжала жить отдельно, в комнате, которую ей дали в новом доме.

— Я человек разочарованный, — говорила она, — что ж, сердце у меня разбитое, оставьте меня одну слезы лить.

Что-то никто не видел, чтобы она лила слезы, но она любила говорить о разбитом сердце и о том, что из-за негодяев мужчин женщине не может быть счастья…

— Сема, ох, Семочка, — твердила она растерянно и радостно, — ох, ну какое счастье, когда люди возвращаются… Возмужал, интересный стал, настоящий мужчина…

— А тогда он что же — женщиной был? — спросил Мартьянов.

— Он тогда был молодой человек, — отвечала Марийка.

— Ты садись, — сказал Веденеев, неодобрительно глядя на дочь. — Расскажи лучше, за что тебе выговор в приказе.

— Выговор! — вскричала Марийка. — Не говорите мне, я уже столько слез пролила!.. Уздечкинский Толька запорол деталь, а мне выговор как инструктору. Времечко, Сема: ты работаешь, а кругом детишки. Вот столько недосмотрел — не то приспособление возьмут, и все в брак… Когда уже настоящие работники к нам вернутся? — она пристально посмотрела на Лукашина зеленоватыми глазами, а он стал барабанить пальцами по столу.

— Ну? — спросил Веденеев, когда Марийка, от-

шумев, ушла домой и Мариамна увела Никитку спать, и в доме стало тихо. — Что делать будем?

Лукашин молчал. Не раз ему намекали в этот вечер, что прямая его дорога ведет на Кружилиху. Он и сам об этом подумывал… Но надо подумать еще. Выбрать — так уж выбрать накрепко, чтобы потом не раскаиваться и не метаться.

— Не трожь его! — сказал Мартьянов, подмигивая Лукашину. — Он теперь помещик, он с нами, пролетариями, может, и якшаться не захочет.

— Дом можно продать, — сказал Веденеев, — и купить другой здесь, в поселке. Но вперед всего надо стать на работу. Послушай меня, Семен, иди на завод. Каждый рабочий сейчас, пойми, — драгоценная вещь: ведь на фронт работаем…

— Не знаю, — сказал Лукашин, — посмотрю… У меня специальности нет, что я заработаю?..

— Получишь специальность. Мартьянов из тебя за два месяца сделает токаря — он мужик с головой… У нашего профсоюза неправильная тенденция, демобилизованным норовят дать работу полегче: табельщиком или в магазин продавцом… Чтобы не напрягался, отдыхал… Не понимают, что ему не отдыхать надо, а становиться на твердую дорогу жизни… Будешь токарем, Семен.

Веденеев сказал это так же уверенно, как отец Лукашина сказал когда-то: «Будешь счетоводом». Лукашин вздохнул.

— А живи покуда у нас, — сказал Веденеев, вставая из-за стола, — покуда устроишься… Иди — Мариамна тебе постлала на сундуке…

«Недолго тебе валяться бобылем по чужим углам, — думал Мартьянов, вспоминая, как Марийка хлопотала весь вечер вокруг Лукашина, — устроишься… Ты парень не ершистый, тебя которая зацепит, за той и пойдешь…»

Перед тем как лечь, Лукашин вышел во двор. Был небольшой мороз, тихо, звездно. Праведным сном спал старый поселок… Звоня, прошел по улице под горкой поздний трамвай, его не было видно со двора, только зеленая звезда с шипеньем вспыхнула на дуге и осветила провода… Во втором этаже веденеевского дома вдруг осветилось окно, в окне Лукашин увидел Нонну Сергеевну, жиличку. Она была в пальто и в шапочке, — видно, только что вернулась домой. Он вспомнил, что о ней весь вечер не было сказано ни слова, точно ее не существовало в доме. Она медленно подняла руки, сняла шапочку и задернула занавеску на окне…

Лукашин стоял, курил трубку и думал. Он ду-

мал, что не следует сразу поддаваться уговорам Веденеева, может, другие посоветуют что-нибудь лучшее — кто знает… Деньги у него есть, можно не спешить. И отдохнуть не мешает: вот так стоять и смотреть на белый свет — какой он, оказывается, бывает тихий, и ясный, и кроткий!.. Потом в его мысли вошла Марийка и произвела там шум и смятение. «Очень красивая женщина, — думал Лукашин с волнением, — замечательной красоты женщина!..» Он уже не думал, что она смеется над ним; он видел, что она обрадовалась ему от души… Он думал: каждому человеку нужно иметь около себя близкого товарища, родную душу. Ему представилось, как они с красивой и любящей женой сидят рядышком, рука в руке, и всем друг с другом делятся и советуются… «Что это я думаю, она, может, и в мыслях ничего не имеет… Напрасно я сказал Мариамне, что у меня зубы вставные: она уже, наверно, Марийке доложила…» Марийка, уходя, сказала между прочим, что придет завтра вечером, после смены. «Если придет завтра вечером, значит, хочет со мной увидеться; а не придет, значит — это все так, одно пустопорожнее кокетство…»

Марийка пришла на другой вечер, пришла и на третий. Через неделю они с Лукашиным

объяснились. Еще через несколько дней Лукашин переехал со своим сундучком в Марийкину комнату.

В доме, где жила Марийка, было восемь подъездов, пять этажей. С каждой лестничной площадки вход в две квартиры. В каждой квартире — три комнаты и кухня.

Марийка жила по шестой лестнице, на пятом этаже.

В квартире напротив жил председатель завкома Уздечкин.

До войны ему принадлежала вся квартира, теперь только две комнаты; в третьей жила секретарша директора Анна Ивановна с долговязой дочкой Таней.

Анна Ивановна приехала в августе 1941 года. Уздечкин был тогда уже на фронте. Нюра, его жена, уехала с санитарным поездом. Дома с детьми оставалась Ольга Матвеевна, Нюрина мать. Ольгу Матвеевну вызвали в домоуправление и сказали, что она должна уступить одну комнату эвакуированной женщине. Ольга Матвеевна стала кричать, побежала в райсовет и в военкомат — не помогло, везде ее только стыдили. Пришлось смириться. Перед вечером прибыли Анна Ивановна с Таней. Ольга Матвеевна вдруг вошла к

ним, не постучав, влезла на стул и стала снимать занавески с окон.

— Только полгода как куплены, — сказала она обиженно (хотя ее ни о чем не спрашивали). — Еще себе пригодятся.

Она унесла занавески и вернулась за зеркалом. Ей велено было отдать эвакуированным комнату с мебелью, но Ольга Матвеевна рассудила, что ни к чему им зеркало, обойдутся и так. За зеркалом обои были темные, невыгоревшие; из комочка паутины выбежал паук, побежал по стенке… Анна Ивановна, разбиравшая чемодан, встала с колен и сказала дочери:

— Ну-ка, Таня, помоги мне.

Они вдвоем вытащили в переднюю всю мебель, до последнего стула. С абажуром Анна Ивановна долго возилась, пока сняла, вся запылилась и раскраснелась, а сняв абажур, сказала Ольге Матвеевне:

— Лампочку не отдам. Без света сидеть не намерена. Куплю — тогда отдам.

Ольга Матвеевна была довольна, что все ее добро осталось при ней. Но было обидно, что приезжая гордячка так легко отказалась от даровой роскоши, ни о чем не просила, все вышвырнула.

— Спать-то на чем будете? — спросила Ольга

Матвеевна.

— А это уж не ваша печаль, — ответила Анна Ивановна.

Ольга Матвеевна совсем обиделась. Ей сразу захотелось ссориться. Но придраться к Анне Ивановне было трудно: ее по целым дням не было дома, обедали они с Таней в столовой, в кухню почти не заходили. Поневоле Ольга Матвеевна довольствовалась тем, что всячески осуждала Анну Ивановну: за наряды («уж седая совсем, а все рядится, да еще губы мажет, как молодая!»); за гордость, за то, что с дочерью говорит не по-русски.

Анна Ивановна говорила с Таней по-французски и по-английски: четные дни у них были английские, а нечетные — французские. «Хау ду ю ду, ай эм глед ту си ю», — говорила Таня, приходя из школы. «Гуд бай», — говорила она, уходя. Но, лаская Таню, Анна Ивановна говорила ей по-русски: «Дурак мой маленький». И по-русски же кричала, выбегая за Таней на лестницу:

— Таня! Сейчас же вернись, надень платок, сумасшедшая, я кому говорю!

До войны Анна Ивановна жила в Ленинграде. У нее был муж архитектор. Таня была тогда небольшого роста и училась в балетном училище.

Началась война. Муж Анны Ивановны отправил жену и дочь в глубокий тыл, подальше от беды, а сам остался. Анна Ивановна привезла две пишущие машинки: одну с русским шрифтом, другую с латинским — и ни одного дня не сидела без работы. Сразу ее приняли на завод («оторвали с руками и с ногами» — говорила Марийка). Утром она шла в заводоуправление, а вечером в Дом культуры, на курсы, где она занималась с инженерами и техниками английским языком.

Выбросив Ольге Матвеевне за дверь все ее вещи, Анна Ивановна купила новую мебель: две кровати-раскладушки, два стула и два простых некрашеных стола; за одним столом занималась Таня, а на другом стояли под блестящими черными крышками обе машинки Анны Ивановны. Таня иногда говорила:

— Ох, до чего у нас в комнате некрасиво!

Стуча по клавишам машинки, Анна Ивановна отвечала:

— Девочка, потерпишь полтора-два года!

Прошел месяц, и Анна Ивановна получила от мужа письмо, что их квартира на Старо-Невском разрушена бомбой: от всего этажа ничего не осталось. Анна Ивановна плакала, получив это известие. Особенно жалко ей было маленького

бюро, которое сделал ей в подарок покойный дядя, краснодеревщик. Работать за этим бюро было неудобно, оно стояло просто так, для украшения, и очень хлопотливо было вытирать пыль с его резьбы. Анна Ивановна сердилась на дурацкую резьбу — а теперь вспоминала и резьбу, и фарфоровые медальоны с цветами, вделанные в стенки бюро, и, громко сморкаясь, спрашивала у Тани по-русски:

— Таня, а медальончики помнишь?

Таня молчала и думала: странная мама, плачет о бюро, а ведь там люди погибли, папа пишет — почти сорок человек… Пусть все пропадет, и мебель, и платья, и рояли, только бы остались живы люди.

Прошли еще какие-то страшные месяцы, в продолжение которых из Ленинграда почти не было известий. И вот однажды Анне Ивановне сообщили из третьих рук, через знакомых ленинградцев, что ее муж, с которым она дружно и согласно прожила девятнадцать лет, умер от истощения. Анна Ивановна пришла домой с виду спокойная и как-то вяло сказала Тане: «Знаешь, папа умер», — и легла на раскладушку, и велела обомлевшей Тане укрыть ее теплым одеялом: ее била дрожь…

— Ну что ж, Таня, — сказала она недели через две, — надо устраиваться нормально.

Она съездила в город, продала свои золотые часы и купила два кресла, диван и кровать.

— Мы разве не вернемся в Ленинград? — спросила Таня.

— Мне не хочется, — сказала Анна Ивановна. — А тебе плохо здесь?

— Нет, — сказала задумчиво Таня, — не плохо.

— Мне тоже, — сказала Анна Ивановна.

Они вдруг обнялись и горько заплакали, и плакали долго.

Может быть, Анна Ивановна и решилась бы вернуться на пепелище своего былого счастья, если бы это требовалось для Таниной балетной карьеры. Но Таня за этот год так пошла в рост, что было ясно — для балета она потеряна. «Ну, куда такую версту коломенскую на сцену!» — думала Анна Ивановна и без колебаний устраивалась в новой жизни.

Наспех купленные, временные, некрасивые вещи были удалены и вскоре заменены дорогими, красивыми: Анна Ивановна любила жить хорошо. Чтобы заработать побольше, она бралась перепечатывать рукописи, дипломные работы, бухгалтерские отчеты. Зарабатывала стенogра-

фией, уроками.

Она очень уставала. Ночью по большей части спала крепко, и Таня должна была ее будить, чтобы она не опоздала на работу. Но иногда приходили приступы бессонницы. Тогда она лежала и смотрела в окно, которое было против ее изголовья. Легче на душе, когда окно черное, подернутое серебром мороза. Совсем сносно, если по стеклу стучит дождь. Когда на дворе непогода, Анне Ивановне приятно, что она и ее ребенок, ее ненаглядная верста коломенская, находятся под прочной кровлей, что им тепло, что люди к ним относятся с приязнью… И мучительны летние белые ночи! В белую ночь хочется выйти из дома и идти, идти… неведомо куда. В пустынные улицы, под томящее небо, к тому, что было и чего никогда не будет больше…

Днем она была спокойна и приветлива. Они очень похожи были с Таней: обе круглолицые, белые и румяные, с черными глазами и темными усиками. Только Анна Ивановна была полная и седая, а Таня худенькая, с длинными черными косами.

Рядом с Марийкой жил директорский шофер Мирзоев.

Он был красавец. От его улыбки, сладкой, неж-

ной и белозубой, кружились женские головы. До войны он работал в совхозе комбайнером. Он считал, что его работа самая лучшая и почетная, и все его любили и хвалили. В армии он стал шофером; тоже очень хорошая работа! За храбрость его полюбил командир батальона, взял к себе. Ах, комбат, дорогой комбат, вечная память!.. На одном отчаянном перегоне их машина попала под огонь. Комбат был убит, а Мирзоев попал в госпиталь, а потом на завод. В госпитале ему пришлось удалить почку. Он беззаботно подшучивал над своим увечьем.

— Я нахожу, — говорил он, — что две почки — роскошь, я великолепно обхожусь с одной…

Но он берегся — соблюдал диету и не пил, а только делал вид в компании, что пьет.

Он мог быть отчаянно храбрым и мог быть очень осторожным — когда случалось, например, возить беременную жену директора. Машина слушалась его беспрекословно. Он широко эксплуатировал ее и жил припеваючи.

Лукашин присматривался к нему: он не мог понять, почему Марийка выбрала его, Лукашина, когда в одной квартире с нею живет такой красавец и франт. «Неужели, — думал он, — я ей показался лучше?..»

Медовый месяц Лукашина протекал счастливо. Лукашин не мог налюбоваться на Марийку. Ему доставляло большое удовольствие исполнять все ее прихоти.

— Чего бы я, Сема, съела, — говорила Марийка томно, — съела бы я, Сема, пирога с мясом, с яичками, такой высокий и корочка румяная, а ты бы съел?

И Лукашин шел на рынок и покупал белую муку, мясо, яички, и Марийка пекла пирог с румяной корочкой, а Лукашин смотрел на Марийку с сознанием своего могущества и богатства и говорил:

— Ешь еще.

— У Нонны Сергеевны туфельки есть, — рассказывала Марийка. — Аккурат перед войной сшила на заказ. Каблук вот такой, носочки вот такие, а шнуровочка на боку, и на завязках кисточки, с ума сойти.

И Лукашин шел и покупал для Марийки туфли — еще лучше, чем у Нонны Сергеевны, самые шикарные и самые дорогие, вот с таким каблуком и с кисточками.

Марийка всю жизнь рассчитывала зарплату от получки до получки. У отца жила — даже собственные деньги нельзя было истратить без

спроса: «Папа, я в кино схожу; два пятьдесят стоит билет…» Первый муж пропивал ее вещи, которые она покупала на свой заработок. Второй — бог с ним! — вспоминать стыдно… Почем она знала, когда полюбила его, что он негодяй и обманщик, что у него в Калуге уже есть жена и что эта жена к нему приедет и ославит ее, Марийку, на весь завод… Три месяца прожила с человеком и ничего не видела, кроме убытков и неприятностей… А Сема швыряет на нее деньги не считая, только бы сделать ей приятное. У Марийки голова закружилась от такого раздолья. Она не спрашивала Лукашина, сколько у него денег: тратит свободно — значит, есть что тратить.

Они любили строить планы дальнейшего процветания.

— Этот дом я продам, — говорил Лукашин, неторопливо дымя своей трубкой, — а другой хорошо бы купить, хоть маленький. Все-таки это приятно — своя крыша над головой.

Марийка не соглашалась:

— Семочка, с ним хлопот не оберешься, со своим домом. Крышу крась, ремонтируй, забор починяй… Полжизни в него надо вложить, вот как папа и мама вложили.

— Зато можно завести кур, огород при доме.

Козу купить: козье молоко самое полезное.

— А я бы, — энергично говорила Марийка, — все вложила в золотой заем. Все, все. И государству помощь, и можно выиграть двадцать пять тысяч.

Никита Трофимыч был очень недоволен дочерью и зятем. Мысленно он подсчитывал их расходы: чудовищно! За какую-то усовершенствованную электрическую кастрюлю Марийка заплатила триста пятьдесят рублей. Триста пятьдесят рублей за кастрюлю?!!

Положить бы все на книжку и тратить осторожно, на самое необходимое. В один прекрасный день спохватятся — нет ни гроша. Так всегда бывает.

Подробно о своих тратах Лукашин и Марийка не сообщали. Никита Трофимыч мог вести им только приблизительный учет; не тем была занята голова, не держались в памяти все эти кофточки, мясорубки, абажуры…

— Надо купить кровать, — сказала однажды Марийка при отце. — Моя плохая.

Никита Трофимыч вышел из себя:

— Ведь в Рогачах есть кровати! Полная обстановка, а они все покупают!.. Я тебе, Марья, запрещаю!.. Извольте вывезти мебель из Рога-

чей!

Старик бушевал. Марийка притихла, надувшись. Лукашин оробел. В субботу он сказал Марийке:

— Едем завтра в Рогачи за кроватью.

— Да что там за кровати, чтобы за тридевять земель их везти, — сказала Марийка. — Наверно, сгнили все.

— Нет, у матери кровать была хорошая, с никелевыми шарами, — сказал Лукашин.

— Ну, поедем, проедемся, — сказала Марийка. — Я уж сколько лет от города не отъезжала.

В воскресенье они поехали в Рогачи.

В километре от станции Марийка увидела двухэтажный деревянный дом с башенкой и флюгером. Кругом были сосны, снег и безлюдье. Вслед за мужем Марийка вошла в маленькие сени. На нее пахнуло холодом, плесенью, пустотой. Неприютно, голо. В одной из комнат стояла железная кровать, постель с нее была снята, рваная перина посерела от пыли.

— Вот кровать! — сказал Лукашин. — Вполне хорошая, только перина старая, мы ее брать не будем.

Он достал из кармана веревку и стал складывать кровать. Она не поддавалась — заржавела.

Пока Лукашин возился с нею, Марийка по лесенке поднялась наверх. Там были светлые комнатки с большими окнами, предназначенные для летнего жилья. «Милые какие комнатки», — подумала Марийка, вздохнув. На подоконнике стоял большой фигурный самовар, весь позеленевший, без крышки и конфорки. Марийка попробовала кран самовара: повертывается или нет. Кран повертывался. Чудный вид был из окна — на озеро и лес… Марийка спустилась вниз. Лукашин уже сложил кровать и связывал ее веревкой.

— Возьми эти шары, — сказал он, сидя на корточках, с трубкой в зубах.

Марийка положила в карманы пальто три никелевых шара, которые Лукашин открутил от спинки кровати. Четвертый шар не откручивался — должно быть, нарезка сильно заржавела. Шары сохранились отлично: блестящие, словно только что из магазина.

— Я возьму круглый столик, — сказала Марийка. — Мы его поставим в уголку около окна. А на столик — ту чугунную вазу.

— Вазу не бери, она тяжелая, — сказал Лукашин. — Ты женщина, тебе нельзя таскать тяжести. Я ее, может быть, потом отдельно привезу.

Он вынес кровать из дома и бодро взвалил ее

себе на спину.

— Ну, пошли, — сказал он.

Марийка шла своей обычной быстрой походкой, положив легкий столик на плечо, и думала, какая это грустная вещь — брошенный дом, и как хорошо бы летом пожить в тех верхних комнатках и покупаться в озере.

— Знаешь?.. — начала она, поворачиваясь к Лукашину, и вдруг увидела, что его нет рядом. Она оглянулась — Лукашин тащился позади, согнувшись в три погибели под тяжестью кровати.

— Давай понесем вместе! — сказала она, страдая за него. — Возьмем с двух сторон и понесем!

— Не говори глупости, — сказал Лукашин, задыхаясь. — Ты вот лучше не лети как сумасшедшая, а иди рядом, а то мне скучно без тебя.

Марийка не любила и не привыкла ходить медленно, она шла сердясь и доказывала Лукашину, что она гораздо сильнее его и уж во всяком случае вдвоем нести легче, а Лукашин не сдавался и наконец закричал, что его вся деревня осмеет, если увидят, что он несет кровать вместе с Марийкой; тоже мужчина — не может сам перенести такую пустяковину… Марийка перестала спорить. Шагов сто молчали. Остановились отдыхать. Лукашин положил кровать себе на голову.

— Так значительно легче, — сказал он.

И они пошли дальше. Но скоро Марийка заметила, что как она ни плетется, а Лукашин все равно отстает. У него иссякали силы. Она думала, как заставить его принять ее помощь, и ничего не могла придумать. Он, оказывается, бывает страшно упрямым!

До станции оставалось шагов триста.

— Нас, безусловно, оштрафуют в поезде, — сказал Лукашин еле слышным голосом.

— Почему? — спросила Марийка.

— Она не знает! — сказал Лукашин. — Потому что мебель в пассажирских вагонах возить нельзя.

Марийка нахмурилась: на штраф денег жалко.

— Знаешь? — сказала она деловито. — Если будут придираться, ты скажи, что кровать моя: уж я их как-нибудь уговорю... — И вдруг ее осенило: — Сема! Брось ее к черту!

Он сбросил кровать на землю сейчас же, как только она произнесла эти слова.

— Ну ее, — говорила Марийка, гладя его по спине и по голове, а он стоял, тяжело дыша, и дрожащими пальцами набивал трубку. — Неужели мы в городе не купим кровать! — Она достала платок и вытерла пот с лица Лукашина. — Как я

раньше не сообразила! И как ты не сообразил!

— Я сообразил сразу, — отвечал Лукашин, — как только мы отошли от дома. Но не мог же я так прямо сразу взять и бросить ее!..

Подходил поезд.

— Бежим! — сказала Марийка. — А то опоздаем! — И, схватившись вдвоем за столик, счастливые и довольные, они побежали к платформе.

В вагоне было мало народу. Они сели в сторонке от всех, глядя друг другу в глаза. Лукашин взял Марийкину руку и пожал.

— Спасибо тебе, — сказал он.

— За что? — спросила Марийка, улыбаясь.

— За то, что ты хорошая, — сказал Лукашин.

Шары Марийка забыла выбросить из карманов — так и привезла их на Кружилиху.

Опасения Никиты Трофимыча оправдались очень скоро. Однажды утром выяснилось, что нет денег даже на обед.

— Надо что-нибудь продать из вещей, — сказал ошеломленный Лукашин. — Что-нибудь из старья, чтобы продержаться.

Марийка молчала со скучным лицом. Лукашин вздохнул и сказал:

— У меня есть как раз одна такая вещь.

— Какая вещь? — спросила Марийка.

— Кожаная куртка.

— А тебе она что — не пригодится?

— Она совсем старая. Ее носить уже нельзя.

— Тебе нельзя, а другим можно? — спросила Марийка.

— Как ты сворачиваешь!.. — обиделся Лукашин. — Конечно, может кому-нибудь понадобиться. У нее подкладка совсем хорошая. Только ты продай.

— Почему я?

— Я мужчина, — сказал Лукашин, — мне неудобно.

— Ну, нет, знаешь, — сказала Марийка, — сроду не торговала и впредь не буду. Я стахановка, мне неприлично на базаре стоять с барахлом.

— Подумаешь! — возмутился Лукашин. — Какая графиня!

— Вот уж такая графиня, — отвечала Марийка и ушла на работу.

Пришлось Лукашину самому идти на рынок. Он встал в сторонке и, стесняясь, развернул свой товар. Сперва он держал куртку на руке. Потом взял ее обеими руками за воротник. Потом повернул к зрителям подкладкой… Один человек подошел, спросил:

— Сколько просите?

Лукашин хотел просить двести, но почему-то сказал сто.

— Двадцать пять дать? — спросил человек.

Лукашин замялся. Человек отдал ему куртку и равнодушно отошел.

«Надо просить пятьдесят, — подумал Лукашин, — так вернее будет».

Но ему не у кого было просить пятьдесят, потому что никто к нему больше не подошел. Лукашин постоял и пошел домой. У дверей квартиры он столкнулся с Мирзоевым. Мирзоев отправлялся на свадьбу к приятелю и заходил переодеться. Он был в толстом мохнатом пальто и шляпе, от него пахло одеколоном, черные усики его были идеально подстрижены.

— А, сосед, добрый день! — приветствовал он Лукашина. — Ну, как дела? Еще не работаете?

Лукашин пожаловался на свои затруднения.

— Что вы говорите! — сказал Мирзоев. — Один покупатель и двадцать пять рублей?.. А ну, покажите.

Он развернул куртку.

— Старовата. Лет пятнадцать, должно быть, носили… Потеряла цвет. Вот так у нас на сиденье вытираются штаны… Гм. Двадцать пять рублей?

«Если он предложит пятнадцать, — подумал

Лукашин, — я отдам».

— Она совсем крепкая, — сказал он робко.

— Вы ее не продадите, — сказал Мирзоев. — Нука, идемте.

Он помчался как ветер: он боялся опоздать на свадьбу… Лукашин — за ним. Примчались на рынок.

— Вы только, пожалуйста, ничего не говорите, — попросил Мирзоев. — Стойте рядом, и больше ничего.

Он небрежно накинул куртку на одно плечо, поверх своего мохнатого пальто. Шляпа его сидела набекрень, ботинки на толстой подошве сверкали. Лукашин не успел оглянуться, как их окружила толпа.

— Что стоит? — спрашивали Мирзоева.

— Двести рублей, — отвечал Мирзоев.

«Он с ума сошел», — подумал Лукашин.

— А сто? — спросил один из покупателей.

Лукашин толкнул Мирзоева.

— Я не спекулянт, — сказал Мирзоев с достоинством. — Вы разве не видите, какая кожа?

— Была, — поправил кто-то.

— Мало ли что! — холодно сказал Мирзоев. — В общем и целом вещь стоит двести.

Была короткая пауза, стоившая Лукашину

сильных переживаний.

— Я даю двести! — сказал вдруг голос в задних рядах.

— Я же торгуюсь! — возмутился первый покупатель. — Может быть, я тоже хочу дать двести. Гражданин, получайте. Вещь не стоит того, но я из принципа.

— Люблю хорошие принципы, — весело и любезно сказал Мирзоев, принял деньги, взял Лукашина под руку и помчал его с торжища.

— Получайте ваши деньги, товарищ Лукашин. Вот как надо действовать в жизни.

— Черт его знает, — сказал Лукашин. — Как вы это умеете?..

Мирзоев кокетливо посмеялся.

— Я вам объясню, пожалуйста. Когда вы стоите с таким, я извиняюсь, лицом, как будто вы сию минуту броситесь под трамвай, и в этой старой шинели, и в этих сапогах — слушайте, вы их выбросьте: у вас же новые есть, — то люди думают: вон какой-то неудачник спускает последнее барахлишко. А когда продаю я, — Мирзоев легким движением передвинул шляпу, — люди думают: продается вещь, которую носил шикарный молодой человек; у такого плохих вещей не бывает. И вот вам весь секрет, пожалуйста.

С этого дня Мирзоев стал относиться с живым интересом ко всем делам Лукашина. Так уж Мирзоев был устроен: однажды оказав человеку помощь, он начинал ощущать этого человека как бы своим братом.

— Самое выгодное в наши дни, — сказал Мирзоев, — это иметь машину. Устроиться на курсы водителей, перебиться временно, а там — пожалуйста: диплом в руках — и вы получаете машину в учреждении. Начальника надо выбирать крупного, чтоб был занят без передышки, желательно холостого, машина, таким образом, в полном вашем распоряжении.

— Неприятности могут быть, — сказал Лукашин, которому не хотелось обижать Мирзоева.

— Какие неприятности! В этом же нет ничего общественно вредного… Что, я у кого-нибудь вымогаю деньги? Исключительно полюбовное соглашение… Очень большой спрос при общем состоянии транспорта, в этом наше преимущество.

Лукашин курил и слушал.

— Если хотите, — сказал Мирзоев, — я могу закинуть удочку насчет курсов, у меня там есть маленький блат.

— Да нет, — сказал Лукашин, — я все-таки ду-

маю поступить на завод.

Он пошел к старику Веденееву и попросил устроить его подручным к Мартьянову.

Через три дня Лукашин шел на работу вместе с Марийкой.

Он назвал в проходной свой номер, вахтер выдал ему пропуск и сказал: «Проходи». Лукашин вышел на территорию завода. Слежавшийся лед под ногами был серебристо-черным от угольной пыли и металлических опилок. Маленький паровоз неторопливо прошел мимо по рельсам и обдал лицо Лукашина теплым паром.

— Тебе вон туда, — деловито сказала Марийка и показала на проход между двумя кирпичными корпусами. — Ну, в добрый час! — она улыбнулась ему по-матерински и побежала от него.

Десятки людей обгоняли Лукашина. Некоторые были в шинелях, как и он.

Словно из земли поднялся медленный, торжественный гул, разросся в устрашающий, оглушающий рев, — второй гудок; через четверть часа начнется смена.

«В добрый час», — торжественно и взволнованно повторил про себя Лукашин.

И, как в армии, почувствовал себя опять одним из многих, ратником огромной рати. И подумал:

хорошо. Пусть всегда будет так. А Мирзоев сукин сын, и все врет.

Глава четвертая
Уздечкин и Толька

Уздечкин шел на работу. Дул резкий ветер с реки. Уздечкин чувствовал себя больным, невыспавшимся, усталым.

Как он рвался домой! Думал: в своем коллективе, в своей семье все раны залечатся. Что-то не залечиваются пока…

И чего она ввязалась в это дело, сумасшедшая Нюрка? Двое маленьких детей; никто бы с нее не спросил — почему не воевала. Подумаешь, санитарка, экая гроза для Гитлера, без нее не нашлось бы санитарок…

…Трудно с детьми. Никогда бы, со стороны глядя, не подумал, что столько с ними хлопот. Ольга Матвеевна, Нюрина мать, до войны была такая боевая — со всем хозяйством справлялась сама, во все вмешивалась, никому не давала жить спокойно. А когда пришло известие о Нюриной гибели, рассказывала жиличка Анна Ивановна, — Ольга Матвеевна день ходила с растерянным лицом, бессмысленно хватаясь то за одно дело, то за другое; на второй день слегла в постель и стала

охать — и с тех пор у нее это вошло в привычку: каждый день, походив немного с утра, она ложилась и охала до позднего вечера. Она все забывала, теряла продовольственные карточки, разучилась стряпать.

Толька, брат Нюры, в отсутствие Уздечкина бросил школу, пошел на завод. Пожелал, видите ли, быть самостоятельным. Другие в самостоятельной жизни становятся серьезнее, а Толька — в дурную компанию попал, что ли, не слушается, учиться не хочет, мать жалуется — тащит вещи из дому, бригадир жалуется — на производстве от него мало пользы… Девочки, Валя и Оля, ходят замарашками. Заведующая детским садом пишет записки с замечаниями: почему дети приходят в незаштопанных чулках, почему лифчики без пуговиц… И Уздечкин, придя с работы, берется за иглу и пришивает пуговицы: благо привык к этому занятию в армии…

Вчера было партбюро, потом собрание, пришел домой поздно. Девочки не спали. Валя обожгла руку об электрическую плитку. Никого не было дома — ни Ольги Матвеевны, ни Тольки, ни Анны Ивановны с Таней. Так Валя и сидела, держа обожженную руку в другой руке, и ждала кого-нибудь, чтобы перевязали; и обе ревели

— Валя от боли, Оля — чтобы выразить сочувствие Вале. Уздечкин перевязал руку, покормил их, уложил. Вымыл посуду, подмел в комнатах, сварил суп — на завтра… Хозяйничал и злился на Ольгу Матвеевну: наверно, опять панихиду ушла служить, старая дура, очень Нюре нужны ее панихиды, смотрела бы лучше за детьми. Решил, когда придет, устроить скандал по всей форме. Но когда она пришла, заплаканная, охающая, с бессмысленными глазами, — стало жалко, и только спросил угрюмо:

— Намолились? Чаю хотите? — и сам поставил чайник подогреть.

Мирзоев, который лезет во все чужие дела, говорит: «Вам нужно жениться, чтобы выйти из положения». В морду хочется дать за такой совет…

Ночью не мог заснуть. Лежал с открытыми глазами, слушал ночные шумы. Изредка проходил по улице трамвай. Вышла мышь на промысел, осторожно возилась с коркой под шкафом; он на нее шикнет — она притихнет на минуту, а потом опять возится. Анна Ивановна и Таня вернулись очень поздно, должно быть, из театра; тихо прошли к себе… Толька, поганец, так и не явился, шляется где-то… Представил себе, как

в церкви кадили и возглашали за упокой души рабы божьей Анны. Встал, достал ее карточку, посмотрел…

Обыкновенная женщина, с перманентом, курносенькая, бранилась с матерью, обожала подарки, шлепала девочек, когда не слушались…

Завком помещался на четвертом этаже. Туда вели шесть лестничных маршей, девяносто ступенек.

Уже к середине второго марша начались знакомые отвратительные явления: сердце прыгнуло вверх и соскочило вниз, помолчало, словно прислушиваясь, и опять прыгнуло вверх, и опять опустилось — большое, тяжелое… Уздечкину не хватило воздуха для дыхания; он приоткрыл рот и втянул воздух — ноги ослабели, колени подломились… Раньше Уздечкин и не замечал своего сердца, оно жило в нем, жило с ним, было частью его самого. А теперь оно существовало отдельно. У него появились свои привычки и желания. С утра оно приставало к Уздечкину, как сожитель со скверным характером: предъявляло требования, заставляло идти тихим шагом, отдыхать на каждой лестничной площадке. В течение дня сердце понемногу успокаивалось, а к вечеру Уздечкин ощущал прилив сил и нервный подъем.

В завкоме пахло только что вымытым полом, и в пепельницах не было окурков. Не снимая шинели, Уздечкин взял телефонную трубку и вызвал механический. Вчера Толька не был на работе, дома не ночевал — может быть, прошел прямо в цех?

— Веденееву позовите мне, — сказал Уздечкин.

Марийка подошла к телефону и сказала сердитым голосом, что Тольки и сегодня нет и что завком пускай принимает меры, а то она, Марийка, пошлет всех к черту и уйдет работать в сборочный, хватит с нее возиться с ребятами! Уздечкин сказал, что Тольки и дома не было. Марийка закричала: «Ну, в милицию звоните, я их не укараулю!» — и швырком повесила трубку. Уздечкин позвонил в милицию: не было ли несчастных случаев с подростками. Был несчастный случай: двое мальчишек баловались с патроном, патрон разорвался, мальчишку ранило в руку… Какого возраста мальчишка? Девять лет. Нет, не он…

Душа к высокому тянется. Хочется думать о громадных событиях, совершающихся на фронте, следить за приближением дня победы. Пока дошел до завкома, видел оживленные лица, слышал веселые разговоры: вчера сломлено сопротивление врага в Будапеште; выходит из войны

Венгрия, немцы потеряли в Европе последнего союзника. Теперь скоро Берлин! Хочется подойти к карте, где в два ряда натыканы флажки. Подсчитать, на сколько же это мы продвинулись на запад с начала года… А вместо этого изволь разыскивать Тольку.

Сегодня в перерыв будут летучки по цехам. Обратиться бы к людям с хорошим словом, сильным, душевным. Но — не успел подготовиться: черт знает чем занимался до ночи — пришивал пуговицы, варил суп, будь он проклят. А выступаешь перед собранием без подготовки — получается казенно, сухо; совсем не те слова произносит язык, какие встают в воображении.

Во время телефонного разговора вошла Домна, уборщица заводоуправления.

— Тольку ищете? — спросила она. Она всех знала и со всеми была запанибрата. — Мотает где-нибудь… Что я хотела спросить, Федор Иваныч, насчет огородов ничего не слыхать? То говорили — в Озерной нам земля выделена, а теперь замолчали. Ведь покуда получим да разделим — смотришь, и апрель на дворе, и копать время.

— Будут огороды, — сказал Уздечкин.

— Меланья говорит, не дадут будто. Но я не верю: как это мыслимо? Мне лично, Федор Иваныч,

шесть соток необходимо.

— Получите, получите ваши сотки! — сказал Уздечкин и зарылся в папки, чтобы избавиться от нее. И опять тяжело и больно повернулось сердце…

Об этих огородах он должен был сегодня говорить с директором.

Каждый год заводу предоставлялась земля, иногда в нескольких часах езды от города. И на этот раз землю отрезали довольно далеко — в Озерной. Говорили, что земля неважная, но начальник ОРСа, по приказанию Листопада, раздобыл химические удобрения, так что с этой стороны все обстояло благополучно. Вспахать землю обязалась тамошняя МТС. В начале февраля завод посылал на МТС своих слесарей — ремонтировать тракторы.

Вдруг директор объявил завкому, что большая часть земли в Озерной пойдет в подсобное хозяйство; а рабочим остались самые пустяки.

— Не для чего каждому участок, — сказал Листопад. — Дадите только многосемейным.

Это было неслыханно. Испокон веков рабочие Кружилихи разводили огороды. Каждый стремился иметь на зиму свою картошку. По воскресеньям специальные поезда снаряжались за

город; ехали целыми семьями, с лопатами, тяпками, провизией — старые и малые. На платформах везли посадочный материал: картофель целый и в срезках, с заботливо проращенными ростками, увязанный в мешки, — на каждом мешке метка чернилами или краской: кому принадлежит мешок… Невозможно было так сразу взять и отменить все это.

Уздечкин побежал к Рябухину.

— Самое бы милое дело, — сказал Рябухин, задумчиво почесывая стриженую голову, — если бы ты лично договаривался с Листопадом о таких вещах. Для твоего же престижа было бы лучше.

— С Листопадом договариваться отказываюсь, — горячечно сказал Уздечкин. — Уволь.

— Говоришь не подумав, Федор Иваныч. Как это может быть, чтобы в советских условиях профсоюз отказывался договариваться с хозяйственником? Что тебе Листопад — частный предприниматель? Капиталист?

— Ладно, хватит меня воспитывать, — сказал Уздечкин. — Позвони-ка ему лучше.

Рябухин пожал плечами и позвонил Листопаду. Уговорились встретиться всем троим и потолковать об огородах.

Когда Уздечкин пришел к директору, Рябухин

сидел уже там. «Поторопился прийти пораньше, — подумал Уздечкин. — Небось успели столковаться за моей спиной…»

— Этой Марье Веденеевой еще орден нужно дать, — говорил Листопад Рябухину. — Сама, понимаешь, работает на совесть и еще с пацанами возится — это подвиг, как ты хочешь.

— Безусловно, подвиг, — сказал Рябухин.

— Героиня, а? А ей самой — сколько ей? Года двадцать три?

— Больше, — сказал Рябухин. — Лет двадцать шесть, двадцать восемь. Кричит она на них. Я ей говорил.

— Ну, кричит. Кричит — это от темперамента и усердия к работе. Попробуй не кричать на ее месте. Когда они у нее разбегаются из-под рук… Здравствуйте, Федор Иваныч, — сказал Листопад, словно только что увидел Уздечкина. — Садитесь…

Уздечкин сел и развязал тесемки толстой папки.

— Тут весь материал, — сказал он. — Заявления от рабочих и служащих. И сводки по цехкомам. И общая сводка.

— Бумаги много, — сказал Листопад. — От всех рабочих собрали заявления?

— От всех.

— Не может быть, — сказал Листопад. — Цехкомы ввели вас в заблуждение. Нету в этой вашей божнице двадцати тысяч заявлений.

Уздечкин покраснел слабым сизым румянцем.

— Я имею в виду — от всех желающих.

— Дайте-ка общую сводку. — Взглянул, поднял брови, передал сводку Рябухину. — Ты видел? Восемьсот га. Восемьсот га под индивидуальные грядки. Сумасшедшие люди!

— Это минимум, который нужен, — сказал Уздечкин, изо всех сил стараясь сохранить спокойствие. — До войны мы в отдельные годы брали больше.

Листопад отбросил сводку.

— Честное слово, Федор Иваныч… как с вами говорить? Мы все объясняемся и объясняемся, как супруги, которые не сошлись характерами… А что объяснять, когда вы не хотите понять простую вещь?.. Рабочему в выходной день надо отдохнуть. А вы ему вместо отдыха суете лопату в руки: поезжай к черту на кулички, сажай картошку! А сколько обуви он на этом деле истреплет? Это я, деревенский мужик, привычен, я по любым колючкам пройду босый… А городской человек не может. Я прошлое лето ездил,

смотрел: а, боже!.. Вот такусенькие грядки — и народу на них как муравьев… Возится баба на своей грядке и думает: соседке делянку лучше дали, у соседки картошка крупнее. И мешочки, мешочки, меточки — и баба думает: как бы по дороге из моего мешка не отсыпали… Чепуха на постном масле, кустарщина, пережиток, совсем не в духе нашего времени установление — от нужды за него держимся, а не от хорошей жизни! Ну, я понимаю — где нет других возможностей… так ведь я вам даю возможности!.. И все равно же не хватает рабочему на зиму этой картошки, вот в чем дело! Все равно свой огород кормит его только до декабря, ну — до января, а потом он к нам же бежит! В ОРС! И ругает нас на всех перекрестках, если у нас картошки нет, — и правильно делает, что ругает… Я вам предлагаю что: я на себя беру снабжение картошкой и овощами. Полностью. Но для этого мне земля нужна. И я ее получаю в Озерной за счет ваших индивидуальных огрызков. У меня там тысяча га — я вам даю двести, и распоряжайтесь ими, как хотите.

— Двести га — это капля в море, — сказал Уздечкин. — Этим никого не удовлетворишь. Только будут недовольство и жалобы — не расхлебаешь.

— А вы жалоб боитесь? Вы не можете людям

объяснить толком?.. Если не можете, созовите собрание, я им объясню, что это в их же интересах.

— Тут, понимаешь, какое дело, — сказал Рябухин. — Для многих это, помимо прочего, привычное препровождение времени. В летний день он едет за город, с детишками, воздух, природа, он работает, работа на воздухе его бодрит…

— Брось, Рябухин, это твое интеллигентское измышление, это ты сейчас думал и придумал. Ты у рабочего спроси, как это его бодрит, когда он в выходной день наработается дотемна, домой возвращается без задних ног, а утром ему к станку становиться… А если кто для моциона хочет покопаться в земле — пожалуйста. Пожалуйста! Пусть в выходной едет в подсобное хозяйство, милости просим. Еще и денег дадим.

— А где, — спросил Уздечкин, — вы возьмете достаточное количество рук, чтобы осилить такое хозяйство?

— Пленные немцы мне посадят и уберут.

— Не дадут вам пленных.

— Ну, не дадут пленных — я машины достану, пропашники, картофелекопалки, — механизируем все работы… В общем, это уж пусть у меня болит голова, где я возьму руки. Короче говоря, вот так. Двести га. Давайте многосемейным, у

которых помощников много.

Он встал. Но Уздечкин не уходил.

— Двести га, — пробормотал он. — Это невозможно. Это насмешка. В конце концов, в отношении индивидуальных огородов есть установка партии и правительства…

— Ну, — сказал Листопад беззаботно, — партия и правительство с нас не взыщут, если мы через подсобное хозяйство обеспечим рабочих картошкой.

Уздечкина затрясло от этого беззаботного тона.

— Это все дутые обещания! — закричал он. — Лишь бы сделать широкий жест и показать свою власть, да!.. А рабочие в результате останутся без картошки!

Он схватил папку и выбежал из кабинета, хлопнув дверью. Анна Ивановна, сидевшая в соседней комнате, вздрогнула и посмотрела ему вслед большими глазами.

— Слышал? — спросил Листопад Рябухина.

— Ты его раздразнил своим тоном, — сказал Рябухин. — Так нельзя. Он человек нервный…

— Он псих. Ты его, пожалуйста, ко мне не води. Он меня когда-нибудь укусит, ей-богу.

Накануне, уйдя утром из дому, Толька отправился к своему приятелю Сережке. Они уговори-

лись ехать в деревню к Сережкиной тетке.

Сережка был годом моложе Тольки, но Толька уважал его за широкий, образованный ум. У Сережки был брат Генька, пяти лет. Отец их был в армии, мать работала на Кружилихе. Сережка жил вольным казаком. Иногда он ходил в школу, где числился учеником седьмого класса, но по большей части проводил время в чтении книг и в беседах с друзьями.

Толька подождал под лестницей, пока Сережкина мать не ушла на работу, и потом поднялся наверх, в Сережкину квартиру, где был тот приятный кавардак, какой могут устроить двое мальчишек с разнообразными умственными интересами. Сережка и Генька были уже готовы. Все втроем они съехали по перилам и степенно пошли к трамвайной остановке. Сережка вел Геньку за руку.

Подошел переполненный трамвай.

— Ты на колбасе, — сказал Сережка Тольке, — а мне с ним придется с передней площадки.

Неподалеку от станции был рынок. Там Толька продал пайковый лярд и две банки рыбных консервов (ему не нравились рыбные консервы) и купил пряников, колбасы, две пачки папирос и белую булку для Геньки. Потом они сели в приго-

родный поезд и поехали.

Ехать было очень интересно. Поезд шел сначала вдоль берега реки. Река лежала взбаламученная, набухшая, грозная: глядя на нее, Толька подумал, что так, должно быть, выглядят арктические торосистые ледяные поля… Полоскался на холодном ветру полинялый вымпел возле пустого здания речного вокзала. Летом здесь будут приставать пассажирские пароходы, будет людно, а сейчас никого нет… Бетонированная стена замелькала перед окнами, в вагоне стало темнеть и вовсе стемнело: поезд вошел в туннель. Генька сделал вид, что ему страшно, и начал кричать, но тут же разочаровался: поезд вышел из туннеля, опять открылась грязно-белесая, вспухшая, в ледяных морщинах и складках река. Это оказался не настоящий туннель, а так, какой-то туннелишка… Грохот колес усилился; громадные, стальные, одна как другая — понеслись мимо окон фермы бесконечного моста. С моста было видно, как река уходит вдаль и сливается там с таким же серо-белесым холодным небом, с которого вот-вот пойдет снег…

Сережка с Толькой завели интересный разговор: кем надо быть, чтобы зарабатывать много денег. Сережка хорошо разбирался в этом вопросе.

Он точно знал, сколько получают конструкторы самолетов, академики, чемпионы спорта и артисты, которые снимаются в кинофильмах. Но в Сережкиных сведениях не было ничего утешительного: для всего этого надо было учиться много лет, а Тольке лень было проучиться еще хотя бы год, чтобы закончить семилетку.

— Не понимаю, — сказал Толька, — для чего, например, чемпиону бокса алгебра и геометрия?

Сережка пожал плечом:

— Я тоже не понимаю, но — факт остается фактом.

А Генька стоял ногами на скамейке и большими глазами смотрел, не отрываясь, в окно, за которым плыли высокие зеленые сосны.

— Лось! — закричал чей-то голос. — Смотрите — лось!..

Лес оборвался, открылась широкая прогалина — и на прогалине стоял живой лось! «Где? Где? Где?» — кричал в отчаянии Генька, который не сразу увидел лося. «Да вон же, вон!» — вскочив, в таком же отчаянии кричали Сережка и Толька. Лось стоял неподвижно, он был удивлен видом поезда; он медленно поворачивал вслед поезду голову с ветвистыми рогами.

— Молоденький, — сказал большой красноли-

цый старик. — Молоденький, потому и не боится. Выскочил из лесу и смотрит, и ничего для него страшного нет.

И весь вагон долго говорил про лося. А Толька с Сережкой говорили о том, что можно, собственно говоря, и не зарабатывая много денег, хорошо жить: стать, например, охотниками, ходить по лесам, видеть разных зверей…

Высадились на маленькой станции, стоявшей среди толстых обомшелых пней.

Теткина деревня была видна отсюда как на ладони — она лежала по склону крутизны, густо окаймленной лесом. Крутизна была настоящая, крутая. На нее можно было подняться либо в обход, санной дорогой, либо по одной из узеньких обледенелых тропок, сбегавших вниз. Конечно, мальчики пошли по тропке. Геньку тащили за руки. Он пищал, что ему скользко, а когда его втащили наверх — задрал пальтишко и, сидя, лихо съехал вниз, к подножию крутизны. Глядя на него, съехал и Толька.

— Ненормальные! — сказал Сережка, глядя на них сверху. Сел. Спустил ноги, примерился и тоже поехал вниз с серьезным выражением лица.

Прокатившись несколько раз, пошли к тетке. Бревенчатая изба была обнесена бревенчатым

забором, бревнами была вымощена улица перед избой... Тетка встретила гостей у ворот. Она закричала:

— Гулены, когда поезд гудел, а они только сейчас идут, я бы ушла и избу заперла, вы бы до вечера на улице стыли!.. — и пошла впереди них в дом, добавив: — В оболочке в избу не вваливайтесь; оболочку в сенях оставьте.

Толька недоумевающе оглянулся на Сережку.

— Пальто сними, — объяснил Сережка. — Она оболочкой пальто называет...

Вход в избу был через крытый, полутемный двор, а сени светлые, как горница. Внутри почти вся изба занята громадной печью. Тетка скинула шаль, бросилась к печи, ухватом стала метать на стол горшки — большие и маленькие... Генька вошел из сеней, стоял и смотрел на тетку и вдруг сказал:

— Здравствуйте, тетя.

Тетка не обратила на эти слова никакого внимания и стала кормить их кашей и поить горячим молоком. Потом она убежала, шибко протопав валенками по лесенке. Генька видел в окошко — тетка пронеслась по улице, как автомобиль.

— Что у нее случилось? — спросил Толька.

— Ничего не случилось, — сказал Сережка, —

просто боится опоздать на работу. Она бригадир.

На стене вокруг зеркала висели карточки офицеров. Их было много — с орденами и без орденов, с усами и без усов, а один с бородкой. Сережка сказал, что это теткины сыновья.

— А муж у нее есть? — спросил Толька.

— Так вон же муж, — сказал Сережка. — Тот, что с бородкой.

Оставив Геньку караулить дом, Толька и Сережка пошли гулять. Народу на улице не было.

— Им гулять сейчас некогда, — сказал Сережка, который часто бывал в деревне и все знал. — Ремонтируют инвентарь к весеннему севу. Мужчины ушли в армию, управляются женщины, старики и молодежь нашего возраста. В общем, та же картина, что у нас на Кружилихе.

Избы были одинаковые, из бревен, окна высоко — не дотянуться рукой. На одну такую избу показал Сережка и сказал:

— Тут живет батюшка.

— Какой батюшка? — спросил Толька. — Поп?

— Он не простой поп, — сказал Сережка. — У него медаль есть: он собрал деньги на танковую колонну. Среди этих, знаешь, что в церковь ходят молиться. Среди православных крестьян.

Остановившись, они посмотрели на окна. Ни-

чего не было видно за белыми занавесками.

— Интересно, — сказал Толька, — откуда они берутся — батюшки? Как делаются батюшками?

Но этого даже Сережка не знал. И, строя разные предположения на этот счет, они по разъезженной дороге пошли к лесу.

— Вставайте, сони, будет спать! — разбудила их утром тетка. — Смотрите, день какой!

Толька вскочил и зажмурился: прямо в глаза ему ударило солнце. Невозможно жарко было от солнца, от пылающей печи, от овчин, расстеленных на полатях.

— Фу-ты, — сказал Сережка, поскорей слезая с полатей, — я весь вспотел.

Он огляделся заспанными глазами:

— А Генька где?

— На огороде играет. Идите и вы, смотрите, как зима с весной встречается…

Толька вышел в огород. На высоких грядах, покрытых снегом, растекалось солнце. Беззаботно синело небо. Воробей присел на забор, подпрыгнул, повернулся вправо и влево, воробьиный хвост задорно торчал вверх, круглый коричневый глаз удивленно и весело поглядел на Тольку: что такое происходит? Чем это пахнет? Ведь до весны еще далеко!

— Толька, — сказал Генька, — давай не уезжать отсюда. Давай тут жить, и все.

— Ты это тетке скажи, — сказал Толька, которому и самому вдруг до тоски захотелось пожить в деревне. — Я тут не хозяин.

Генька побежал в избу и сказал тетке:

— Толька сказал, что мы у вас останемся жить.

— А живите, мне что, — сказала тетка. — Вот завтра с утра в район поеду, возьму вас с собой. Небось никогда лошадьми не правили, поучитесь.

Толька подумал: что-то говорят о нем на заводе. Ищут, наверно. Бригадир ругается, Федор ругается, мать охает и тоже ругается. Но так захотелось ему научиться править лошадьми, так не хотелось уезжать от сосен, приволья и от Сережки, что он прогнал неприятные мысли. А если бы он заболел? Если бы, например, он сломал себе руку? Ведь обошлись бы без него…

Целую неделю мальчики прожили в деревне и порозовевшие, с бидонами и кошелками гостинцев для Сережкиной матери возвратились на Кружилиху.

Толька скучнел по мере того, как поезд приближался к Кружилихе. Остаток дня он просидел у Сережки, потом с отвращением пошел домой. Открыл дверь своим ключом, посмотрел — мать

и девчонки спят, Федора нет дома — и поскорей забрался в постель… Скоро пришел Уздечкин; Толька закрыл глаза и стал ровно дышать.

Уздечкин повернул выключатель и увидел Тольку.

— Негодяй, — сказал он тихо, чтобы не разбудить девочек; лицо его потемнело, на скулах заходили желваки… — Негодяй, если бы *она* не сестра тебе, я бы сейчас, сию минуту… как есть — на улицу… — Он прислонился к дверному косяку и замолчал.

Толька быстро сел на кровати и крикнул:

— Ну и ругайся, я знал, что ты будешь ругаться, ты только и знаешь, что ругаться…

Уздечкин смотрел на него, лицо его все темнело…

— Ты и *с ней* ругался! — кричал Толька, спеша взять перевес в этой ссоре, где — он это прекрасно понимал — он был кругом виноват, а Уздечкин прав. — У тебя все плохие, ты один хороший! Тебе плохо, так ты на всех кидаешься!..

Валя проснулась от крика и громко заплакала.

— Ну, ты еще чего! — сказал Уздечкин надорванным голосом. — Спи. Спи. Спи, слышишь?.. — Он уложил ее, подоткнул одеяло.

Ольга Матвеевна поднялась, смотрела перепу-

ганными глазами, спрашивала:

— Что тут?.. Кто кричит?.. Господи, и ночью покоя нету!

Толька отвернулся к стене и заплакал скупыми, душными мальчишескими слезами.

…И никто не спросит, что с тобой было в эти семь дней, и некому даже рассказать, как ты правил лошадьми!..

Глава пятая
Дети завода

Как-то был у Листопада спор с Зотовым: где рабочее место директора. Зотов доказывал, что в кабинете.

— Ты пойми, — говорил он, — мы с тобой действительно генералы, под нашим командованием армии. Начальники цехов, главный конструктор, главный технолог, главный механик, главный металлург, главный энергетик — это ведь высший командный состав! Что же мне, бегать за каждым? Слушай, ведь начальник цеха смыслит в своем деле, ей-богу, не меньше нас с тобой. Их нервирует, когда крутишься у них перед глазами; они думают, что директор им не доверяет… Я бываю на сборке и на испытаниях, а вообще я у себя, люди приходят — я на месте, моментально приму — культурно… А к тебе звонишь, звонишь — один ответ: он на заводе. А если ты кому-нибудь срочно нужен? Где тебя поймаешь? Это пережитки первого периода стройки: «Где начальство?» — «На лесах…»

А Листопад тосковал в кабинете. Сидеть за

письменным столом было ему трудно. Посидит час-полтора и идет в цеха.

Но все-таки получалось так, что едва Листопад появлялся в кабинете, как раздавались телефонные звонки и приходили посетители, и всем им Листопад действительно был очень нужен, — очевидно, без сидения в кабинете никак не обойтись…

Вот и сегодня. Едва он вошел, как Анна Ивановна доложила, что три раза звонил комсорг завода Коневский, спрашивал директора. Коневский за все время обращался к Листопаду не больше четырех-пяти раз и всегда по серьезному делу. Листопад велел Анне Ивановне сейчас же созвониться с ним.

Коневский явился очень скоро. Это был узкоплечий, еще не сложившийся юноша с молодыми темными усиками, с горячими карими глазами, с лицом неправильным, подвижным и прелестным, какое может быть только у очень молодого и очень хорошего человека. Ворот вельветовой блузы с застежкой «молнией» не закрывал его шеи, нежной, как у девушки. Он старался выглядеть солидным и укротить свою горячность — кровь то и дело приливала к его лицу.

Листопад оглядел его с чувством собственни-

ческой гордости. Эти вельветовые блузы достал по его заказу начальник ОРСа: Листопаду хотелось, чтобы у молодых людей на заводе был вот именно этот демократически-элегантный, непринужденный вид…

Коневский рассказывал о слесаре, подростке пятнадцати лет, который проштрафился: прогулял целую неделю, и теперь его надо отдавать под суд. Коневскому было жалко Тольку, из-за этого он сюда и пришел; жалко потому, что прогулял он — Коневский это понимал — по ребяческому легкомыслию. Но чтобы выручить Тольку, надо было сделать что-то незаконное, и это было мучительно Коневскому. Кроме всего прочего, Толька — родственник Уздечкина. Об этом надо было сказать директору, но тот может подумать, что Коневский заступается за Тольку из соображений кумовства и семейственности. Сам Уздечкин ни за что не будет хлопотать за родственника, он в таких вещах человек щепетильный. Он даже задрожал, когда Коневский необдуманно сказал ему: «Федор Иваныч, а не поговорить ли вам с директором?..» Толька отмежевывается от Уздечкина (Коневский полагал — тоже по щепетильности), говорит: «Он мне вовсе не родственник, какой он мне родственник, подумаешь

— сестрин муж. Он мне никто!»

Коневский так и изложил все дело, не упомянув о родстве Тольки с Уздечкиным.

Листопад смотрел на него ласковыми глазами и молчал. Волнуется парень: молодость! Пусть еще поволнуется — забавно смотреть, как он краснеет.

— Вы что же предлагаете? — спросил Листопад. — Конкретно — как, по-вашему, надо действовать, чтобы обойти закон?

Коневский побледнел и сразу залился румянцем — до чего это здорово у него получается…

— Я думал, что, может быть, можно задним числом дать приказ о недельном отпуске.

— Этим же не я занимаюсь, — сказал Листопад нарочно ленивым голосом. — Этим начальник цеха занимается.

— Начальник цеха не возьмет на себя такую ответственность.

— А я возьму, вы считаете?

Карие, с голубыми белками глаза взглянули на Листопада смело, горячо и серьезно.

— Да, я считаю, что вы возьмете.

— Вот вы какого обо мне представления, — сказал Листопад. — Считаете, что я народные законы могу обходить… Но скажите мне такую вещь…

Он стал закуривать и закуривал очень долго.

— Вы с другой точки зрения — с партийной, комсомольской, государственной — не смотрели на это дело? Вы подумали о том, какой пример будет для остальной нашей молодежи, если мы с вами покроем этот прогул?

Коневский встал.

— Александр Игнатьевич, — сказал он, — я смотрю на это дело с человеческой точки зрения, и мне кажется, что это самая партийная, самая комсомольская точка зрения и что она больше всего совпадает с духом нашего государства и с духом Конституции.

Он произнес эту маленькую речь сгоряча и, как только кончил, смутился ужасно.

— Как фамилия мальчугана? — спросил Листопад.

Он записал: Рыжов, Анатолий, механический цех.

— Я вам сейчас ничего не скажу. Позвоните мне вечером.

Анна Ивановна все эти четверть часа стояла у неплотно закрытой двери кабинета и вслушивалась в разговор. Она ничего не сказала Коневскому, но проводила его любящим взглядом.

Вот так живешь, думала Анна Ивановна, и воображаешь, что все делаешь как нужно. Думаешь, как бы не потревожить соседей, деликатничаешь, по коридору ходишь на цыпочках… А может быть, надо иногда без стука войти к ним и вмешаться в их жизнь. Скоро четыре года, как я живу в этой квартире, Толе не было двенадцати лет, когда я приехала, но уже тогда считалось, что дети — это Оля и Валя, а Толя взрослый. Мать посылала его во все очереди, и дрова он носил, и с девочками сидел, когда она уходила. Она была тогда здоровая, могла и сама стоять в очередях… Помню, Таня как-то сказала, что Толе совершенно некогда готовить уроки. А потом он остался на второй год и сказал, что ему все надоело, что, как только ему исполнится четырнадцать лет, он пойдет на производство… Все лучшее из еды отдавалось Вале и Оле, а о нем стали говорить, что он таскает из дому вещи, и я начала, уходя, запирать комнату, чтобы он не стащил что-нибудь… Он поступил на производство, и помню, — пришел при мне с работы весь перепачканный и мыл в кухне свои маленькие черные руки; мне стало его ужасно жалко, и я дала ему пирожок… Пирожок! Я должна была вмешаться, настоять, чтобы ему создали в семье нормальные условия, чтобы он

продолжал учиться в школе, — ведь не было у них такой уж большой нужды… Может быть, и материально следовало ему помочь, а я не обращала на него внимания, заботилась только о Тане и о себе… О, какие мы черствые, отвратительные эгоистки!

А вот теперь он под суд пойдет, и мы все будем в этом виноваты, все его домашние… Александр Игнатьевич — добрый человек, он бы его выручил; но захочет ли он помогать родственнику Уздечкина, у них такие отношения… Саша Коневский не сказал, но ведь Александр Игнатьевич узнает!.. Как хорошо сказал Саша о Конституции. Чудный мальчик Саша, чувствуется, что вырос в очень хорошей семье…

Напрасно Федор Иваныч до такой степени обострил отношения с директором. На что это похоже — так хлопать дверью, как он на днях хлопнул! Но он очень несчастлив… Он, видимо, сильно любил жену и, видимо, привык работать в другой обстановке, и при его раздражительности и самолюбии ему, понятно, трудно работать с Александром Игнатьевичем… И дома у них тоска! Я не помню, чтобы они смеялись…

Как много горя принесла война. Какие хорошие вещи — человеческая взаимопомощь, челове-

ческое внимание друг к другу. Вот когда они особенно нужны! Но мы о них так часто забываем…

Листопад велел плановому отделу подготовить сведения: сколько на заводе на сегодняшний день молодежи до восемнадцати лет, с разбивкой по возрастам, сколько из них учится, сколько не имеет семьи, и так далее. А сам пошел в механический — ему хотелось видеть мальчугана, о котором ходатайствовал Коневский.

За годы войны много подростков пришло на завод. Одни пошли по горячему желанию быть полезными родине в тяжелую минуту; других пригнала нужда: отцы-кормильцы воевали, надо было поддержать семью.

Из этих молоденьких многие оказались хорошими работниками, о них говорили на собраниях, писали в заводской газете, и Листопад знал их в лицо.

Так знал он Лиду Еремину, работавшую на сборке в литерном цехе. Ее все звали просто Лида. Она поступила на завод шестнадцатилетней девочкой. Небольшая такая девочка с острыми локотками, в локонах, в белых туфельках — мамина дочка.

Лида привыкла жить так, чтобы были и туфель-

ки, и конфетка после обеда, и чтобы, когда она ведет сестренок на детский утренник, то все бы на них засматривались и говорили:

— Какие прелестные, *присмотренные* девочки!

Когда отца мобилизовали, а мать собиралась поступать в почтовую контору, Лида нашла, что теперь ее очередь содержать семью.

— Ты сиди дома, мама, — сказала она. — Я заработаю больше тебя.

Ей было жаль бросать школу, но она решила, что доучится после войны.

В первый же день ей пришлось переменить несколько работ. Сперва ее посадили укупоривать изделия в бумагу. Потом велели укладывать в ящики. Потом бригадирша сказала: «Переходи туда, будешь навертывать восьмую деталь».

Она не сердилась и не терялась, она понимала, что ее пробуют. Она сосредоточила все мысли на этих незнакомых предметах, с которыми ей теперь придется иметь дело каждый день, пока не кончится война. У нее были легкие, ловкие пальцы: в классе никто не умел так завязывать бант, как она. Она работала на закатке и на клеймении, навертывала восьмую деталь и так шла от хвоста конвейера к его голове, от последней операции к первой, от второго разряда к четвертому.

В нерабочие часы мастер преподавал работницам технический минимум. Лида аккуратно ходила на занятия и сдала испытания.

Первая операция: вставлять капсюль в корпус. Лида сидела в голове конвейера. Капсюли похожи на крохотные графинчики, с наперсток величиной: горлышко графинчика — сосок капсюля. Сторона, противоположная соску, обернута фольгой: прямо елочная игрушка.

Около Лиды ставили ящички с капсюлями: по пятьсот штук в ящичке, особая упаковка, сургучная печать на веревочке, приклеенной мастикой, сверху, как откроешь, лежит аттестат… Лида выработала специальные жесты: шикарно — молниеносным движением пальцев — срывала пломбу, шикарно — как бросают карту, которая выиграла, — бросала аттестат на конвейер… Норма на закладку капсюля была сперва одиннадцать тысяч за одиннадцать часов, потом, поднимаясь постепенно, дошла до двадцати двух тысяч. Лида делала пятьдесят пять. Один раз она попробовала работать еще быстрее и сделала шестьдесят три тысячи. Но после этого у нее долго дрожали руки, и она почувствовала себя выжатой, опустошенной, — испугалась и запретила себе это делать: лучше отказаться от

громких рекордов, но уж держаться на двух с половиной нормах и не сдавать этих позиций ни за что! Были женщины, которые начинали блестяще: напряжется, даст в какой-то месяц три нормы, а потом скатывается на сто — сто двадцать процентов…

Лида сидела у конвейера с повязанной платком головой. Кругом должно быть чисто, никаких лишних вещей, боже сохрани, чтоб были в одежде булавки, иголки! Может быть большая беда. Одна женщина вот так уколола первую деталь булавкой: ей оторвало палец и опалило лицо… Для Лиды лучше было умереть, чем потерять красоту; и она очень береглась… Металлические стаканчики двигались мимо нее по ленте, левой рукой она перехватывала стаканчик, правой вставляла сосок капсюля в канал. За Лидой сидели два контролера ОТК: они проверяли после нее взрыватели, чтобы не было пустых; они едва успевали проверять, так быстро она работала!

Сначала на закладке капсюлей, кроме Лиды, была еще одна работница. Но она начала спать. Сидит и дремлет, и пропускает взрыватели!

— Уберите ее, — сказала Лида бригадиру, — пусть она спит в другом месте.

Она была безжалостна, она ничего не прощала

людям. В своем юном задоре она не понимала, как это можно опуститься до того, чтобы клевать носом у конвейера. Что вам снится, гражданка? Убирайтесь спать домой, я справлюсь без вас…

Иногда и ее размаривало от усталости. Тогда она не запевала песни, как делали другие: пение отвлекало ее от работы. Она предпочитала поссориться с кем-нибудь, чтобы взбодриться, — например, придраться к контролерам, что они по два раза просматривают один и тот же взрыватель. Видно, им двоим тут делать нечего; так пусть, которая лишняя, идет в транспортеры. Пусть кинут жребий — кому оставаться на конвейере, кому возить тележки…

А то можно было поднять шум на весь цех, чтобы сбежались и профорг, и парторг, и комсорг, и женорг, все орги, сколько их ни есть, и сам начальник товарищ Грушевой: что за безобразие, опять ящики не подают вовремя, она двенадцать минут просидела без капсюлей, держат бездельников, когда это кончится!.. Ей очень нравилось, что все начинают ее уговаривать, а Грушевой бежит звонить по телефону, кого-то распекать и жаловаться директору.

После смены Лида мыла руки, снимала с головы платок и распускала по плечам свои крупные пе-

пельные локоны. Выйдя из цеха, она принимала то мечтательное выражение, которое она любила у себя. Из маленького чертенка она превращалась в хорошо воспитанную девочку — мамину дочку. В редкие выходные дни она гуляла с молодыми офицерами и *морячками* из морского училища; они обращались с нею так, словно она была стеклянная: она создана для изысканных чувств и слов, все девушки кажутся грубоватыми рядом с нею… Восхищенным *морячкам* в голову не приходило, что она умеет кричать пронзительным голосом на весь цех, а при случае не задумается дать по физиономии — будьте уверены…

В сорок четвертом году ее наградили орденом «Знак Почета». Она носила колодочку с ленточкой: это эффектно; на мальчишек это производит жестокое впечатление…

В доме она занимала теперь то место, какое до войны занимал отец. Мать старалась, чтобы к ее приходу все было прибрано и ужин был горячий, еще платье надо прогладить для Лидочки, чулочки заштопать для Лидочки… Мать вырезывала из газет все, что писалось о Лидочке, и Лидочкины портреты, и посылала отцу.

С Костей Бережковым Листопад познакомился так. Однажды позвонил к нему главный бухгал-

тер: как быть, одному рабочему начислили за месяц девятнадцать тысяч зарплаты, неслыханная цифра, начальник цеха и парторг настаивают на уплате, платить или воздержаться?..

— Что за рабочий? — спросил Листопад.

— В том-то и дело, — сказал главбух, — что если бы старый, кадровый, а то мальчишке семнадцать лет, без году неделю на производстве. — Видимо, последнее обстоятельство и внушало главбуху подозрение.

Листопад заинтересовался, позвонил Рябухину. Тот объяснил: полтора месяца назад завод получил срочный заказ. Выполнение заказа задерживалось из-за перегрузки станков «Sip». Тогда Костя Бережков изготовил на «Sip» кондуктор для сверления отверстий на расположение и с помощью этого кондуктора обработал детали. Да, действительно заработал девятнадцать тысяч, и действительно на заводе всего около двух лет, чертовски талантливый парнишка, из него будет инженер…

Листопад приказал немедленно выдать Косте Бережкову зарплату, а сам пошел в цех — посмотреть, что за Костя. Оказалось — обыкновенный мальчик, высокий, с крупными чертами добродушного лица, большерукий, рукава короткие

— из спецовки вырос… Он поговорил с Костей: один, живет в общежитии; мать с четырьмя младшими детьми живет далеко, в маленьком городке; отец погиб на фронте. На завод Костя пришел из ремесленного училища.

— Не учишься? — спросил Листопад.

— Я занимаюсь с Нонной Сергеевной, — сказал Костя.

— С какой Нонной Сергеевной?

— С товарищем Ельниковой, конструктором. Нас несколько человек с нею занимается, — объяснил Костя.

Потом Листопаду сказали, что Нонна Сергеевна по собственному почину отобрала несколько мальчиков и девочек из бывших ремесленников, они ходят к ней домой, и она их учит. Саша Коневский считал, что следовало бы это дело ввести в общую систему технической учебы, время от времени устраивать ребятам экзамены, это было бы поучительно для всей заводской молодежи. Занятия лучше проводить в клубе, чтобы могли присутствовать все желающие… Рябухин не согласился с Коневским: ребята не ходят в клуб, потому что там холодно, а у Нонны Сергеевны тепло. И чаем она поит, говорят ребята, — и у нее много интересных книг по технике, их можно

брать с полок и рассматривать.

— А Нонне Сергеевне, — сказал Коневскому Рябухин, — ты и не заикайся, чтобы переходила в клуб и что ее учеников будут экзаменовать: женщина с фокусами, фыркнет и бросит все, и конец хорошему начинанию. Подождем, сама к нам придет.

Листопад премировал Костю, а когда спустя сколько-то времени захотел опять увидеть его, Кости на заводе уже не оказалось: отослал матери свои девятнадцать тысяч и ушел в индустриальный техникум.

Листопад рассердился: как отпустили человека, полезного для производства? Грушевой разводил руками, бормотал что-то насчет того, что Нонна Сергеевна очень настаивала… Эта Нонна Сергеевна крутит людьми по своему усмотрению. Указать бы ей ее место, да не хочется связываться с бабой…

Вот таких молодых людей, как Костя Бережков, Лида Еремина, как способный техник Чекалдин, Листопад знал в лицо и живо интересовался ими. Но существовало еще несколько тысяч подростков, у которых не было никакой славы. От них, случалось, приходили в отчаянье старые мастера, привыкшие иметь дело с опытными и дисци-

плинированными рабочими. А между тем они работали и давали продукцию, и их неловкими усилиями, слитыми воедино, выполнялась программа военного времени. Кроме Лиды и Кости, был на заводе мальчик Анатолий Рыжов, он прогулял целую неделю, и его надо отдавать под суд.

Небольшого роста коренастый мальчуган работал у сверлильного станка. Кругом были такие же мальчуганы, в таких же спецовках, но у Анатолия Рыжова было выражение, отличавшее его от всех, — выражение угнетенности; и по этому выражению Листопад еще издали угадал прогульщика. Прогульщик мельком взглянул на подходившего директора и продолжал свое дело.

— Рыжов? — спросил Листопад.

— Рыжов, — ответил Толька.

— Это ты неделю шлендрал? — спросил Листопад.

— Я, — ответил Толька. Про себя он подумал: «Эх, люди!.. Тут преступление и наказание, а он с шутливыми словечками: шлендрал». Толька сурово насупился и вложил в зажим новую деталь…

Листопад остановил станок и спросил:

— Тебе сколько лет?

— Шестнадцать, — отвечал Толька. Ему еще не

исполнилось шестнадцати, но он исчислял свой возраст не со дня появления на свет, а по году рождения: если родился в 1929 году, значит, в 1945-м ему шестнадцать лет.

— Где же ты был? — спросил Листопад.

Толька ответил не сразу. Ему надоело отвечать на этот вопрос.

— В деревне.

— В деревне? Что делал? Работал, что ли?

Толька молчал.

— У тебя семья в деревне?

— Нет, тут у меня семья, на Кружилихе.

— Кто у тебя?

— Мать.

— Ты один у матери или много вас?

— Один, — сказал Толька и сам удивился: ему до сих пор не приходило в голову, что он у матери один. При матери он числил Федора, Ольку и Вальку, а себя — в последнюю очередь и между прочим.

— Ты по доброй воле к нам пришел, — сказал Листопад. — Законы военного времени тебе известны, так? Ты понимаешь, что мы тут не шутки шутим. Мы все силы напрягли — завершаем великое дело, ради которого сотни тысяч наших советских людей отдали жизнь; а ты дезерти-

руешь…

Он говорил суровым голосом и чувствовал нежность ко всем этим ребятам, к этим чистым глазам, которые смотрели на него, которых он раньше почему-то не замечал.

— А вы где, ребята, живете?

Ребята замялись: никому не хотелось выскакивать — отвечать первым…

— Вот ты — где живешь?

— Я? — переспросил Алешка Малыгин. — Я тоже в семье живу.

— А ты?

— В юнгородке, — отвечал беленький, похожий на девочку Вася Суриков. — Я и вот он, и вот он — мы живем в юнгородке.

Юнгородком называли десяток стандартных двухэтажных домов, построенных в годы войны для молодых рабочих, не имевших жилья.

— Как там у вас, в юнгородке? — спросил Листопад. — Хорошо?

По тому, как переглянулись ребята, он понял: совсем не хорошо.

— Ничего, — сказал Вася Суриков со снисходительностью мужчины, понимающего трудности и не боящегося их, — жить можно.

Листопад смотрел на них, и чувство умиления,

почти благоговения, наполняло его душу.

Он надвинул Тольке кепку на нос и сказал:

— Обожди, ребята, еще немного, перейдем на мирное положение, получите отпуска, дадим вам путевки в дом отдыха, кое-кто, наверно, пожелает идти учиться, все еще будет, ребята. Все.

Подошла Марийка, расстроенная.

— Вот, товарищ директор, никакой сознательности, — сказала она, качая головой. — А еще родственник председателя завкома. Осрамил Федора Иваныча на всю Кружилиху! — сказала она Тольке с сердцем.

Листопад не понял:

— Как председателя завкома? Кто родственник?

— Да он же, а кто же, — сказала Марийка. — Вот этот красавец молодой… Ну, как же. Покойной жены Федор-Иванычевой родной брат, вместе и живут.

Листопад помолчал, соображая.

— Ладно, — сказал он, — работай, Рыжов, замаливай грех.

«Ах, хорошая вещь ребята, — подумал он, уйдя от них, — ах, хорошая!..» Взбодренный, словно вспрыснутый весенним дождем, он прошел в конторку к мастеру Королькову, кликнул по те-

лефону Мирзоева и поехал в юнгородок.

Мирзоев сидел за баранкой необычно серьезный и строгий, со сведенными тонкими бровями.

— Чего у тебя сегодня вид бледный? — спросил Листопад.

— Отмечаю траурный день, — тихо и торжественно отвечал Мирзоев, глядя перед собой печальными глазами. — Ровно три года назад погиб мой лучший начальник и товарищ, которого я возил: командир нашего батальона… Это был человек! Буду жить еще сто лет — буду помнить.

У каждого за годы войны выросли свежие могилы. Будь жива Клаша, был бы сын, сыновья, мальчики с чистыми глазами и мужскими душами… Сколько потеряно, сколько лет пройдет, пока зарастут могилы быльем-травой!

Чернее тучи вернулся Листопад из юнгородка и сразу позвонил Уздечкину.

— Федор Иваныч? Прошу вас ко мне зайти. Сейчас же.

В том, что увидел Листопад в юнгородке, был виноват не один Уздечкин. Вину с Уздечкиным делили и Рябухин, и Коневский, и прежде всего он сам, Листопад. Но Уздечкина Листопад не любил, и весь гнев его пал на Уздечкина.

Он встретил его стоя, в той надменной и неприступной позе, которая приводила Уздечкина в бешенство. И до конца разговора не сел, и Уздечкин вынужден был стоять перед ним. Уздечкин был худой, неуклюжий, сутулый — и так неуклюже и сутуло и стоял перед великолепным директором.

— Федор Иваныч, — сказал Листопад, — на что это вы недавно просили у меня денег? Шестьдесят тысяч. На что?

— Шестьдесят тысяч мы просили у вас на ремонт Дома культуры, — отвечал Уздечкин.

— Ах, на ремонт Дома культуры. Что там нужно?

— Паровое отопление нуждается в ремонте. Частичное остекление. Общая окраска помещений. У директора Дома есть мысль перекрасить зрительный зал под мрамор.

— Могучая мысль. И на все про все шестьдесят тысяч?

— Мы же знаем, как вы неохотно отзываетесь на наши просьбы, — кольнул Уздечкин. — В основном вложим наши средства.

— Откуда у вас средства?

— Молодежь предлагает отработать субботник.

— Так… А скажите, Федор Иваныч, почему вы

у меня не просите денег на ремонт юнгородка? Не под мрамор, а просто — чтобы создать там человеческие условия жизни?

«Ага! — подумал Уздечкин. — Ну, нет, тут не подкопаешься!»

— Мы занимаемся юнгородком, — сказал он. — У нас есть акт обследования комиссии, который мы на днях будем обсуждать.

— Обсуждать?! — обрушился на него Листопад. — Что вы, черт вас побери, будете обсуждать?! Степень активности членов комиссии? или каким цветом крышу красить?.. Там же все отсырело, ребята пропадают от сырости! Мусор, грязь, у управхоза вот такая морда — дрыхнет, должно быть, по целым дням... Вы раковину видели, водопроводную, над которой они умываются? Трубы забиты — до края грязная вода стоит! — это он, чтобы умыться, должен сначала всю эту мерзость вычерпать оттуда... Это — жилье? Вас бы поселить в таком жилье, товарищ председатель завкома, тогда бы вы занимались не престижем своим, не склоками, а занимались бы тем, чем нужно, чего ждут от вас рабочие!.. Вы публично в грудь себя кулаками колотите, кричите, что я вас подменяю, что я вам не даю вашу марку ставить на всем, что на заводе дела-

ется, а на поверку выходит, что если я лично не влезу в самое вот такое малюсенькое дело, то оно с места не двинется! Черт бы вас побрал, кто этой раковиной должен заниматься, я или вы?.. Я вас спрашиваю: я или вы?

— Мы не перестаем заниматься бытом, — со страшной выдержкой сказал Уздечкин. — Весь наш жилищный фонд требует ремонта, а не только юнгородок. Мы отремонтировали три квартиры для семей фронтовиков, у нас двадцать семей остронуждающихся, — в конце концов, не может завком охватить все сразу…

— А не может охватить, так уходите — уступите место тем, которые могут!

Уздечкин презрительно смотрел в сторону. Настоящее, непритворное спокойствие вдруг овладело им. Вот куда клонит директор: чтобы Уздечкин ушел с поста. Ну, нет. Его не Листопад назначил: он избран членами профсоюза — тайным, прямым, всеобщим голосованием… Директору придется считаться с этим.

— Всеобщие трудности, за них завком не несет ответственности, — сказал он тихо. — У нас сотни заявлений, разбираем в порядке очередности… Вот намечен ремонт Дома культуры, делаем, что можем, для семей фронтовиков, — этим в первую,

конечно, очередь, потому что это прямые иждивенцы завода…

Листопада затрясло.

— Слушайте, — сказал он, — вы мне этого слова не говорите. На заводе нет иждивенцев, ни прямых, ни косвенных. Есть дети завода, одни учатся, другие работают, но все они дети завода, все до единого — и потрудитесь обо всех заботиться!.. Это я вам говорю как член профсоюза, как ваш избиратель, которому вы обязаны отчетом! Понятно? Да как на вас положиться, — заключил он, — когда вы в своей собственной семье не можете позаботиться о парнишке, не можете дать ему лад… Чего другим от вас дожидаться!..

Тяжело ненавидеть человека, с которым приходится работать вместе. Это началось, когда жена Листопада лежала в гробу. Уздечкин поймал себя тогда на подлой мысли, что вот-де и у Листопада такое же горе, вот и у Листопада жена умерла, есть же все-таки на свете справедливость… Он ужаснулся этой мысли, прогнал ее, постарался забыть…

Но больное самолюбие — а Листопад его не щадил — раздражалось изо дня в день. Организм отказывался бороться с этой болезнью. Силы падали. Уздечкин вышел от Листопада в состоянии

мертвенной усталости и нервного оцепенения.

Листопад сказал начальнику соцбыта:

— Съездите в юнгородок, осмотрите дома, представьте смету на ремонт… И не так ремонтировать, чтобы главные дыры заткнуть, — добавил он, засверкав глазами, — а так, как вы бы отремонтировали собственную квартиру!

Глава шестая
Тетрадки

У покойной Клавдии жизнь была коротенькая, но событий в ней было порядочно.

Накануне войны Клавдия перешла в десятый класс. Ей сшили белое платье. Она завилась у парикмахера и первый раз в жизни сделала маникюр. В школе был вечер. Строгий учитель математики пригласил Клавдию на вальс и говорил ей «вы». Она поняла, что она уже взрослая, но все-таки робела перед ним по-прежнему. Отец и мать пришли на вечер празднично одетые; мать — в пестреньком платье с кружевным бантом у ворота — сидела гордая и торжественная…

Клавдия не знала, что ей делать дальше.

— Самое хорошее для женщины, — говорила мать, — выйти замуж и растить детей. — Но Клавдии еще не хотелось замуж.

— Пускай, пускай учится, — говорил отец. — Пускай подольше длится ее золотое детство! — Но Клавдии и учиться не особенно хотелось.

Прежде всего хотелось хорошенько выспаться после экзаменов. Потом съездить с девочками

и мальчиками в Терийоки. Эту прогулку они задумали еще во время экзаменов. И вот ранним утром 22 июня они поехали в Терийоки. Утро было холодное, они озябли в поезде, а к полудню стало очень жарко. Они пришли в лес и сели завтракать, и сразу съели всю еду, взятую из дому на целый день. Потом отправились бродить — и Клавдия всегда вспоминала эту прогулку с улыбкой: как было хорошо, как ни о чем не думалось трудном, сколько было смешного! Нагулявшись, пришли на станцию. Проголодались, как звери, но денег у них хватило только на мороженое. Смеясь, они покупали мороженое и вдруг увидели, что продавщица плачет. Они притихли, а Клавдия спросила: «Что с вами, почему вы плачете?» Женщина вытерла слезы и сказала сердито:

— С вас три рубля пятьдесят копеек.

Они взяли у нее каждый по замороженной трубочке, истекавшей липкой белой жидкостью, и сели в вагон, облизывая эту жидкость и подсчитывая, хватит ли им денег на трамвай. И в поезде от хмурых, расстроенных людей, возвращавшихся в Ленинград после воскресной прогулки, они услышали слово: война.

Так кончилось Клавдино детство.

Потом она носила на чердак мешки с песком, де-

журила по ночам на крыше, ездила в Лугу копать окопы. Она изучила правила противопожарной и химической обороны и первой помощи раненым. Руки у нее были в мозолях и ссадинах. Ей всегда хотелось есть. Постепенно чувство голода стало менее острым, она перестала бегать и громко говорить, стала вялой. Когда она наклонялась, у нее кружилась голова и звенело в ушах. Но она умела скрывать свою слабость, и все думали: она еще ничего — держится; и когда комсомольцы шли оказывать помощь людям, которые слегли от голода и не могли вставать, — в самые верхние этажи шла Клавдия. Окна на площадках были забиты фанерой. Редко кто попадался навстречу; только Клавдины шаги звучали в черном колодце лестницы. Подъем казался бесконечным, но она добиралась до цели. Это была чья-нибудь незнакомая дверь. Случалось, что никто не выходил на стук…

Отца больше месяца не было дома, он ночевал на заводе. Пришло известие, что брат убит. Клавдия пошла к отцу, чтобы сказать ему об этом. Он выслушал ее и сказал: «Иди к маме, я завтра к вам приду». На другой день его должны были отвезти в больницу вместе с другими рабочими, которые очень ослабели. По дороге в больницу он заста-

вил шофера остановиться, вышел из машины, пошел домой и пропал без вести где-то в сугробах Лиговки. А в конце января умерла мать: пошла за хлебом на Суворовский, присела отдохнуть на углу Заячьего переулка и тихо заснула от слабости. Ее принесли домой. Соседки помогали Клавдии одеть уже окоченевшее тело в праздничное платье (пестренькое, с кружевом у ворота). Они же отвезли покойницу на кладбище. Клавдия шла за саночками и думала: «Бедная мама, так ей спокойнее, никуда не ходить, ничего не делать…» Мать жаловалась, что ей трудно ходить за хлебом и за водой, и сердилась на Клавдию, что та уходит на целый день по своим делам… И еще Клавдия думала о том, что на обратном пути с кладбища ветер будет в спину и не будет так холодно…

Ночью она спала крепко, усталая, и вдруг проснулась. Луна ярко и беспощадно светила сквозь толстый лед окна. Все было видно. Прямо против себя Клавдия увидела кровать матери. Одеяло было сбито и в подушке вмятина, как будто мать только что встала с постели. Клавдия села и крикнула: «Мама!» — так громко, что ей самой стало страшно. Крик раздался — и опять гробовая тишина в квартире, где умирают люди. Клавдия легла, дрожа, укрылась с головой…

Через несколько дней она поняла, что подходит ее очередь. Стало очевидно, что мать уделяла ей часть своего пайка; потому-то Клавдия и держалась. Теперь ее силы уходили с каждым часом. Наступил день, когда она не могла пойти купить себе хлеба. Соседка купила ей хлеб и принесла кружку теплой воды. Клавдия легла и лежала четыре дня. На пятый день пришли знакомые комсомольцы. Когда она их узнала, она сказала шепотом, требовательно: «Я не хочу умирать! Имейте в виду, я ни за что не хочу умирать!» Ее отвезли в больницу, а весной вывезли из Ленинграда…

Когда Листопад увидел Клавдию, это была рослая, полная девушка с румяным, цветущим лицом. Ни следа ленинградской зимы не осталось на этом лице. Она добродушно хохотала, была доверчивая, щедрая, по-бабьи жалостливая. Она училась в Политехническом институте и понемножку занималась стенографией, думая впоследствии этим прирабатывать.

В числе других студенток ее прислали на завод на практику. Тогда очень трудно было с рабочей силой, и Листопад особо присматривался к практикантам. Из Клавдии — он это сразу увидел — никогда инженера не получится. К технике

— никакого расположения. Почему она пошла в Политехнический? Так — чтобы куда-нибудь пойти… Потом найдет профессию по вкусу, будет переучиваться. Нерасчетлива молодость, не знает цены дням, беззаботно бросает на ветер целые годы… И вдруг его потянуло к этой молодости, к этой беззаботности, свежести, доверчивости…

— Кончай, Клаша, эту музыку, — сказал Листопад об ее учебе, когда они поженились.

Клавдии очень надоело в институте, но бросить его она стеснялась: она думала, что ее осудят, будут говорить: вот, вышла замуж, стала директоршей, генеральшей и перешла в домашние хозяйки, обнаружила свою мещанскую сущность. И она стала уверять мужа, что науки ее очень интересуют, а особенно техника, и что цель ее жизни — быть инженером. Листопад посмеялся, погладил ее по голове, сказал: «Ну, будь, будь кем хочешь!» И больше в ее занятия не вмешивался.

Однажды Клавдия рассказала ему, как она жила в ту зиму в Ленинграде. Его пронзила жалость:

— Маленькая, маленькая, бедняжечка моя!..

Обхватив ее обеими руками, он твердил с нежностью:

— Бедная, бедная…

— Я была страшная — знаешь какая? Груди у

меня совсем как будто бы не было. Как у худого-прехудого мальчика. А лицо как у старухи. И волосы не вились — куда там! — высохли все…

— Больше не надо, — сказал он. — Не говори. Сейчас тебе хорошо?

— Ты знаешь.

— Ну, вот. Ну, вот. И всегда будет так. Куда ты смотришь?

Смотрит поверх его головы. Туда смотрит, назад. Видит опять все это…

— Анна Ивановна, — сказал Листопад, — вы хорошо знаете стенографию.

Он держал в руке стопку тетрадей. Анна Ивановна ждала. То, что он сказал, было вступлением. Должно последовать приказание.

— Мне хотелось бы, чтобы вы это расшифровали, — сказал Листопад, перелистывая тетради и морщась.

Он бросил тетради на стол.

— Остались после жены. Единственное, что осталось, если не считать тряпок. Так вот… Иногда… почитать… Эти записи ее, институтские, она записывала лекции…

Анна Ивановна аккуратно собрала тетради и сказала:

— Хорошо, Александр Игнатьевич.

В этот вечер у нее не было занятий с инженерами. Она пришла домой раньше обычного и села расшифровывать Клавдины записи.

Дело оказалось нелегким. Во-первых, Клавдия писала часто и мелко, строчки набегали одна на другую: должно быть, экономила тетради. «Не успела привыкнуть к достатку, к возможностям», — подумала Анна Ивановна. Во-вторых, Клавдия очень плохо знала стенографию. Система, по которой она писала, была знакома Анне Ивановне, но Клавдия путала, пропускала знаки, несла отсебятину, а иногда переходила на непонятную доморощенную скоропись, где были одни согласные буквы… «Надо вчитываться и вчитываться, — подумала Анна Ивановна, — постепенно я войду в ее манеру и найду ключ».

Путем кропотливого сличения значков удалось добиться кое-каких результатов. Так, Анна Ивановна установила, что кружок с косым крестом посредине означает у Клавдии слог «пре», а кружок с прямым крестом — слог «ост». Пользуясь такими заключениями, Анна Ивановна прочитывала отдельные слова. Разгадав одно слово, она разгадывала — больше предположительно, как в ребусе, — смежные, а это влекло за собой, в свою очередь, новые открытия и заключения.

«В один прекрасный день эта стена опрокинется сразу, — подумала Анна Ивановна, — и я прочту все так легко, как будто сама это писала».

По вечерам, покончив со своими делами, она садилась к столу и раскрывала тетрадки, которые ей дал Листопад. С грехом пополам удалось расшифровать конспекты лекций по сопротивлению материалов.

Ночью Анне Ивановне снились Клавдины закорючки.

Все это была скука смертная, и Анне Ивановне ни к чему, но ей хотелось исполнить просьбу Листопада, первую его личную просьбу, да еще такую задушевную.

С одной тетрадкой кончено, слава богу. Анна Ивановна взяла другую. Она раскрыла ее наудачу и вдруг прочитала слово: «подушку».

Что такое?

«Облили подушку».

Она открыла тетрадь на другой странице и прочла: «чепуха на постном масле». Прочла, как будто это было написано обыкновенными буквами.

Странные фразы. Им не место в конспекте. Дневник?..

Осторожно, с суеверной робостью, она потя-

нула к себе чистый лист бумаги… Неужели она будет сейчас подряд все читать? Даже не верится, что мученью конец.

Она схватила глазами еще две-три фразы и убедилась, что это дневник, страничка дневника. Это по крайней мере интереснее, чем сопротивление материалов.

«…Это, я думаю, чепуха на постном масле, — читала Анна Ивановна, еще боясь, что наитие вдруг кончится и пелена опять застелет ей глаза. — Эти ненужные мысли лезут мне в голову, потому что я беременна. Домна говорит, что когда она была беременна, то она часто плакала „из-за ничего“. Вот и у меня это так, „из-за ничего“…»

Бояться больше нечего, чудо произошло, стена опрокинулась. Отдельные заключения вдруг стали — как связка ключей: каждым ключом открывался какой-то замок; китайская грамота покойной Клавдии предстала вдруг стройной системой; свет пролился на темные страницы, и Анна Ивановна читала их одну за другой.

«Вчера он пришел с какого-то совещания в четвертом часу ночи. Я нарочно не ложилась, чтобы дождаться его. Он не заметил, что я еще не ложилась, и сказал: „Спи, спи“. Я сказала: „Ничего не спи, я дам тебе ужинать“. Он сказал „хорошо“

и сел на диван. Я пошла на кухню, прихожу — он спит на диване сидя, в кителе и в сапогах. Я стала будить его, чтобы он лег как человек. Он не проснулся. Я тогда потушила свет, пошла и легла, а утром просыпаюсь — его уже нет: ушел на завод…»

Анна Ивановна подумала: когда его скорбь смягчится, ему будет приятно читать это. Грустно, а все-таки приятно.

«Когда мы друг друга полюбили, я не знала, как его называть. Я спросила у него. Он сказал: „Только не по имени-отчеству“. Я спросила: а как тебя называли родные, как тебя называла твоя мама? Он сказал: „Так, как мама называла, ты меня называть не будешь, здесь так не принято“. (Он на Украине родился.) Я стала называть его Сашей. Ему не идет, это имя для мальчика или для молодого человека, но я не знаю, как называть иначе…»

«Сегодня давали стипендию. Я все не решу, как быть. С одной стороны, я теперь всем обеспечена. Было бы справедливо, если бы я отказалась от стипендии. Лучше бы ее дали тем, кому она действительно нужна. Но если отказаться, то подумают, что я из хвастовства. А если я сама отдам какой-нибудь девочке, то она подумает:

„Стала генеральшей и благотворительностью занимается“. Я посоветовалась с Сашей. Он сказал: „Конечно, бери. Раз тебе полагается, значит, бери“. Я сказала: „Но ведь у меня все есть“. Он сказал: „Ну, не знаю. Это тебе государство дает. Оно в твоей благотворительности не нуждается“. Он тоже не понял, что это никакая не благотворительность, а просто справедливость. В общем, опять стояла в очереди в кассе, и опять получила стипендию, и опять мне было совестно до ужаса».

Анна Ивановна улыбнулась и перелистала несколько страниц…

«…приходили Зоя и Лена, мы вместе занимались английским. Мне и Лене дается трудно, а Зоя знает немецкий и немножко французский, ей легко. У нас очень холодно, мы сняли туфли и в чулках залезли под одеяло, и нам было тепло. Чай пили тоже на кровати, облили подушку и засыпали все крошками. Хохотали ужасно. Потом они ушли. Звали в кино, но я не пошла, потому что Саша сказал, что придет рано. Я прибрала и стала его ждать. Часто звонили по телефону, спрашивали его. Потом он позвонил и сказал, что задержится на заводе и чтобы я не сидела одна, а пошла куда-нибудь. Но уже было поздно

идти куда-нибудь. Я попробовала заниматься, но мне не хотелось. Стала штопать ему носки, но у меня озябли руки: батареи чуть теплые, пар изо рта идет. С сыном будет веселее: я буду с ним все время возиться. Возьму няню, какую-нибудь хорошую бабушку, и буду с ней разговаривать…»

«…даже если бы мама была жива, я постеснялась бы сказать ей. Я отгоняю эти мысли, но что же мне делать, если они возвращаются, — даже не мысли, а какое-то тягостное ощущение или грусть, я сама не знаю что. И поделиться не с кем, да и невозможно. Одному-единственному человеку на свете я бы могла сказать это — Нине Сухотиной, но где она??? Я писала всем общим знакомым, никто не знает. В квартире их живут чужие люди и тоже ничего не знают. Интересно, найдем ли мы друг друга когда-нибудь, если она жива?»

«Ниночка, милая, дорогая, здравствуй! Я все-таки пишу тебе, хотя не знаю, где ты. Но я решила, что ты обязательно где-то существуешь: не такая ты девочка, чтобы тебя какие-то фашисты могли убить! Ниночка, я живу очень хорошо…»

«…не должна меня винить. Помнишь нашу клятву? Мы поклялись, что будем все говорить друг другу. Скажу тебе откровенно, я это для того

тогда придумала, чтобы рассказать тебе, что я влюблена в Колю З.: иначе я никак не умела подойти к этому разговору. А ты рассердилась и сказала, что в шестом классе еще рано влюбляться и что Коля З. — противный, грубый мальчишка, который страшно много о себе воображает. А на другой день ты пришла очень рано, я еще спала, и попросила прощенья, что была неискренней, и призналась, что сама влюблена в Колю. Нинка, какие мы тогда были счастливые!»

«…люблю его, он любит меня, у нас будет ребенок. Все думают: она счастливая! А счастья нет».

«Может быть, потому, что нас воспитали очень-очень требовательными к счастью?..»

«…Если, например, я кончу институт и меня пошлют работать в другой город (этого не будет, но я просто для примера), — он бы перевелся туда, где я? Никогда! Потому что тут дело, к которому он привязан. А я — между прочим. Я — после всего. Если я умру, он без меня прекрасно обойдется».

«Я думала: когда любят, то всюду вместе. А мы врозь. Конечно, он очень занят, я понимаю, я уважаю его занятия, как можно их не уважать. Но хоть бы он пожалел, понимаешь — хоть бы пожалел, что мы врозь! Ему наших коротеньких встреч достаточно. Редко-редко когда что рас-

скажет о себе. Один раз как-то о своем детстве немножко рассказал. И меня не спросит, что у меня в институте, как зачеты. У меня ужасная неприятность была — я комсомольский билет потеряла. Сколько я с этим делом набегалась и наревелась, а он только шутил…»

«…не потому, что война. Война кончится — будет то же самое. Просто такой характер».

Тут кончалась тетрадь.

«Мне стыдно того, что я написала, — читала Анна Ивановна в другой тетради. — Кончу институт, буду работать, буду заниматься ребенком…»

«…никогда не скажет: ты мне дороже всего на свете! И сыну не скажет… В какую-то минуту, между работой и сном, он увидит сына и вспомнит: ах, да!.. и немножко займется сыном…»

«Вчера я расплакалась при нем. Он испугался и спросил, о чем я. Я сказала: „Хоть бы один день ты провел со мной, хоть бы один день!“ Он как-то поскучнел, потом погладил меня и сказал: „Хорошо, завтра я рано приду“. И действительно, сегодня он пришел в два часа (не ночи, а дня). Я обрадовалась, побежала надеть новый капотик, слышу, он говорит по телефону: „Рябухин, зайди ко мне, ты мне очень нужен“. Сейчас же после обеда пришел Рябухин, и они все время говорили о делах, толь-

ко в шесть часов Рябухин ушел. Саша пришел в спальню, лег на кровать и сказал: „Ну, вот мы с тобой вдвоем; хочешь, поедем в театр?“ И вижу, что он засыпает, последние слова произносит уже сквозь сон. Я долго сидела и смотрела, как он спит. Я его не любила в это время ужасно, ужасно! Я нарочно громко спросила: „Зачем же ты лгал, что любишь меня? Я без тебя была счастливая, а с тобой несчастная“. Он не слышал, спал крепко. Я спросила еще громче: „Для чего я тут сижу около тебя? Меня для того спасли, чтобы я тут сидела около тебя?“ И я стала задавать ему вопрос за вопросом. „Для чего ты женился на мне?“ — „Кто ты мне?“ — „Что мне делать?“ Я спрашивала громко, так, что мне даже жутко было, а он спал…»

«…прости меня, если я требую больше, чем мне полагается, но я не могу жить без счастья».

…

…

Анна Ивановна расшифровала конспекты лекций и перепечатала стенограмму на своем старомодном ундервуде с большой кареткой. Ундервуд гремел, как товарный поезд. Таня сладко спала под грохот.

Дневники и письма Анна Ивановна не стала расшифровывать: незачем Листопаду их читать.

Они остались похороненными в старых тетрадках, исписанных непонятными каракульками.

— Александр Игнатьевич, вот, пожалуйста, — сказала Анна Ивановна и положила перед Листопадом стопку тетрадок и толстую стенограмму. — Вот здесь лекции по политэкономии, по металловедению, по сопромату…

Листопад раскрыл стенограмму, пробежал какую-то фразу, где обстоятельно перечислялись мировые месторождения меди, и задумался… Клавдины иероглифы, переложенные на аккуратную машинопись, перестали быть тайной и болью, стали общедоступны и обыденны.

— Спасибо, Анна Ивановна. Сколько я вам должен за эту работу?

— О, не беспокойтесь… У меня к вам просьба, Александр Игнатьевич: если у вас есть лишняя карточка Клавдии Васильевны, дайте мне.

Он приподнял брови.

— Я порядочно посидела над ее тетрадями. У меня такое ощущение, как будто я с нею очень сблизилась.

Она сказала это без чувствительной дрожи в голосе, без сентиментальных гримас. У нее было серьезное, доброе лицо… «Какое хорошее человеческое лицо, — подумал Листопад. — Она

очень хорошая женщина!» Он почувствовал к ней благодарность, и ему захотелось показать ей свое доверие и дружбу. Он достал из внутреннего кармана пиджака конверт с Клавдиными фотографиями.

— Выбирайте.

Шесть живых Клавдий — растрепанных, смеющихся, со светлыми глазами, и шесть Клавдий мертвых, с сомкнутыми губами, с большими строгими веками.

— Я возьму две, можно?

— Берите.

Он положил тетради и стенограмму в ящик стола. Звякнул ключ…

«В лучшем случае, — думала Анна Ивановна, выходя из кабинета, — он как-нибудь на досуге просмотрит стенограмму. И то вряд ли».

Она положила перед собой обе фотографии и смотрела на них с странным чувством.

«У меня нет никаких секретов! — говорило смеющееся, добродушно-озорное лицо живой Клавдии. — Какие могут быть секреты, когда в жизни все прекрасно и ясно, как апельсин!»

«Никто в этом не виноват, — говорило мертвое лицо, полное знания, печали и достоинства, — я никого не упрекаю, прощайте, желаю вам сча-

стья!»

— Ах, бедная моя девочка! — прошептала Анна Ивановна и со слезами на глазах прикоснулась щекой к мертвому лицу.

Глава седьмая
Накануне победы

Двадцать седьмая годовщина Красной Армии не была отмечена в городе ни парадами, ни салютом. Заводы работали как обычно; только были вывешены красные флаги. И все-таки было у людей ощущение праздника!

Ощущение праздника — потому что Красная Армия дорога каждому сердцу, потому что Красная Армия — это сын, брат, муж, отец, жених; Красная Армия — это тот, о ком думают наяву и во сне, от кого ждут писем, чью фотографию берегут как святыню.

Ощущение праздника — потому что в этот день были подведены итоги последних битв Красной Армии.

Голос радиодиктора Левитана, знакомый каждому советскому человеку, медленно читал:

«За 40 дней наступления в январе — феврале 1945 года наши войска изгнали немцев из 300 городов, захватили до сотни военных заводов, производящих танки, самолеты, вооружение и боеприпасы, заняли свыше 2400 железнодо-

рожных станций, овладели сетью железных дорог протяжением более 15000 километров. За этот короткий срок Германия потеряла свыше 350000 солдат и офицеров пленными и не менее 800000 убитыми. За тот же период Красная Армия уничтожила и захватила около 3000 немецких самолетов, более 4500 танков и самоходных орудий и не менее 12000 орудий.

В результате Красная Армия полностью освободила Польшу и значительную часть территории Чехословакии, заняла Будапешт и вывела из войны последнего союзника Германии в Европе — Венгрию, овладела большей частью Восточной Пруссии и немецкой Силезии и пробила себе дорогу в Бранденбург, в Померанию, к подступам Берлина».

— Берлин! — повторил главный конструктор, слушавший стоя, с поднятой головой. — Скоро будем в Берлине!

«Полная победа над немцами, — слушали люди голос Левитана, — теперь уже близка. Но победа никогда не приходит сама — она добывается в тяжелых боях и в упорном труде».

— А я за февраль тридцать процентов до трех норм недодала, — сказала Марийка Лукашину. — А до конца месяца шесть дней. Или пять?

Батюшки мои, Сема, этот год не високосный: пять дней мне осталось. Теперь до первого марта прощай, не забывай, шли письма и телеграммы: буду гнать, пока не выгоню мои три нормочки.

«Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины!» — на торжественных нотах реквиема дочитывал Левитан.

— Вечная память! — скорбно шептал Никита Трофимович Веденеев, глядя на портрет Андрея.

День и ночь дымили высокие трубы Кружилихи. По одиннадцать часов, без выходных дней работали люди. В тупичке между полустанком и заводом грузились маршруты; могучие паровозы ФД увозили оружие на запад.

«Очень трудно жить с Марийкой, — думал Лукашин. — Нелегкая мне досталась женщина. Все время кричит, болтает. Только усадишь ее, чтобы поговорить о серьезном — и ведь кажется, с интересом слушает и разумно отвечает, — и вдруг вскочит и убежит. Жена не должна убегать, когда муж с нею разговаривает, она обязана выслушать его до конца, может, он ей что-нибудь хочет посоветовать, а она вскакивает.

И вечно по чужим кухням. Надо же ухитриться успеть: и на заводе, и в очереди, и дома по хозяй-

ству, и всю подноготную узнать о соседях — кто за кем ухаживает, кто с кем поссорился, кто что купил».

Прошел угар первых поцелуев, и Марийка вернулась к прежнему образу жизни, из-за которого она в свое время не могла ужиться с отцом и мачехой. Она не стала меньше заботиться о Лукашине; но уже не могла быть с ним долго наедине. А Лукашин всю жизнь был лишен семейного тепла, ласки, внимания. Он привязался к своему маленькому очагу. Он не был жадным, но тут он ни с кем не хотел делиться! Ни с Марийкиными подругами, ни с соседями, ни с кем. Марийкина общительность огорчала его до глубины души.

Если бы Марийка не портила настроение, все было бы хорошо. На заводе Лукашину понравилось с первого взгляда. Все большое, массивное, внушительное. Станок — так уж видно, что добротная вещь… Читая в газетах о перевыполнении норм, Лукашин, бывало, представлял себе, как рабочие суетятся и бегают, перевыполняя нормы. Оказалось, работают солидно, неспешно… Мастер, пожилой человек, поздоровался с Лукашиным за руку. Подошел Мартьянов. Покурили, потолковали о том, на каких фронтах побывал Лукашин. Мартьянов рассказал случай из времен

империалистической войны четырнадцатого года. Мастер был глуховат, подставлял ухо, чтобы лучше слышать, и приятно улыбался… Он поручил Лукашина Мартьянову и сказал: «Желаю успеха».

Мартьянов подвел Лукашина к станку и сказал:

— Вот, Сема, смотри: вот это передняя бабка станка, — Мартьянов похлопал по бабке рукой, — вот это задняя. Вот здесь имеем шпиндель передней бабки. — Он перечислил главные части станка. — Теперь смотри внимательно: здесь имеем — что? — патрон самоцентрирующий кулачковый. Теперь — что я делаю? — нажимаю рукоятку — включаю станок. Смотри, Сема, внимательно!! Что я делаю? — Лукашин смотрел во все глаза, но не мог понять, что делает Мартьянов. Нежным валиком ложилась на станину мельчайшая металлическая стружка… Мартьянов поднес к лицу Лукашина какую-то блестящую штуку и сказал, подняв толстый черный палец: — Я выточил канавку при помощи поперечного суппорта!

Лукашин очень испугался, что Мартьянов сейчас велит ему вытачивать канавки при помощи поперечного суппорта, а он, Лукашин, понял еще только канавку, а суппорт не понял, и из всех

частей станка усвоил только три: рукоятку и две бабки, переднюю и заднюю. Ему было стыдно сознаться в этом, он выражал на лице понимание и кивал головой, а внутренне дрожал — вдруг Мартьянов ему поверит и скажет: «Ну, вот и хорошо, молодец, понятливый, валяй дальше сам», — и уйдет, оставив Лукашина наедине со всей этой чертовщиной… Но Мартьянов не ушел, он терпеливо возился с Лукашиным до самого обеда и после обеда, и к вечеру Лукашин умел уже самостоятельно выточить канавку и просверлить отверстие.

— Токарное дело ничего, — сказал под конец Мартьянов, — умное дело. Требует души и изящества. Душу придется тебе вкладывать с первых дней, а изящества достигнешь со временем.

Глухой мастер преподавал техминимум. Он плохо слышал, о чем его спрашивают, и с любезностью подставлял ухо, но все же он был действительно мастер своего дела, и Лукашин многому научился у него. А во время работы Лукашину помогал Мартьянов. Понемногу Лукашин стал разбираться в приспособлениях и свободно орудовать словами «развертка», «зенкер», «отверстия на расположение» и другими, которые сначала испугали его.

Его волновало, что он работает хуже других. Иногда начальник цеха или парторганизатор подходили к его станку и смотрели, как он работает; он готов был сквозь землю провалиться оттого, что он так медлителен и неловок. Но однажды к нему подошел незнакомый человек. Лукашин слышал, как он спросил у мастера: «Вот этот?» И мастер ответил: «Этот». Человек заговорил с Лукашиным, стал его расспрашивать, вынул блокнот и карандаш и что-то записал. Уходя, сказал:

— Будем знакомы: редактор газеты.

Потом прибежал другой незнакомый человек с фотоаппаратом; он сфотографировал Лукашина и его станок.

Дня через три снимок был напечатан в газете, а под снимком указано: кто, из какого цеха, и что воевал за Родину, а сейчас работает токарем и сразу зарекомендовал себя дисциплинированным и старательным рабочим. Даже совестно, что так сразу похвалили, неизвестно за что; но в то же время приятно, что все люди на заводе прочтут эту статью и увидят его портрет, очень приятно. Наверно, и Марийке было приятно, когда принесли газету в цех и она увидела…

После того как они привыкли швырять деньга-

ми не считая, Лукашину и Марийке трудновато было жить. Посоветовавшись с Марийкой, Лукашин решил продать наследственный дом. «Еще неизвестно, — рассудили они, — понадобится ли он нам когда-нибудь; а деньги всегда нужны».

Выбрав время, Лукашин поехал в Рогачи — проведать дом и поговорить в сельсовете о его продаже.

Еще издали он увидел, что из обеих труб дома вьется дымок. Похоже, что в доме кто-то поселился. Лукашин подошел ближе: за частоколом, во дворе, незнакомая женщина развешивала белье на веревке. Трое малых ребятишек, присев на корточки, строили из подтаявшего снега крепость, прокладывали кругом крепости ров. Лукашин остановился, посмотрел: во рву сразу скапливалась вода, снег был как мокрый сахар. Ребятишки перестали строить, смотрели на Лукашина. Женщина подошла и тоже смотрела боязливо. Она была городская, из образованных, это видно было по платью, хотя и поношенному.

— Вам что угодно? — спросила женщина.

— Да нет, ничего, — ответил Лукашин. — Так, мимо шел и зашел…

Ему хотелось посмотреть, что делается в доме, но неудобно было лезть без зова в квартиру к

незнакомым людям. Он подождал, может быть, женщина скажет: «Зайдите». Но она не сказала. В окне мелькнула какая-то старуха со сковородкой в руке и сердитым лицом. Лукашин вздохнул и сказал:

— Ну, до свиданья.

— До свиданья, — ответила женщина. Он повернулся и пошел, и женщина с недоумением глядела ему вслед…

Председатель сельсовета немного смутился, когда вошел Лукашин, но потом сказал храбро:

— Видишь, Семен Ефимыч, какое дело. Остались нам после реэвакуации две семьи — кормильцев потеряли, жилище потеряли, — куда девать? Войди в положение. Поселили пока что в твоем доме. Не взыщи за самоуправство. Когда велишь — переведем их куда-нибудь, хотя куда — ума не приложу. Из обстановки выделили им самое необходимое, остальные твои вещи заперты там в комнатушке, вот тебе ключ.

— Ладно, — сказал Лукашин, подумав. — Пускай живут. Ничего…

И поехал обратно на Кружилиху.

Наконец-то приехал Павел — и все ожило в доме Веденеевых! Просияло, помолодело лицо Никиты Трофимыча, забегала, заболтала, закричала от

радости Марийка, захлопотала Мариамна, готовя большой пир. Жив-здоров вернулся Павел, а что нога с протезом — что поделаешь. Одет-обут, как все люди, ничего даже не заметно…

Павел почти не изменился, только немного пополнел и на висках появились большие зализы — начал лысеть.

— Старею, папа, старею! — сказал он.

— Ничего подобного, — сказал Никита Трофимыч. — Все Веденеевы рано лысеют, это у нас родовое. — Присмотревшись к сыну, старик увидел проседь в его волосах и огорчился: — А вот это уже не родовое. Это война тебя выбелила.

— Кого она не выбелила! — сказал Павел.

Он попросил дать ему Катины письма. Катя, Катерина, его жена, работала на Украине, в Мариуполе, ее послала партия. Павел читал ее письма, зажав Никитку между коленями, как будто не хотел больше ни на минуту отпустить от себя сына. Никитка еще не успел заскучать от такого ничегонеделанья, стоял тихо и смотрел отцу в лицо.

Потом Павел прочел письма Андрея. Эти хранились у Никиты Трофимыча в шкатулке, оклеенной мелкими ракушками; там же лежало несколько рисунков, которые Андрей прислал с фронта… Павел аккуратно положил письма

на место, отстранил Никитку и вышел молча. Нерадостно показалось ему дома — он заново переживал и гибель брата, и разлуку с женой.

Вечером собрались на семейный ужин. Кроме хозяев, были Марийка с Лукашиным и Мартьянов. Павел был приветлив, рассказывал о фронте, о госпитале, шутил, но все как бы вполголоса; веселья не получалось. Потускнел, глядя на него, и Никита Трофимыч. Марийка выпила две рюмки, положила локоть на стол, лицо уткнула в локоть — заснула, как младенец. Жизнерадостно разглагольствовал один Мартьянов.

— Трагедия заключается в том, — говорил он, — что все помрем, так или иначе. Кто мне даст гарантию, что моя смерть будет легче, чем смерть воина, сраженного в бою? Может, я буду страдать в сто раз больше. Сдохну, замученный докторами и сиделками, отволокут на кладбище, ни памятников, ни салютов, ни орденов не понесут перед гробом, разве что сыграют какую-нибудь музычку… Но я не об этом хотел. Об чем я хотел?.. Да, в этом заключается человеческая трагедия, а задача заключается в том, чтоб жить. Умей скорбеть, умей и помереть доблестно, но умей и радоваться жизни. Живем-то ведь один раз! Квартирка временная, а ничего! Каждый день,

абсолютно каждый день приносит удовольствие, друзья!.. Разве нет? Котеночек вон играется; Никитка, прекрасный ангел, к отцу припал; не удовольствие смотреть на него? Поговоришь с умным человеком, почувствуешь его ум и свой ум, игру эту умственную почувствуешь, силу разума — два властелина природы беседуют, два царя, — не удовольствие?.. Я вам даю честное слово, каждый день жизни — как отборный огурчик, как вот этот красивый огурчик, — хорошая ты хозяйка, Мариамна Федоровна; дай тебе бог. Хороша временная квартирочка, невзирая на все печали…

Пришел Рябухин. С Павлом ему довелось работать не много: несколько летних месяцев 1942 года; потом Павла взяли в армию. Но у них были общие воспоминания о том времени — они вместе добивались снятия директора завода.

В мирное время завод занимался только станкостроением, и все шло благополучно. Когда началась война, производство было частично переведено на военную продукцию, для этого выделили большую часть цехов. На остальные цеха легла двойная нагрузка: южные заводы, эвакуированные в тыл, только что обосновались тут и продукции давали мало; пришлось

напрягаться местным заводам. Программа была повышена, что ни месяц — новый план, не было конца срочным и сверхсрочным заказам, директор попытался барахтаться, но не выдержал и поставил на бюро партийного комитета вопрос о том, что планы завышены — не соответствуют мощности завода.

Рябухин резко выступил против, заявил, что мощности хватает, только надо научить людей ее использовать. Некоторые члены бюро клонились на сторону директора: чего Рябухин поднимает шум, он на заводе человек новый, ориентирован недостаточно, — и вообще: чем плохо, если наркомат срежет план процентов на пятнадцать? Легче же! Завод даст лучшие показатели, будем на хорошем счету в наркомате… А то уже на авиационном идут разговорчики, мол, станкостроители в новых условиях зашиваются, — кому не обидно?..

— Чересчур мы, товарищи, большие патриоты завода! — с горячностью сказал Павел Веденеев. — Такие большие, что это мешает нам быть хорошими патриотами родины…

Директор поехал в Москву. Рябухин пошел к Макарову, секретарю горкома. Макаров, хоть был сердцем на стороне Рябухина, отказался сказать

решительное слово: наркомат разберется, это дело тонкое… В наркомате создали комиссию для обследования положения на месте. А тем временем Рябухин создал на заводе свою комиссию. Помогали ему Павел и старик Веденеев, который всю жизнь проработал на заводе и знал, на кого тут можно положиться. Взяли лучших инженеров и техников, мастера из инструментального цеха, стахановцев — сталеваров и слесарей; вылез из своего святилища старый зубр — главный конструктор, принял участие в работе комиссии. Когда прибыли товарищи из наркомата, у Рябухина уже были на руках акты и выводы; товарищам из наркомата оставалось только проверить их. Рябухин в присутствии директора сказал:

— Заводу нужен другой руководитель. Человек напористый и сильный, понимающий обстановку.

Директора освободили от его обязанностей, а на заводе появился Листопад.

Старик Веденеев постеснялся пригласить Рябухина на свой семейный праздник, но Рябухин, узнав о приезде Павла, пришел сам.

— Экой мордастый стал мужик! — восклицал он, тряся руку Павла. — Растолстел, как в санатории! Слушай, мы тебе гулять не дадим; верно,

отец? У вас, фронтовиков, есть такая манера — возвращаетесь и гуляете, на работу не сразу идете, набиваете себе цену… Тебе отдыхать нечего; ты и так вон какой дядя…

— Отдыхать мне нечего, — подтвердил Павел, — в госпитале наотдыхался… Мне съездить придется.

— Куда это?

— В Мариуполь. Что смотришь? Жена у меня в Мариуполе. Его мать, — он показал на Никитку. — Возьму его — хочешь, Никитка, к маме?.. Надо повидаться.

— Ты не вернешься, — сказал разочарованный Рябухин. — Ты там в Мариуполе и останешься, вижу тебя насквозь.

— А что же, — сказал Павел, — что же, в Мариуполе тоже люди живут… Завод там восстанавливают. Пойду лекальщиком…

Старик Веденеев сидел как громом пришибленный. Да-да-да! Так оно и будет. И как он раньше не догадался, что обязательно так будет, что Павел не останется здесь без Катерины, полетит за нею и Никитку заберет… Из самолюбия он говорит: «Съезжу повидаться» — на всякий случай: вдруг изменились Катеринины чувства — мало ли что бывает в проклятой разлуке… Но не изменились

Катеринины чувства, не такая это женщина; не вернется Павел из Мариуполя… Что же это за закон непреложный — у людей, как у птиц, — и мудрость в этом законе, и жестокая печаль: растишь-растишь детей, вкладываешь в них все силы ума и сердца, все помыслы, всю кровь свою, — а они вырастут, оглядятся по сторонам и улетают вить другие гнезда — и пустеет старое гнездо…

По тому, как собирался Павел в дорогу, как укладывал все решительно вещи, и свои, и Никиткины, как прощался с старыми знакомыми на заводе, было ясно: уезжает навсегда или, во всяком случае, очень надолго.

— Может, обратно отпустят Катерину, — заикнулась Мариамна, которая на Никитку и смотреть не могла в эти дни — отворачивалась…

— Может быть, — сказал Павел.

Он зашел повидаться с Нонной Сергеевной, хотя и знал, что это неприятно отцу. Но Павел не желал потакать чудачествам старика… Нонна встретила его приветливо:

— Я так и знала, Паша, что уж вы-то зайдете.

Вот кто изменился за войну — это Нонна Сергеевна. Вместо цветущей девушки перед Павлом стояла усталая женщина с затененными гла-

зами.

— Садитесь, Паша, рассказывайте, я рада вас видеть… Как вы смотрите на меня, я так подурнела?

Нет, она не то что подурнела, она стала, может быть, еще красивее…

— Я просто смотрю, что вы переменили прическу.

— Вы превосходно выглядите. Что вы думаете делать?

Он рассказал.

— Да, конечно, это и не может быть иначе. Катя заходила перед отъездом, я ей сказала: увидишь, он приедет к тебе… Но для ваших стариков это новый удар.

— Я слышал, Нонна, вы теперь правая рука у главного конструктора.

— Что вы, Паша, разве у него можно быть правой рукой. Я единственная там у нас решаюсь с ним спорить иногда, когда он становится уже совершенно непереносимым. И его так удивляет моя дерзость, что он ее терпит исключительно из удивления…

— По-прежнему невыносим?

— Ах, ужасно! Но когда он уйдет — а он скоро уйдет, — мы все не раз вспомним его…

Говоря с нею, он рассматривал стены и письменный стол: есть ли где-нибудь карточка Андрея. Но нигде не было карточки Андрея, и рисунков не было, а ведь Андрей дарил ей много рисунков. Помнится, один его пейзаж висел над туалетным столиком…

— Вы ищете рисунки Андрюши? Я их все отправила в Москву. Прочла в газете, что будет выставка, и переслала в Союз художников. Такие вещи не могут находиться в пользовании одного лица. Я оставила себе только мой собственный незаконченный портрет.

Какое спокойствие. Так-таки до самого конца она ни капельки не любила Андрея.

— Владимир Ипполитович, — сказала Нонна главному конструктору, — может быть, вы скажете, к чему нам следует быть готовыми?

— То есть? — спросил главный конструктор.

— О чем нам придется думать, когда кончится война?

— Кажется, вы здесь не первый день. Профиль завода определен.

— Дело в том, что наши технические возможности стали обширнее, — сказала она. — Мы могли бы попутно освоить массовый выпуск, скажем, тракторных частей. Вы не думали об этом?

— Пока я не услышал, что войне конец и что мы переходим на мирную продукцию, я не считаю нужным отвлекаться от работы для прожектов такого рода. И вам не советую. У вас готовы габариты, которые я вам поручил?

— У меня готовы габариты, — ответила она, подала ему листок с расчетами и вышла, слегка вздохнув.

Конструкторы говорят: что вы, Нонна Сергеевна; да нас засмеют; что мы с мелочишкой будем возиться? Напротив, наши изделия теперь укрупнятся; какие могут быть тракторные части…

Спросила Грушевого: «Что вы будете делать в вашем цехе, когда взрыватели станут не нужны?» Он ответил: «Ну, буду делать что-нибудь другое». — «Например?» — «А это Москва укажет, главк».

С главным конструктором невозможно стало говорить о чем бы то ни было, кроме военных успехов. Настроение у него меняется, как апрельская погода: прослушает главный конструктор сводку — становится общительным, веселым, почти приветливым, — солнце, оттепель. А потом опять стужа: он вспоминает о том, что ему скоро уходить на покой, ему нужно уходить, и ему не хочется уходить.

— Маргарита, — сказал однажды главный конструктор жене, — где бы ты хотела жить?

Она вздрогнула от неожиданности.

— Как — где жить? Я не понимаю, извини.

— Ну, хотела бы ты жить в Москве или Ростове-на-Дону — тебе, помнится, нравилось в Ростове-на-Дону…

— Да, очень нравилось; там такие розы чудные…

— Или, может быть, ты хочешь в Ялту, там розы еще лучше. В Гагры, Сухуми. Да, ты теперь плохо переносишь жару… Можно что-нибудь севернее. Исключительно красивые места на Карельском перешейке. Помнишь, мы перед той войной отдыхали в пансионе в Куоккала, а ближе к Выборгу еще лучше… Там сыро, правда. Лучше что-нибудь вроде Одессы… Хочешь жить в Одессе? В Курске? В Полтаве? В Вологде? В Симеизе?..

Он перечислял со злостью. Маргарита Валерьяновна смотрела на него с ужасом. Наконец она поняла:

— Мы уедем отсюда?

— Да, конечно. Ты что же, думала, что мы вечно тут будем жить?

Он говорил еще что-то, она не слышала, только механически поддакивала: «угу», «угу». До чего

это внезапно. Ему следовало подготовить ее. Она становится очень нервной, ее потрясает всякая неожиданность. Если даже кто-нибудь вдруг кашлянет рядом, она вскрикивает. А тут такое известие…

Постепенно его слова опять стали доходить до нее. Он говорит, что они будут жить совсем иначе. На полном покое. Это необходимо. Конечно, конечно, для такого пожилого человека, как он, покой необходим…

— И ты отдохнешь, Маргарита.

Ну, в ее годы еще рано отдыхать…

— У меня станет лучше с ногами, мы будем совершать прогулки.

Она судорожно улыбнулась и представила себе, какой пыткой будут эти прогулки — он будет тащиться рядом и ворчать, ворчать…

— Ну так вот, Маргарита. Я сказал тебе, чтобы ты думала о переезде и готовилась. Многое можно упаковать заранее. Громоздкую мебель надо продать — ты посмотри, что именно. Помни — ничего лишнего: будет маленький домик, двое стариков, никаких больших приемов, все очень скромно; вот тебе ориентир.

Он поцеловал ей руку и ушел в кабинет, а она осталась одна — думать о переезде.

В первый раз в жизни бурный протест поднялся в ее душе.

Она не хочет уезжать! Она хочет остаться здесь — кто ей может запретить?! Вот возьмет и не уедет. Возьмет и скажет: «Володечка, ты как хочешь, а я не уеду». Насильно ее никто не потащит. В каком законе написано, что человек имеет право пить кровь другого человека? Нет такого закона в наше время!

Квартиру отдадут новому главному конструктору… ну и что же?

Александр Игнатьевич всегда устроит ей комнатку в поселке.

Господи, ей же так мало нужно! Она возьмет только диванчик, стол и несколько стульев… и свой трельяж, и зеркальный шкаф, и маленький шкафчик для посуды, и вешалку, и вот это креслице, и этажерочку для книг, — а больше ей решительно ничего не нужно. Будет жить одна, уходить из дому, когда хочет, заниматься общественной работой!..

Потом она подумала, что Владимир Ипполитович болен, и ему много лет, и у него нет близких, кроме нее, и поняла, что она уедет с ним, иначе невозможно, будет немилосердно и ужасно, если она оставит его после того, как они — хорошо

ли, плохо ли — прожили жизнь вместе. И она горько-горько заплакала, свернувшись комочком на низеньком кресле.

Павел уехал и увез Никитку. И остались в доме Веденеевых — внизу старик да Мариамна, а наверху чужая, нелюбимая женщина, Нонна Сергеевна.

У Рябухина мать была ткачиха, и бабка была ткачиха, и прабабка; отец, настройщик станков, и сестры-ткачихи до сих пор работали в Иванове на той самой фабрике, которая была вотчиной пролетарского рода Рябухиных. И только Сергей, потомственный текстильщик, оторвался от родных мест и фамильной профессии; жизнь носила его по всему Советскому Союзу. Институт он кончил в Иванове, высшие партийные курсы — в Москве, работал в Краматорске, Перми, Свердловске. Жизненные удобства не имели для него большой цены; общежитие или отдельная комната — ему было неважно. Он и в общежитии преспокойно занимался своими делами — читал, писал, готовился к докладу. Была у него как бы дверца в мозгу: захлопнет ее — и не замечает окружающего; ни разговоры, ни смех, ни даже музыка и пение, бывало, не отвлекали его…

Жизнь партии была жизнью Рябухина. Как до-

ма чувствовал он себя в партийных комитетах, на собраниях, во главе ли президиума или на задней скамейке — одинаково хорошо, по-домашнему чувствовал себя.

Партийная работа сталкивала его с множеством людей. Память у него была цепкая: запоминал лица, имена, должности — но как эти люди живут, не слишком интересовался. Выполняет человек свои общественные обязанности, держится достойно, худого о нем не слыхать — и слава богу.

Война бросила его на Украину. Он был назначен комиссаром дивизии и выполнял свои обязанности так же самозабвенно и вместе методично, как и в мирное время. Ему недолго пришлось выполнять их: под Киевом его подкосила немецкая мина. При ранении он был тяжело контужен и на два месяца потерял зрение и слух. Слепого, глухого, пораженного газовой гангреной, его отвезли в дальний тыл, в госпиталь.

Странные это были дни, ни на что не похожие, — дни пребывания в госпитале. Когда прошел жар и бред и Рябухин осознал свое положение, ужаса у него не было: он быстро сообразил, что если глаза не болят и целы, то зрение обязательно вернется, нужно только терпеливо ждать; так же и слух вернется. Трудно было быть терпе-

ливым в такое время; но Рябухин держал себя в руках. Он спросил кого-то, кто ставил ему градусник: «Немцев выгнали? Если да — сожмите мне руку». Никто не дотронулся до его руки, которую он протянул перед собой. Ему стало жутко, он спросил: «Москва цела? Если да — сожмите руку». На этот раз невидимый собеседник взял его за руку и сжал крепко…

Этим способом Рябухин получал сведения о войне.

В глазах был мрак, днем красный, ночью черный. В ушах — словно вода налита… Доносился запах пищи — значит, принесли обед. Ложка дотрагивалась до губ. Рябухин открывал рот, его кормили. Быстрые, привычные руки ловко меняли белье на нем и под ним. Поднимали, клали на носилки — значит, на перевязку. «Товарищи, — говорил Рябухин в пространство, — кто тут близко ходячий, дай закурить». В безмолвии, окружавшем его, кто-то вставлял ему в рот папиросу, подносил зажженную спичку — от нее мгновенным теплом веяло на лицо, — и он курил…

Рябухин лежал и думал. Он думал обо всем на свете! Представлял себе линию фронта и соотношение наших сил с силами противника,

представлял опустошения и беды, причиненные нам немцами, подсчитывал наши ресурсы. Он думал о будущем страны, о будущем мира, о родных своих, о людях, которых знал. Он видел их, он слышал их голоса. Он думал о человеческом сердце, о жизни, о смерти… Однажды утром, проснувшись, он открыл глаза и увидел перед собой белую стену, на штукатурке была маленькая змеевидная трещина. Рябухин повернулся на другой бок и увидел койку, на койке спал человек такой красоты, какой ни раньше, ни потом не встречал Рябухин. Взял со столика папироску и спички, потряс коробком — спички весело затарахтели в коробке — и закурил. Подошла старуха сиделка.

— Батюшки, видит! — сказала она.

— И слышу, — сказал Рябухин. — Какая вы, оказывается, красавица, няня.

— Да уж теперь все мы для вас будем красавцы, — сказала сиделка. — Соскучились, столько времени нас не видавши; вот и красавцы.

Прошло больше трех лет. Рябухин уже не помнил, как это он был незрячим и какие думы его тогда посещали: он весь был в сегодняшнем своем труде и сегодняшних заботах. Но до сих пор ему казались прекрасными все лица кругом. Скажи ему кто-нибудь, что, например, Уздечкин

некрасив, или он сам, Рябухин, некрасив, — он бы не поверил.

Когда он выписался из госпиталя, ЦК партии послал его парторгом на Кружилиху. То, что Рябухин видел на Кружилихе, с каждым днем укрепляло его веру в человека, в красоту человеческой души. Люди не жалели сил, жертвовали всем, чтобы помочь Красной Армии разбить врага. Рябухин знал, что им нелегко; ему и самому было нелегко; но никто не жаловался, никто ни разу не помыслил о мире без победы.

И вот завиднелся светлый день, во имя которого совершался этот великий всенародный подвиг: Красная Армия приближалась к Берлину.

Первого марта из Москвы пришел заказ на оборудование для К-ского завода боеприпасов; заказ почти в два раза превышал обычные. Листопад, рассмотрев его, сказал:

— Так. Понятно.

И по телефону сказал Рябухину:

— Сергей, будет жарко.

— Кому жарко? — спросил Рябухин.

— Гитлеру, — отвечал Листопад. — Иди сюда.

Они сидели вдвоем с полчаса; потом пришли начальники цехов, вызванные на совещание. Предстояло обсудить вопрос, как расставить си-

лы, чтобы сдать заказ своевременно.

Совещание было бурное. Только Грушевой, начальник литерного цеха, сидел молча, со скучающим и равнодушным видом. В литерном цехе производились взрыватели для минометов; заказ на оборудование его не касался. Грушевому это было досадно: кто-то другой станет в центре внимания заводских и городских организаций, получит награды…

— А на погрузку, — сказал кто-то, — придется позаимствовать людей из цеха товарища Грушевого.

Грушевой даже качнулся: этого недоставало! Его уже начинают третировать… Можно подумать, что у него рабочие сидят сложа руки…

— Вряд ли это будет возможно, — сказал Листопад. — Полагаю, что на цех Грушевого тоже ляжет в этом месяце двойная нагрузка.

Он рассчитал правильно: через два дня поступил дополнительный заказ на взрыватели.

Грушевой воспрянул духом и потребовал добавочной рабочей силы. Он привык к тому, чтобы все его требования удовлетворялись сразу. Но на этот раз Листопад сказал:

— Не выйдет. Управляйтесь собственными силами. Во всех цехах такое же напряженное

положение, как у вас.

За все годы войны завод не имел такого высокого задания.

Марийка пришла домой поздно вечером, против обыкновения молчаливая и задумчивая. Взяла листок бумаги и карандаш и стала писать какие-то цифры, шевеля губами.

— Ты что считаешь? — спросил Лукашин.

— Ох, Сема, не мешай, — сказала Марийка. Писала долго, потом бросила карандаш и сказала: — Ну, не получается. Что я поделаю?

— Да что не получается? — спросил Лукашин.

— Рябухин говорит, я вполне могу на трех автоматах справиться, — сказала Марийка со слезами на глазах. — А я подсчитала, что не выйдет. Если бы я инструктором не была; полдня с ребятами вожусь. Никак мне.

Лукашин видел, что она расстроена. Ему очень хотелось утешить ее, но он не умел: если бы какая-нибудь домашняя неприятность, а то такое тонкое дело, в котором он, новичок на производстве, вовсе не разбирается. Он еще едва свою норму начал выполнять. Он посматривал на Марийку с уважением.

— Я не знаю, откуда он выдумал три автомата, — жаловалась Марийка. — Ты, говорит,

стахановка. Ты, говорит, рабочий коммунистического будущего. — Марийка засмеялась. — И мастеру наговорил: она может! И мастер посулил: завтра, говорит, поставлю тебя на автоматы «Берд», давай нажимай. Я нажму! — вдруг закричала Марийка. — Только пускай они ко мне не подпускают детишек!

Ночью она спала тревожно, а утром пришла на работу сердитая и сказала своим ребятам:

— Чтоб не морочили мне голову зря. Буду сегодня рекорд становить. Чтоб тихо было мне. — А мастеру Королькову сказала: — Ну, давайте три автомата.

К Марийкиным ребятам, в числе которых был Толька, приставили временно другого инструктора.

— Ребята, — сказал им Саша Коневский, — нашего брата, молодежи, на Кружилихе тридцать пять процентов. Если не возьмемся с полной ответственностью, заказ не может быть выполнен в срок, сами понимаете.

— Агитация агитацией, — сказал Вася Суриков, когда Коневский ушел, — а ведь на самом деле, разобраться практически: на этих станках, которые мы делаем, сделают снаряды, и эти снаряды полетят на Берлин.

— Прямо в Гитлера, — сказал Алешка Малыгин и свистнул. — Я докажу Веденеевой, — с ожесточением сказал он немного погодя, — что я и без нее обойдусь. Раскричалась!

— Она орет, так дело делает, — солидно сказал похожий на девочку Вася. — А ты орешь, так от этого толку мало. Что смотришь? Смети вон стружку со станка!

Перед концом смены Марийка забежала в цех к Лукашину и сказала:

— Сема, ты не волнуйся, я сегодня ночевать не приду. Возьмешь на окошке, между рамами, котлеты, разогреешь и съешь. Хлеб выкупишь, вот тебе карточки. Я, может быть, рано утром приду, а может, и не приду, не волнуйся.

Марийкина спецовка за один день вся пропиталась маслом от автоматов, коричневый масляный мазок был на виске — верно, тронула висок запачканной рукой, заправляя волосы под косынку. И вся Марийка показалась Лукашину новой и трогательной — было досадно, что кругом люди и нельзя ее даже обнять. Он скрыл свои чувства и сказал независимо:

— Ладно, придешь, когда сможешь.

В этот день он впервые выработал сто десять процентов нормы. Не потому, что работал лучше

обычного: лучше он еще не умел. Но он рассудил, что если потратить на обед не час, а полчаса, и если курить не больше трех раз за смену, то сэкономится какое-то время, и больше можно будет сделать. Так он и поступил: не пошел обедать в столовую, а присел возле станка и поел хлеба, взятого из дому. Курил всего три раза. И был доволен своим маленьким результатом так же, как другие довольны своими тремя, четырьмя нормами: все-таки уже не сто процентов, а больше ста.

Он обтирал станок, когда к нему подошел председатель завкома Уздечкин.

— Домой?

— Вроде как домой, — отвечал Лукашин, — а что?

— Собираю роту, — сказал Уздечкин, — надо маршрут погрузить. Не чересчур устал?

— Нет, ничего, — ответил Лукашин. — Только я схожу, хлеб выкуплю.

— Рукавицы есть у тебя? — спросил Уздечкин. — Там на путях ветрище — у! — он вздрогнул и повел плечами.

— Ничего, — сказал Лукашин, — у меня рукавицы добрые.

«А кто сшил? — подумал он с благодарностью. — Марийка сшила. А я на нее все обижаюсь».

У выхода из цеха его догнал Мартьянов, на ходу застегивая тулуп.

— Баиньки, Сема?

— Нет, — отвечал Лукашин, — маршрут грузить будем.

— Помогай бог. А я опохмелиться иду. Мне без чекушки ночь не отработать — ноги протяну. Я, Сема, раб правильного режима.

И Мартьянов исчез в густом вечернем мраке.

«Тоже остается на ночь, — подумал Лукашин. — А что, если и я завтра останусь? От меня, конечно, не такая польза, как от него или от Марийки; но все же...»

Только вышел из проходной, его окликнули:

— Семен!

Под фонарем стояла Мариамна с кошелкой в руке.

— Старика не видал?

— Не видал, — отвечал Лукашин. — Я же в другом цехе работаю.

— Несчастье с ним, — сказала Мариамна. — Велел поужинать принесть и забыл. Который раз так: велит прийти и забывает, и сидит голодный до утра.

«Обязательно завтра останусь на ночь», — подумал Лукашин.

Мороз был маленький, но с пронзительным ветром, и было холодно. Вызвездило. Порою ветер доносил гулкий голос репродуктора, обрывки фраз: читали сводку. Лукашин шел, размахивая руками в больших рукавицах, и думал: где-то сейчас его боевые товарищи, с которыми он дошел до Станислава. Одних нет уже, а другие за тысячи километров отсюда, за границей, в Германии, может быть, подходят к Берлину. Вспоминают ли они своего сержанта? Наверно, вспоминают; нет-нет и скажет кто-нибудь: «А помните, был у нас такой — „папаша“, интересно, жив ли он?» Жив, ребята, жив!

Гудит гудок на Кружилихе, сзывает людей на работу. По неделе не выходят люди из цехов: станет человеку невмоготу — ляжет тут же в сторонке и засыпает каменным сном. Проснется — и опять к станку: давай-давай, нажимай!

У Грушевого раздувались ноздри, горели глаза: тем лучше, что отказали в добавочной рабочей силе; тем больше заслуга цеха, — мартовский заказ все равно будет выполнен к 28 марта, если ничего не случится с Лидой Ереминой. Дай бог этой девушке хорошего жениха. Она — форменный якорь спасения.

Что она делает своими золотыми руками! Из

города приезжало большое начальство, чтобы посмотреть на нее. Сам Макаров, первый секретарь горкома, с полчаса простоял у конвейера, глядя на ее руки. «Ну и ну!» — сказал он, уходя. Лида на него и не взглянула. Поднимала она глаза — и то лишь на секунду, — только когда приближался к конвейеру Саша Коневский.

Пятого марта Лида Еремина постучалась в кабинет Грушевого. Он усадил ее. Она села, скромно одернула юбочку на коленях и сказала:

— Знаете, товарищ Грушевой, я решила давать шестьдесят тысяч, хотя это очень неважно действует на мое самочувствие.

Грушевой был человек расчетливый. Он насторожился:

— А не может случиться, что вы два-три дня дадите шестьдесят тысяч, а потом скатитесь на тридцать?

— Почему вы так думаете, товарищ Грушевой?

— Вы же сами говорили, что больше двух с половиной норм не можете.

Лида сжала губки:

— Всегда — не могу. Но месяц могу, пожалуйста. Я просто, товарищ Грушевой, увидела, что если я не дам шестьдесят тысяч, то мы завалим мартовский план. А меня обеспечат капсюлями? Чтобы,

понимаете, подавали без перебоев, а то я с темпа сбиваюсь каждый раз…

— Да, да, подачей обеспечим!

— Я могу быть уверена?

— Конечно, конечно…

— Мне можно идти, товарищ Грушевой?

Лида встала, прилично простилась, наклонив голову, и ушла.

В тот же день в цехе она закатила Грушевому скандал, потому что ей не подали достаточного количества капсюлей. К следующему утру около ее рабочего места поставили целую гору ящиков с капсюлями, и Лида села за работу с довольным лицом.

Ее волосы были скрыты под туго стянутым голубым платком, от этого худенькое лицо и тонкая шейка казались совсем детскими. Прикусив губу, она взяла ящик и придвинула его так, чтобы удобно было доставать капсюли. Почти незаметным движением пальцев она сорвала пломбу…

— Начали! — резко крикнула она и бросила аттестат на конвейер небрежно-победоносно, как бросают выигравшую карту… Бумажка поплыла по серой ленте конвейера, пока не подхватила ее работница, сидевшая на другом конце, против Лиды. И вслед за бумажкой поплыли заряженные

взрыватели…

— Лидочка, что с тобой? — тревожно спросила мать, когда Лида вернулась домой. — Ты такая бледная…

— Ничего, мама, — спокойно ответила Лида, расстегивая блузку, — за ночь отдохну…

С тех пор до конца войны она твердо держалась своих шестидесяти тысяч. Меньше ни разу не дала, излишки были ничтожны, — на сто, сто пятьдесят штук. Это больше всего изумляло тех, кто видел ее работу: уменье с такой точностью приспособить свой ритм к заданию.

У Рябухина сильно болела нога и начинался жар: как бы не пришлось опять ложиться на операцию с флегмоной, чтоб она провалилась… Тем не менее Рябухин вечером, как обычно, отправился на погрузку.

По дороге зашел в механический: ему сказали, что старик Веденеев получил письмо от Павла из Мариуполя, и Рябухин хотел узнать новости. Новостей узнать не удалось, потому что Веденеев спал. Он спал, как другие, на полу, но кругом было чисто подметено, было подстелено старое чисто вымытое и заплатанное одеяло, в головах подушка в темненькой ситцевой наволочке. Станок блестел чистотой, вся стружка убрана, ин-

струмент разложен в строгом порядке. Казалось, незримо присутствует здесь домовитая и опрятная Мариамна… «Экая прелесть», — подумал Рябухин и отошел тихо, чтобы не потревожить старика.

Его обогнали три мальчугана, он их знал: это из Марийкиных пацанов. Молодцы ребята, не подкачали в трудные дни, не отстают от взрослых. Даже Толька Рыжов, худший по дисциплине, старается изо всех сил. И вот сейчас сворачивают не вправо, к проходной, а влево, к путям, — значит, тоже шагают на погрузку. Проходят мимо высокой освещенной стены. На стене лозунг, написанный еще три с половиной года назад: «Все силы на оборону страны!» Что-то говорит самый маленький из мальчуганов, показывая на надпись рукой. Останавливаются, совещаются о чем-то. Видят Рябухина и ждут его.

— Товарищ парторг, разрешите обратиться, — серьезно говорит маленький, похожий на девочку.

— Что, ребята?

— Нам краски надо, новый лозунг написать.

— Хорошо, я скажу, — говорит Рябухин. — Вы на погрузку? Пошли вместе.

Но ребятам не хочется идти с парторгом, они

стесняются при нем разговаривать о своих делах. Они дожидаются, пока присоединяется к ним еще один попутчик, и деликатно отстают, оставив взрослых вдвоем.

Новый попутчик — Мартьянов. Он здоровается с Рябухиным почтительно, но с оттенком приятельских отношений, — они встречались у Веденеевых.

— Что Павел пишет? — спрашивает у него Рябухин.

— Вот не скажу, — отвечает Мартьянов. — Днем некогда было забежать к Никите Трофимычу, а сейчас заглянул — он спит. Будить не стал: ему плохо, когда не поспит свои три часа. Годы наши не юношеские…

Рябухин смотрит на него с сложным чувством. Рябухин воспитан в духе отвращения к эксплуататорам всех видов и категорий, и прошлое Мартьянова претит ему так же, как Павлу, откровенно называвшему Мартьянова мироедом. Но, с другой стороны, ведь он давно уже не мироед, он отличный токарь, о нем отзываются с высокой похвалой как о работнике. А богатырская наружность его Рябухину положительно нравится, и манера держаться — тоже.

— Нынче, прежде чем грузить, приглашают

нас снежок почистить, — говорит Мартьянов. — Обращаю ваше внимание, прошлый раз на снегоочистке лопат не хватило. Народу пришла тыща, а лопат не организовали. Вышло, как на школьном субботнике: один работает, а двое смотрят.

Они выходят к складам, в тупичок, где производится погрузка. Товарный состав стоит в тупичке. Здесь уже много людей; Рябухин узнает их одного за другим. Вон Уздечкин в шинели, окруженный женщинами, — там, кажется, сам по себе возник митинг по поводу огородов; вон Саша Коневский, окруженный ребятами. В раме открытой двери одного из вагонов, непринужденно скрестив ноги в маленьких чесанках, сидит Нонна Сергеевна, конструктор. Вокруг нее тоже молодежь, в том числе Костя Бережков, студент, бывший рабочий Кружилихи, тот самый, который однажды потряс бухгалтеров, заработав в месяц девятнадцать тысяч… И Костя пришел. Все сюда сходятся. Все дороги ведут на Кружилиху.

— Обратно сидим? — громко и требовательно кричит Мартьянов. — Обратно нет лопат? А начальники где? Об чем думают?

— Будут, будут лопаты! — кричат мальчишеские голоса. — Вон везут лопаты! Глазами

смотри!..

Тяжело пыхтя, подходит пятитонка. Ребятишки на ходу лезут в кузов и сбрасывают лопаты. Рябухин нагибается, морщась от боли в ноге, поднимает и для себя лопату. Откуда-то появляется Листопад, берет Рябухина за локоть.

— Ты опять тут? — спрашивает грозно. — Что ты тут забыл? Тебя твоя профессорша который день ожидает!

— Брось, брось, — бормочет Рябухин с усталой и светлой улыбкой. — Пусти, говорю! Ни черта ты не понимаешь… Пошли, товарищи!

Утром на территорию завода прибыл главный конструктор.

Первое, что он увидел, выйдя из машины, была лестница, приставленная к высокой стене. Двое подростков держали лестницу внизу, третий был на самом верху. В руке у него была кисть, он подправлял только что написанный яркой краской лозунг:

«На Берлин!»

Глава восьмая
Мать

И вот конец великому испытанию. Враг сложил оружие. Отгремели победные громы. Мир на земле!

Еще не миновала вероятность войны с Японией, но что значила бы эта война по сравнению со страшной бурей, которая пронеслась над Советской страной! Всем существом своим, всем дыханьем люди чувствуют: мир. Они очищают города от развалин, находят потерянных близких, строят светлые планы на будущее. На полях, пропитанных кровью, колосится хлеб. Стоит благодатный месяц июнь.

Листопад вышел из кузнечного. Там жара тяжелая — рубашка прилипла к спине Листопада, перед глазами плыли красные круги. Вышел на воздух, охватило нежным ветром с реки; Листопад снял кепку, освежил на ветру раскаленный лоб… И по какой-то связи ему вспомнился один летний день…

Ему было лет семь, может быть восемь. Куда-то они с матерью шли степной дорогой… кажется,

возвращались из церкви. Очень душно было, ветерок не подувал, горизонт мигал от зноя. Они шли, шли тихой пыльной дорогой. Кругом ничего не было, кроме скошенных лугов. Сашко шел молча и терпеливо, но по временам не мог удержаться от громкого вздоха: ему хотелось пить, дороге не было конца… Завиднелось с правой стороны гречаное поле: розовая полоска. Подошли ближе. Тяжелые пчелы висели над розовыми цветами. (Казалось, от пчелы к цветку тянется нитка.) Наискосок через поле убегала едва приметная стежка. «Вот эта стежка!» — сказала мать, и они пошли через поле, в сторону от большой дороги. Сашко не понимал, куда они идут. От жары и усталости ему не хотелось спрашивать. Стежка вела вниз. Потянуло прохладой… и вдруг открылись у ног ивовые заросли, и стало холодно ногам. В зарослях негромко, но отчетливо говорил ключ. Сашко и его мать спустились в сумрак, в холодную, сумасшедшую, перепутанную траву. Они напились из ключа и умылись. Мать подстелила Сашку подол своей юбки. Он прилег — плечами и головой на ее коленях — и сразу заснул. Заснул с чувством наслаждения покоем, прохладой, всей этой нечаянной благодатью. Мать потом говорила, что он спал больше часу и

все время улыбался во сне.

Чуть не сорок лет пролежало воспоминание в потаенных кладовых. Почему оно пришло именно в этот день и в этот час? Курьезные штуки бывают на свете…

Он пошел к себе — облиться водой и переменить белье. Терпеть не мог, чтобы от него разило потом, как от жеребца.

Дверь его квартиры была открыта настежь. На пороге стояла Домна, уборщица. По толстой согнутой спине ее было видно, что она удручена. Что-то случилось. Что могло случиться?

Домна повернула к нему обиженное лицо и молча посторонилась. Дорожный сундучок, зашитый в холст и обвязанный новой веревкой, стоял в передней. Листопад вошел и увидел: мать приехала!

Она мыла пол в его кабинете. Верхнюю шерстяную юбку она сняла, рукава засучила почти до плеч. Выжимая тряпку, она ядовито говорила что-то Домне. Услышав шаги, бросила тряпку в ведро и пошла навстречу.

— Здравствуй, Сашко, — сказала она.

— Мамо! — сказал он радостно.

Она отвела мокрые руки, чтобы не запачкать его, он обнял ее, они поцеловались. От нее пахло

молоком, смальцем, чистым бельем, которое полоскали в речке и расстилали сушить на траве под солнцем, — всеми родными запахами детства.

— А покажься! — сказала она и внимательно посмотрела ему в лицо. По глазам ее он понял, что постарел и не особенно нравится ей. Да она и не думала это скрывать.

— О-о! — сказала она и покачала головой. — Какой же ты стал старый да поганый. — Она опять наклонилась к ведру. — Сидай, Сашко, вон там в уголочку, там уже помыто. Обожди, пока домою. На мокрое не ступай.

Он покорно переступил через лужу, сел на стул и сразу почувствовал себя хлопчиком.

— Не угодила, вишь ты, — сказала Домна с убитым видом. — Всегда всем угождала, а тут не угодила, сами схватились мыть. Как будто я не так помою.

— Вы идите по своим делам, — сказала мать. — Вы за ним не смотрите, в хорошей такой квартире, бачь, мусору развела.

— Так я при чем, — сказала Домна, — три дня Меланья дежурила, прах ее возьми, она всегда…

Листопад засмеялся.

— Ладно, ладно, — сказал он, сидя с подобран-

ными под стул ногами. — Чай будете, мама, пить?

— И чаю выпью, и покрепче чего, если угостишь гостью, — отвечала мать. Разогнув спину, она полюбовалась своей работой. — Все ж таки никто так не вымоет, как родная мать, — сказала она.

С детских лет Листопад гордился своей матерью.

Это была мужская гордость. Ему нравилось, как она говорит, как ходит. И лицо ее нравилось. И голос — негромкий, словно нарочно притушенный, словно она могла бы говорить громче, да не хотела.

Сейчас ей шестьдесят два года — она на семнадцать лет старше его. В темных косах уже сильная проседь. Больше всего постарели руки — стали жилистыми, некрасивыми. И все-таки трудно ей дать больше пятидесяти, и все-таки хороша… а какая была когда-то!

Была она хорошего роста, суховатая, с длинными ногами, легкая, ловкая. Лицо орлиного складу, нежно-смуглое, без румянца. Длинные карие глаза под длинными темными бровями. Рот нежно окрашенный, с прекрасными зубами. Станет косы переплетать — до колен закроется волосами…

Бабы считали ее некрасивой: округлости нету, румянец не играет, голос незвонок… Но когда она овдовела, стали прятать от нее своих мужей. Она была не очень разговорчива; но что-то было в ее сдержанном голосе, на что оборачивались все мужские головы. И была у нее такая повадка: говорит-говорит со строгим, немного нахмуренным лицом и вдруг взмахнет длинными бровями и улыбнется, сверкнут зубы — и на всех мужских лицах в ту же секунду возникает покорная ответная улыбка…

Она выросла в большой, бедной и безалаберной семье. Шестнадцати лет ее выдали замуж за зажиточного хуторянина. Он женился на ней по горячей любви, против воли своих родных. В первый год замужества она родила сына Александра; других детей у нее не было во всю жизнь.

На третий год ее муж умер от укуса бешеной собаки. Она осталась с маленьким Сашком. Она заметно грустила, стала небрежна в одежде, до глаз повязывалась серым платком, как монашка. Мужняя родня ее не любила. Свои родичи нахлынули — за подачками. Она равнодушно раздавала им добро, оставшееся после мужа. Раздала почти все. Хозяйство пришло в упадок. Если ей не хотелось полоть, она не шла полоть, огород зарастал

сорняками. Ей лень было возиться с курами, и куры одичали, ночевали в саду на деревьях. Занимал ее только Сашко. Она кормила его сладко, гуляла с ним, перешивала для него свои кофты и спидницы.

Такой дремотной и скучной вдовьей жизнью она прожила четыре года. И вдруг заехал к ней родич, муж родной ее тетки. Он был глава большой семьи, уважаемый, степенный, важный. Всю жизнь она звала его: «дядька Олексий». А он ее звал Настькой. Он проезжал мимо хутора и заехал из-за непогоды: в пути его застиг ливень, надо было переночевать где-то; и он вспомнил, что тут поблизости живет жинкина родичка, которую он знал еще девчонкой и у которой чоловик помер от бешеной собаки. Он почти не взглянул на нее, когда она вышла к нему затрапезно одетая, в сером платке до глаз. Но, угощая его, она сняла платок и улыбнулась, и взмахнула бровями, — и он в первый раз увидел ее! Он сразу потерял свою важность, стал смеяться и шутить, стал как парубок. Она смотрела на него удивленными, сияющими глазами — она тоже в первый раз его увидела. Так зародилась эта любовь, которую они пронесли через всю жизнь и донесут до гробовой доски.

Он оставил все свое имение жене и детям и переехал к Насте на хутор. Пожилой, женатый человек пошел в приймы к молодой вдове, небогатой, безродной! Шум поднялся в округе. Закричала, забушевала вся родня и Олексия, и Насти, и покойного Настиного мужа. Приезжал поп. Увещевали, срамили. Брошенная жена, Настина тетка, грозила выжечь разлучнице очи кислотой. Дети отреклись от отца, оскорбившего мать, опозорившего семью. Только люди, не дорожившие своим добрым именем, заходили теперь в Настину хату.

Ей было это нипочем: она только смеялась. Но Олексий не привык так жить, ему было тяжело. Он продал Настину хату и купил другую, подальше от родных мест, в селе Братешки, около станции. Хата была куплена на Настины деньги, она принадлежала Насте и ее сыну. Олексий не хотел ходить в приймаках; он поступил сцепщиком на железную дорогу, чтобы остаться хозяином самому себе. О нем говорили, что он обувает и разувает Настю, что он косы ей плетет… Плевать он хотел на эти балачки, когда он хозяин самому себе!

Отчим он был никакой. Привезет иногда игрушку с ярмарки. Скажет: «Сашко, сбегай за табаком».

И больше ничего. Сашко рос по-прежнему при матери. Она его воспитывала: рассказывала путаные и нескладные — не поймешь, что к чему — истории про домовиков и русалок. Лечила тоже сама: если делался жар, она укладывала сына на печь и ставила ему горчичник на затылок. Жар проходил.

Она сшила ему новую рубашку и за руку отвела его в школу, когда ему исполнилось девять лет.

— Ты разумный, Сашко, — сказала она, — тебя учить треба. Без ученья разумной людине — ой, погано жить!..

Сама она едва умела читать и не брала книжки в руки, но любила, чтобы читали вслух, и Олексий иногда читал ей по вечерам…

Случалось, на нее находили приступы детского раздумья. Летней ночью она выходила на середину двора и, сложив руки на груди, закинув голову, подолгу смотрела на яркие звезды.

— Дивись, Сашко, — говорила она, — сколько их, зирок, и что там на них, — как бы дознаться, ага, Сашко?

Однажды, прибежав из школы, он увидел ее сидящей на крыльце. Она ничего не делала, просто сидела, уронив руки между коленями, и смотрела на землю, в одну точку.

— Тише, — сказала она, — тише, не напугай его…

Он посмотрел в направлении ее взгляда и увидел маленького толстого червяка, *гусень*, который страшно медленно, судорожно переливаясь всем телом, полз к крыльцу.

— Лезет, лезет, — шептала мать. — Уже час целый лезет, такое малое… И куда оно лезет, и чего ему надо?.. Обедать хочешь? — спохватилась она и встала с сожалением. Взяла червяка и осторожно перенесла на траву.

— Вот здесь гуляй, нечего тебе робить в хате…

Пятнадцатилетний Сашко Листопад стоял на узком деревянном перроне станции Братешки и смотрел на поезда. Воинские эшелоны иногда останавливались здесь, и на несколько минут маленькая станция наводнялась защитными рубахами, говором, запахом солдатских тел… Поезда дальнего следования проносились без остановки. Люди смотрели из окошек. Жизнь летела, судьбы, надежды. Сашко любил пассажирские поезда!

Вдоль перрона росли серебряные тополя. Летними вечерами на перроне гуляли дивчата и парубки. Диспетчер Володька играл на мандолине и пел: «Я милого узнала по похо-о-одке…» В темные и томные украинские ночи, под шурша-

щими тополями, глупая песня звучала грустно, и фонарь обходчика, удаляясь по путям, тревожил сердце.

И мать любила приходить сюда, хотя ей это было совсем не к лицу: ей было уже за тридцать, а здесь гуляла молодежь. Мать садилась на самую дальнюю лавочку и сидела одна, луща семечки, ни с кем не заговаривая и не замечая сына, который гулял поодаль с компанией. Она его нарочно не замечала, чтобы не смущать. Он понимал, что она тут не для того, чтобы присматривать за ним. Ей бы это и в голову не пришло. Она приходит слушать мандолину и смотреть на огоньки, и та же тревога у нее в сердце, и те же неясные думы, что у него… Ах, как он любил ее за то, что думы те же и тревога та же!

Семнадцатилетним он уехал из Братешек. И за двадцать восемь лет всего четыре раза посетил родной дом.

В последний раз он побывал там в 1936 году, после Испании. Он больше года работал на заводе в Каталонии, научился объясняться по-испански, носил синий берет, и лицо его под пиренейским солнцем стало оливковым, как у испанца. Ему нравилась эта страна, нравились ее горы, и ее народ с мужественной, свободолюбивой душой,

и ее женщины, и ее музыка, — но кончились его сроки, его отозвали в Москву, ему дали отпуск, и вот ранним летним утром он стоял у колодца во дворе своей хаты. Он стоял босиком, а земля у колодца была мокрая, ногам было приятно. Утреннее небо голубело над его головой. Прохладно шептались листочки на яблонях и вишнях, которые он когда-то посадил около дома. Аист стоял на соломенной крыше… Аист, добрая птица, ты каждую зиму проводишь в Африке, в чужих, тридевятых странах, — и каждое лето, перелетев через моря и пустыни, повидав все на свете, возвращаешься на станцию Братешки, на кровлю хаты Насти Листопад, и Настя уж так и знает, что ты обязательно прилетишь, и бережет твое гнездо…

В тот приезд Листопада тронули старики: и мать, и отчим.

Тронула прекрасная старость Олексия. Глубокий старик, он не потерял ни памяти, ни работоспособности, был по-прежнему опрятен в одежде, воздержан в еде, полон достоинства. На станции он уже не служил, работал в колхозе — ходил за жеребятами. Он просыпался в три часа утра и шел на конюшню. В полдень приходил обедать, после обеда спал часа полтора и опять

уходил к своим жеребятам — до поздней вечери.

Мать была членом правления колхоза. Она заведовала молочной фермой и находилась в острой вражде с председателем колхоза. Из страстных и путаных ее рассказов Листопад узнал, что мать хочет получше устроить помещение для скота, а председатель противится и не дает средств.

— Но я молчать не буду! — сказала мать. — Пусть он не ждет, чтоб я молчала!.. Олексий! Как будешь выходной, напишешь мне заявление в райземотдел!

Она командовала им, как прежде, и он подчинялся с той же готовностью. Ни тени старческой брюзгливости, раздражительности. Друг с другом они все оставались молодыми.

— Олексий не приходил? — спрашивала мать, возвращаясь с фермы.

— Настя не приходила? — спрашивал Олексий, едва переступив порог.

Листопад смотрел на мать и думал: откуда у нее эта энергия, этот новый живой огонь?

Ему много случалось видеть, как растут люди, как формируется их политическое сознание, как они становятся общественными деятелями, — и это казалось ему обыкновенным явлением. А то, что его мать читает газеты и ездила на съезды

в Киев и в Москву, — это казалось ему необыкновенным.

— Мама, как это вы стали такие?

Она сразу поняла, что он имеет в виду, и улыбнулась чуть-чуть:

— А что? Тебе не нравится?

— Нравится. Я только не понимаю, как вы к этому пришли.

Она тронула орден на его груди:

— А ты как к этому пришел?.. Каждый, Сашко, идет своей стежкой, а выходит на ту же дорогу. Дорога одна, а стежек — миллионы и миллионы. Сколько людей в Радянськом Союзе, столько стежек.

— Вот она какая, моя мама! — сказал он, глядя на нее. — Вот она как разговаривает!..

...Он погостил у нее с неделю, и они расстались — на девять лет.

В первый год войны она известила его, что они с Олексием эвакуировались на Алтай. Потом было еще одно письмо из Барнаула. Потом опять письмо из Братешек — что вернулись, что немцы, уходя, спалили село и разорили колхоз, и очень трудно, но на душе радостно, что все-таки дома... Когда Листопад написал матери о своей женитьбе, она прислала свое родительское

благословение. На сообщение о смерти Клавдии ничего не ответила — приехала сама. Приехала и моет пол в его кабинете.

— Я не надолго, — сказала она, закончив уборку и садясь с ним за стол. — На неделю, ну, дней на десять, самое большее… — Суровыми глазами она смотрела на Клавдиин портрет над диваном. — Аборт делали, что ли?

— Какой аборт! Она голод в Ленинграде пережила, во время блокады. После голода болезнь развилась. При родах умерла.

— Проклятые, проклятые! — жарким шепотом сказала мать. — Бачь, и разбили их, и уничтожили, а лихо от злодейства тянется и тянется… Молодая, красивая — я думала: наведет внуков полную хату…

— Не надо об этом говорить, — попросил Листопад. — Почему вы только на десять дней? Что за сроки такие? Вы у меня поживете лето.

— Лето? Ловкий ты, Сашко! Через две недели жнива начнутся. Я ж теперь голова колхоза, ты и не спросишь. И про Олексия не спросишь. Отстал ты, ой, совсем отстал от нас, Сашко!

Ему до того стало стыдно — даже покраснел.

— Как дядя Олексий?

— Скоро буду расставаться с ним, — сказа-

ла она, слегка задохнувшись, закинула голову и выпрямилась, будто подставила грудь под удар. — Скоро, скоро. Восемьдесят девятый год ему, чего ты хочешь?.. Он еще работает! Косы точил перед косьбой на всю бригаду… Ой, Сашко, до чего жалко смотреть — ведь он слепой совсем: точит, все пальцы в крови, а он не видит. Что это, говорит, кровью мне пахнет, — а сам не видит… — Слезы побежали по ее лицу, и Листопад с легкой грустной ревностью подумал, что никого в своей жизни она не любила так, как Олексия… Но и ее никто так не любил, как Олексий, и эта неизбежная разлука будет для нее самым тяжелым ударом.

— Если это случится, — сказал он, — вам там незачем оставаться. Переедете ко мне, будем вместе: где я, там и вы.

Она улыбнулась сквозь слезы прежней знакомой улыбкой, взмахнув бровями и показав подковку чуть пожелтевших зубов:

— А что я у тебя буду делать, Сашко?

— То, что все старушки. Хозяйничать будете, отдыхать. На покое жить! Вы в театре были хоть раз? В настоящем.

— А вот была! — подхватила она лукаво. — И не один раз, а шесть раз была. Как поеду в Киев

или в Москву, так нас ведут в театр. И в музее была, и в Ботаническом саду, и где, где я только не была, Сашко… Помнишь, мы с тобой все ходили дивиться на поезда? Я тогда думала: да неужели я тоже когда-нибудь сяду и поеду далеко?.. А теперь привыкла ездить, где там! К тебе хотела на самолете полететь, так от нас сюда не летают…

Отвлекшись мыслью от Олексия, она опять оживилась, и лицо ее играло прежней затаенной игрой, полной чувства: как будто свет то и дело пробегал по лицу, — вот на что была похожа эта игра.

— Какой, Сашко, на сегодняшний день может быть покой! — Она задумалась. — Сашко, до чего ловко живут наши переселенцы на Алтае! О-о, ты б подивился… А у нас трудно, страшно трудно…

— До сих пор в землянках?

— Нет, в землянках уже мало кто живет, кой-как отстроились: кто сарайчик поставил, кто хатынку… Ни коней, ни тракторов. Весной замучились! Пригнали к нам немецких коров, такие хорошие коровы, нашими украинскими кормами Гитлер выкормил… Так мы на них пахали. Вот такими слезами жинки плакали, а все ж таки пришлось пахать на коровах… Но самое главное — рабочая сила. Не хватает рук, хоть ты кричи! Стареньки,

молоденьки, а настоящих работников почти что нема… Я вот бачу несправедливость: такая здоровая баба, а что она робит? Ничего она не робит. Полы помоет и треплет хвостом целый день.

— Кто это?

— А Домаха твоя.

— Какая Домаха?

— Ну, Домна, уборщица эта твоя, которую я вылаяла за грязь.

— Вам дай власть! — сказал Листопад. — Вам, мама, разреши — вы бы всех наших городских Домах приспособили к вашему колхозу.

— А хлеб твоя Домаха хочет есть? — спросила мать. — Тут еще какая-то Меланья у тебя тоже, бачь, лодырь… Так ты б с Домахи на Меланью перегрузил работу, а Домаху в колхоз! Хочет хлеб есть — пускай идет, допоможет хоть трошки. Я вот голова правления; а в жнива пойду жать, как все.

— Но, мама, голубочка вы моя! Вам же седьмой десяток идет. На сколько лет вас хватит при такой работе?

— Вот и я стала загадывать: на сколько меня хватит? Так никто, понимаешь, не говорит… У тебя большой завод, Сашко?

— Большой.

— У нашего колхоза тоже очень большое было хозяйство.

— Ваш колхоз — это колхоз. А мой завод… Это я вам покажу. Такого вы в театре не увидите.

Мать и Домна пьют чай и разговаривают о своей бабьей жизни.

— Говорит: с тобой хочу быть, и больше никаких, — говорит Домна, дуя на блюдце. — Жена у него, вишь, колотовка и дочерей взрастила к нему недобрых. А он человек легкий, что заработал, то и пропил, в чужой карман не лезет, ни на кого не обижается, — скучно ему с ними. Так плакал, когда уходил, — ужасно!

Домна ставит блюдце и вытирает слезу.

— А я что ему скажу? Нешто я разлучница? Уезжай, говорю, любовь у нас общая, а судьба, знать, розная. У тебя дочеря, у тебя жена. Ты себя обязан перед ними оправдывать. «Это, говорит, была моя ошибка; ты судьба моя». Что же, говорю, что ошибка; не взашей тебя толкали на ней жениться. Ошибка твоя, и казнь твоя.

— Вот вы как рассуждаете! — говорит мать, дуя на блюдце.

— Да, я так рассуждаю, — говорит Домна, гордая своей добродетелью. — У меня покойный муж был страшно грубый, я за ним жила как на катор-

ге, а все-таки жила. И по сию бы пору жила, если бы его господь не прибрал. Поскольку я жена, постольку я обязана быть ему верной по гроб.

— Вы его любили, мужа? — спрашивает мать.

— Куды любила! Говорю вам: чисто на каторге.

Молчат. Дуют на блюдца.

— Я вашего характера не понимаю, — говорит мать своим сдержанным голосом. — Как же так: одного не любили и жили с ним, другого любили и прогнали… Счастье наше жиночье само в руки не дается, его ухватить сумей — счастье…

— Такая мне судьба — век прожить без счастья, — надрывно говорит Домна.

— Судьбе моей я господыня, — говорит мать, глаза ее блестят.

— Вам, Настасья Ильинична, в жизни повезло, что вы встретили хорошего человека.

— Я того хорошего человека ногтями оторвала, зубами отгрызла, приговорами приговорила. Меня через него родная мать прокляла, соседи мне вслед плевали. Никого не побоялась, не отдала. Вот мое везенье в жизни. Я каждый день моего счастья в бою отбила, понятно вам?

Молчание.

— Я не уважаю ваш характер, — говорит мать. — Вам никто ничего в торбинке не принесет. У нас

с вами ничего нет дареного, все завоеванное, на что ни посмотрите.

— Семью разбить — не велико завоевание.

— Поганая та семья, которую разбить можно.

Поссорились. Дуют на блюдца.

— Ешьте мед, Домаха Васильевна. Ешьте, будь ласка.

— Очень благодарна, Настасья Ильинична; я уже кушала.

— Берите еще, будь ласка.

— Очень благодарна.

И так как разговор, которым началась ссора, для Домны слаще всякого меда, Домна начинает сначала:

— Так вот. У тебя, говорю, дочеря. Какие ни есть, а твоя кровь. Ты их обязан содерживать и воспитывать. А он слушает и плачет, и плачет — рекой разливается…

Сложив руки на груди, будто вышла прогуляться, мать шла по заводскому двору. Белый в черную крапинку платочек, щегольски-небрежно завязанный под подбородком, защищал ее глаза от неистового солнца.

Лето грянуло в полную силу! Всем предметам сообщило солнце свою способность излучать жар: и камню, и металлу, и человеческому те-

лу. Все было накалено, все обдавало знойным дыханием. Короткие черные тени лежали у подножья огнедышащих цехов — да кому есть время прохлаждаться в тени? Пропадала животворная тень впустую.

— Жарко у вас! — сказала мать. — У нас хоть в какую жару, все ж легче: ветерок подувает…

Подошли к лесобирже.

— У нас в районе тоже есть лесопилка, — сказала мать.

— Наверно, поменьше, чем наша, — сказал Листопад.

— Трошки поменьше, — согласилась мать, — так почему? Потому что у нас леса мало. Строим из кирпича. Будь у нас столько леса, сколько у вас, мы б тоже величеньку поставили лесопилку…

Дерево не источало зноя, оно радовало светлым, свежим своим цветом, от него веяло смолистой лесной прохладой… Листопад велел запустить мотопилу, чтобы мать посмотрела, как она работает. Крановщица включила кран; он повернулся, наклонился, поднял огромное — в четыре охвата — бревно, осторожно перенес — мать следила сузившимися глазами — и вложил в зажим. Запел мотор. Сверкающая сталь коснулась бревна и стала погружаться в его толщу. Ручейками сте-

кали по обе стороны бревна кремовые опилки. Минуты шли. Уже где-то глубоко-глубоко, разделяя последние волокна древесины, трудилась сталь… Кусок бревна отвалился, как отрезанный ножом кусок масла, и мотор замолчал.

— Ну! — сказал Листопад. — Трошки не такая лесопилка у вас в районе? А мы эти пилы делаем сами.

Мать ничего на это не ответила, но с лесобиржи уходила неохотно, даже оглянулась разок… Пройдя немного, она сказала:

— Нам бы такую силу.

— Пилу вам такую?

— Ту машину, что тяжелое носит.

— Коров в степь выносить?

— Ой, какой ты, Сашко! Ты так со мной не говори. Не коров, а с весов зерно в камору.

— Что ж, правильно. Только куда подъемному крану с каморой. Вы сначала зернохранилище постройте.

— А что ты думаешь? — сказала мать. — Мы собирались строить. Как же! Перед самой войной. Настоящее зернохранилище было запроектировано, с бетонированными камерами для разного зерна. Все б у нас уже было, Сашко, если б не те немцы!

В сталелитейном готовились к приему плавки. Ковш был уже подведен к печи, мастер проверял ставку изложниц.

— Смотрите, мама, сейчас сталь пойдет! — сказал Листопад, придержав мать за плечи, чтобы не шла дальше.

Подручный коротко взмахнул сечкой, и огненная струя бросилась в ковш. Заполыхало на стенах и потолке невыносимое зарево…

— Вот она, красавица наша! — в ухо матери сказал Листопад, сам не в силах отвести глаз от этого блеска, от этой тяжкой, богатой струи, бегущей в ковш неукротимо, царственно и вольно… Фонтаны искр взлетали к металлическим переплетам, запахло горячо, горько и страшно, — Листопаду всегда казалось, что так должно было пахнуть на земле, когда она была расплавленным телом… Ковш поплыл над изложницами, пятидесятитонная махина, точная и осторожная в движениях… Дав матери посмотреть, как заполняются изложницы, Листопад повел ее из цеха. Хотел было опять пошутить: «А такого ковша вам не требуется в колхозе?» — но увидел по ее глазам, что она охвачена каким-то новым впечатлением, взволнована, смягчена, — и отложил шуточки до другого раза…

По дороге к сборке им повстречалась Нонна. Поздоровавшись с Листопадом, она внимательно посмотрела на мать, прошла и оглянулась. И мать оглянулась, говоря:

— Вон какая женщина прошла.

— Нравится? — спросил Листопад с усмешкой.

— То орлица прошла, — сказала мать, — королева. Такой попадешься — приберет в жменю, и край тебе.

Она пробыла на заводе до конца смены и посмотрела все работы. Сборка оставила ее равнодушной: «Скучное дело, — сказала она, — одно и то ж все время; это не на мой характер». Так же, к удивлению Листопада, не произвели на нее впечатления станки-автоматы, которыми он думал ее поразить. Чтобы не огорчать его, она постояла и посмотрела, как движутся части черной машины, лоснящейся от масла, и как время от времени падает в желобок маленькая металлическая вороночка… «В Москве я тоже видала автоматы, — сказала она, — на станции метро. Ты опустишь ей в щелку два раза по пятнадцать копеек, а она тебе билет выдает. А одну монетку положишь — не выдаст, ее не обманешь».

Уходя с завода, она сняла платок, взглянула и покачала головой: платок стал черным.

— То ж труд у людей, — сказала она с мягким выражением глаз, — то тяжкий и святой труд… — Она шла довольно долго молча, думая о чем-то. — Сашко, — сказала она, — ты Клаву не забывай.

— Мама, я вас просил: о Клавдии — не нужно.

— Нет, я скажу: ты — живи как хочешь, ты еще не старый, женишься, но ее не забывай. Вспоминай. Она тоже за то умерла, чтоб мы все жили и чтоб наш труд не пропал. Ты вспоминай, Сашко. Нет-нет и вспомни. Нельзя забывать.

Он не ответил: ему сдавило горло. И в молчании они пришли домой.

Через два дня она уехала.

Он отвез ее в город, на вокзал, и усадил в вагон. Они посидели. Беседа не вязалась. Проводник заглянул в купе, сказал: «Провожающих попрошу!» Они поцеловались бегло, стесняясь свидетелей. Листопад ушел…

В последний раз мать улыбнулась ему из открытого окна. Вдруг нахмурилась и уголком платка вытерла глаза…

— Ну что это за местность: уголь летит прямо в очи, — сказала она.

Поезд тронулся. Листопад шел рядом с вагоном. Она стояла у окна и смотрела на него, потом поезд

пошел быстрее, быстрее, быстрее, — ушел.

Листопад смотрел ему вслед. Может быть, это была последняя встреча. Разлуки, разлуки… Эта разлука — не самая ли большая?

Поезд удалялся, он был уже как черная точка вдали, где сужаются рельсы… Маневровый паровоз вышел на пути, закричал, выпустил кудрявый дым, дымом этим застлало даль и черную точку вдали…

Мамо, мамо. Живите, будьте благословенны, спасибо вам за все, сердце мое!

Глава девятая
День рождения Нонны

Нонне исполнилось тридцать лет.

В это утро она посидела перед зеркалом, рассматривая свое лицо. Она нашла, что выглядит гораздо лучше. Это оттого, что она стала высыпаться. За всю войну она только два или три раза выспалась досыта, и у нее постоянно был удручающе утомленный вид.

С августа снизилась программа завода. Люди работают по восемь часов в день. Часть рабочих уехала в подсобное хозяйство. Многие подростки ушли учиться. Кое-где уже подкрашены крыши, подновлены мостовые. Каждый день слышишь: такой-то вернулся, такая-то вышла замуж… Мир!

Но еще не скоро кончится человеческое передвижение. Приезжают, уезжают, переселяются — ищут где лучше, заново устраиваются на земле, обретшей тишину.

Уехал и главный конструктор.

Его прощание с отделом неожиданно вышло трогательным. Он созвал конструкторов. Они стояли, и он стоял за своим столом, маленький, еще

более ссохшийся за лето. Он сказал: «Товарищи, я расстаюсь с вами в уверенности, что вы и без меня, как при мне…» Ну, совершенно то же самое, что говорит учитель начальной школы, передавая своих питомцев в среднюю. А они, питомцы, вдруг забыли его капризы и грубости и помнили только одно — скольким они обязаны учителю, как много он им дал. Они подходили по очереди пожать ему руку, и он поцеловался с каждым по-русски. И его очень жалко было, старика.

Он уехал куда-то на юг, на грязи, лечить свой ревматизм. Там он хочет устроиться на постоянное жительство. Его жена еще приедет за вещами. Квартира его пока заперта, из нее вынесены модели, телефонные аппараты, книги — свою библиотеку он подарил заводу. Конструкторский отдел переместился в заводоуправление. На месте главного конструктора еще никого нет. Отношения между сотрудниками ровные, благожелательные…

Как будет дальше? Каков будет профиль завода, его особое место в хозяйстве страны? Этот вопрос волнует всех конструкторов: хочется заранее знать, над чем придется работать…

Нонна смотрелась в зеркало.

Тридцать лет…

По сторонам зеркала стояли две стеклянные вазы. Перед войной в день ее рождения не хватило не только этих ваз — не хватило всех ваз, какие есть в доме; пришлось забрать у Мариамны из кухни все глиняные кувшины и стеклянные банки: Андрей притащил целый цветочный магазин. В городе не было таких цветов, он куда-то ездил за ними. Сейчас две маленькие вазы стояли пустые. Они отражались в зеркале, и казалось, что стоят четыре пустые вазы.

Два звонка. Должно быть, Костя. Они условились, что он придет в десять, а сейчас без десяти десять. Нонна спустилась вниз и открыла дверь. Да, Костя. Аккуратный мальчик. Она впустила его.

— Ради бога, Костя, ноги! — сказала она. — А то моя хозяйка оторвет мне голову.

Улыбаясь, он старательно вытер ноги о половик. Ночью был дождь, и к его ботинкам пристала грязь, а калош у этих мальчуганов никогда не бывает.

У Кости в руках был портфель, который она ему подарила, когда он поступил в техникум. Он открыл портфель и выложил на стол несколько маленьких дешевых зеркалец в бумажной окантовке.

— Можете себе представить, это стоило довольно дорого, — сказал он, — в общей сложности двадцать три рубля. Зато я выбрал самые лучшие. Я захватил молоток и гвозди.

— Это очень хорошо, — сказала она, — потому что у меня нет ни молотка, ни гвоздей. Когда мне надо что-нибудь прибить, я пользуюсь вот этим пресс-папье.

Она с удовольствием смотрела на него, пока он возился у окошка, примеряя зеркальца к раме. Какой он опрятный и скромно-уверенный, и большие мальчишеские руки чисто вымыты, ногти острижены… На брюках складочка. Живет мальчишка в общежитии, а на брюках складочка. Утюг, значит, завели, молодцы.

— Костя, — сказала Нонна, — вы выглядите просто замечательно. У вас потрясающе джентльменский вид.

Он покраснел и сказал:

— Я думаю, вот так будет хорошо. Посмотрите. Видна парадная дверь и часть улицы. Или вам надо больше?

Эта затея насчет зеркалец пришла в голову Нонне дня три назад, когда она поняла, что Грушевой совершенно сошел с ума и что она больше не в силах переносить его визиты.

Когда Нонна начала рано возвращаться домой и к ней стало ходить много людей, старик Веденеев повесил на входной двери бумажку с надписью: «Веденеевым — 1 звонок, Н. С. Ельниковой — 2 звонка». Этим он дал Нонне понять, что они с Мариамной не желают отворять дверь ее гостям. Нонна решила, что это справедливо.

Приходили мальчики и девочки с завода и из техникума. Она сама приучила их приходить — ей нравилось на них смотреть. Приходили товарищи, инженеры. Приходили женщины, которые считали ее своей приятельницей. У них была несносная привычка целоваться. Для тех, которые красят губы, это просто неприлично.

Она всех радушно принимала, она вела эти годы напряженную трудовую жизнь и теперь была рада поболтать с людьми. Грушевой — особая статья. Голубок с пучком незабудок в клюве. После одного его посещения, когда он до двух часов ночи рассказывал ей свою жизнь, начиная от нежного детского возраста и кончая первой любовью, Нонна шла утром на работу злая и придумывала противоядие.

«При такой обстоятельности, — думала она, зевая, — автобиографического материала ему хватит на год. И он на таком взводе, что на него

не подействует, если сказать ему по-честному: пошел вон, дурак. Будет еще хуже: он пустится в объяснения. Установить, что ли, на окне систему зеркал, чтоб было видно, кто стоит у парадного?.. Тогда пусть звонит сколько угодно: меня нет дома. Веденеевы на два звонка не откроют, хоть он звони до утра».

Она увидела Костю Бережкова, шедшего навстречу.

— Костя, — сказала она, — у меня к вам дело.

Она дала ему денег на расходы и объяснила, что ей нужно.

— Чудно, Костя, — сказала она, поглядев на его работу. — Вы мне сделали подарок: сегодня день моего рождения.

Он широко улыбнулся и сказал: «Поздравляю вас». Потом они сели пить кофе. Большое удовольствие — готовить бутерброды для такого птенца.

— Если встретите кого-нибудь при выходе, — сказала Нонна, прощаясь с Костей, — и спросят меня, вы не знаете, дома я или нет. Вы идете от Веденеевых. Пусть звонит два раза.

Предчувствие ее не обмануло. Едва она взялась за перо (она решила в этот день ответить на все письма родственников и знакомых, скопившиеся за полгода), как снова позвонили два

раза. Осторожно, чтобы ее не увидели с улицы, она посмотрела в зеркальце: на крылечке стоял Грушевой. Поза его выражала искательность и нетерпение. Время от времени он нажимал на кнопку звонка.

«Он звонил мне в отдел, — подумала Нонна, — и ему сказали, что сегодня мое рождение. И он кубарем примчался сюда. Он полагает, что я сижу и млею, и жду его».

На всякий случай она заперлась на ключ: вдруг Мариамне надоест слушать звонки и она отворит.

«Дорогая Соня, — хладнокровно писала Нонна под отчаянные звонки, — я не писала тебе так давно потому, что…»

У Мариамны был железный характер. Она не отворила Грушевому.

Очень трудно писать людям, с которыми давно разлучила жизнь.

Это милые люди, дай бог им удачи и счастья. С ними связаны благодарные воспоминания. Но человек не живет воспоминаниями. Всходит солнце и возглашает новый день. Человек поднимается от сна и думает не о том, что с ним было десять лет назад, а о том, что ему предстоит сделать сегодня. Он думает не о тех людях, которые

были около него десять лет назад, а о тех, которые будут около него сегодня и завтра. Может быть, те, прежние, были милее; но с сегодняшними ему жить. И уже этим они гораздо нужнее.

Кровное родство — большая вещь! Но прости меня, сестра: сегодня не ты мне ближе, а та женщина, которая разрабатывает технологию по моим чертежам. Мы озабочены одной заботой. Мы единый организм. А тебе все это неинтересно. Если я напишу тебе, что последний месяц моей жизни я посвятила кривошипному механизму, это тебя нимало не взволнует…

У тебя прелестные дети; я желаю им всего, всего лучшего! Как они учатся? Как твой муж, прошло ли у него воспаление среднего уха? У меня все благополучно. Работаю, как прежде. Замуж — нет, не вышла…

«Дорогая Лиза, я не писала тебе так долго потому, что…»

Нонна приехала на Кружилиху шесть лет назад, когда окончила политехнический. Она не выбирала, куда ехать. Ее послали. Ей было все равно, только не терпелось скорее начать самостоятельный путь.

У нее не было никакого опыта. Ее назначили в отдел главного технолога.

Надо было где-то жить. Ей сказали, что в доме Веденеева сдается светелка. Нонна пришла в дом, где и сейчас живет. Он ей понравился сразу. Дверь открыл Андрей, который как раз тогда приехал домой на каникулы.

Светелка была веселая, солнечная. Перед светелкой — маленькая темная передняя, где можно поставить умывальник и примус. Из окна был виден старый поселок и полоска леса на горизонте. Нонна села в старомодное кресло и подумала: хочу тут жить. Явилась Мариамна. Нонна быстро договорилась: столько-то за комнату, столько-то за дрова, столько-то за уборку. «У вас очень чисто, и у меня будет так чисто?» Мариамна в ответ только шмыгнула носом… Андрей стоял и смотрел на Нонну, пока та разговаривала с Мариамной.

Она быстро привыкла к этой семье. Никто ее не стеснял. Мариамна убирала наверху в те часы, когда Нонны не было дома. Иногда вечером раздавался стук в дверь, заглядывала Катя, молодая жена Павла: «Нонна Сергеевна, идите с нами ужинать, мы пельменей наварили». Нонна брала какое-нибудь угощение и спускалась вниз. За столом она видела, что Андрей все время смотрит на нее. Потом он уехал в свою академию. На следующий год, окончив ученье, он приехал уже

совсем.

Этот год для Нонны был годом страданий. Главный технолог спросил ее:

— У вас какая была дипломная работа?

— Шатунная группа.

(Кстати сказать, диплом у нее был отличный, она для него изучала по журналам технологию обработки шатунной группы на передовых предприятиях.)

— А приспособления вы делали? — спросил главный технолог.

— Да, — ответила она. — У нас был курс приспособлений.

Он поручил ей сделать поворотное приспособление для расточки отверстий в поршне. Она разобралась в задаче и выяснила, что ни теоретическая механика, ни металловедение, ни курс деталей машин, ни прочие науки, которым ее учили в институте, не могут ей здесь помочь. Надо увидеть, так сказать, живое приспособление, похожее на то, которое она должна сделать. Но она не нашла такого.

Она пошла в техническую библиотеку. Перелистала кучу книг… У Грюнгагена увидела похожий чертеж. Но он был дан в одной проекции, потому что книга рассчитана на опытного

конструктора.

Она принесла книгу в отдел и вычертила поршень в трех проекциях. Потом вычертила основание. Потом стала думать о фиксации… В мозгу ее созрела конфигурация приспособления, но — размеры его деталей? их соотношение между собой?.. Все было темно.

Как определить пропорции, когда нет пространственного представления о вещи?..

Она терзалась неделю, пока сдала чертежи общего вида приспособления и деталей к нему. Любой конструктор сделал бы все это за два дня.

Через сколько-то времени ее вызвали в цех.

— Узнаете? — спросил мастер Корольков, спокойный блондин, с тем постоянным присутствием духа и юмора, какое бывает у старых производственников.

Нет, она не узнала свое приспособление, оно получилось совсем не похожим на чертеж, и оно было очень громоздким — это она увидела сразу. А его еще нарочно поставили на пол, чтобы посмеяться.

— Требуется специальная рабочая сила, чтобы поднять это приспособление, — сказал Корольков.

Для обработки легкой детали это действитель-

но никуда не годилось. Кроме того, это было чудовищно по форме…

— Ничего, — серьезно продолжал Корольков. — Бывает хуже.

Кто-то из рабочих сказал:

— Главное то, что с ним сделаешь одну деталь, а без него десять. Его пока установишь, черта!

Рабочие не приняли этого приспособления. И Нонна долго носила в душе жгучий стыд.

Зато она поняла очень важную вещь: создавать новое надо на основе уже накопленного техникой опыта. Смело заимствовать детали из других конструкций, а не изобретать заново каждый болт. Быть хорошим конструктором — значит творчески, умело использовать созданное до тебя… Нонна стала присматриваться к работе станочников и изучать приспособления, которыми они пользовались: они любили то, что ускоряло процесс обработки…

Поиски, поиски! Каждая деталь — загадочный мир: какой толщины сделать шайбу? Зажать деталь гайкой или откидной планкой с быстродействующим зажимом? А габариты — размеры деталей!.. Нонна спрашивала у товарищей:

— Почему вы указываете именно эти габариты?

Что они могли ответить? Габариты рождаются в голове конструктора, как рифма в голове поэта. Они отвечали беспомощно:

— Из конструктивных соображений.

Они помогали ей. После своего первого несчастного опыта она, преодолевая гордость, стала обращаться к ним за консультацией. По-прежнему, чуть какая заминка, бежала в техническую библиотеку. Она называла библиотеку: мой пункт первой помощи.

Она чувствовала, что постепенно выходит из пеленок.

Ей поручили сделать оправку для обработки шестерен — она сделала, и над нею уже не смеялись. Потом сделала чертежи приспособлений для обработки цилиндра.

Теперь она не чувствовала себя скованной, когда разговаривала с более опытными работниками. У нее еще не было их квалификации, но они говорили на одном языке.

— Девица самолюбивая и с характером, — говорил старик Веденеев.

У старика это было самое счастливое время его жизни. Все ладилось на заводе и дома. Павла выбрали в бюро парторганизации, он шел в большие руководители. Маленький Никитка

рос красивым, здоровым мальчиком. Андрей стал художником. Он пишет картину, в которой прославит Кружилиху. Написав картину, поедет в заграничную командировку. Они поженятся с Нонной Сергеевной, будет пара — загляденье.

Портила музыку одна Марийка: то выходит замуж, то разводится, противно смотреть. Как она выросла такая под Мариамниной рукой?.. Зато невестками обеими можно будет гордиться: Катерина — достойная женщина и хороший работник, и Нонна Сергеевна… Нонна Сергеевна — умница. Туда взойдет, куда простенькой Катерине и не мечтать взойти. Ровня Андрею.

Старик со стыдом вспоминал, как он противился желанию Андрея стать художником. С малых лет Андрей рисовал картинки. Он рисовал их и бросал где попало, а Мариамна, по приказанию мужа, подбирала и прятала. Когда приходили гости, Никита Трофимыч выносил картинки и говорил с притворным равнодушием:

— Вот Андрюша еще картинки нарисовал…

Гости смотрели и удивлялись, откуда у мальчика такие способности.

Но когда Андрей подрос и стал проситься, чтобы его отдали в школу, где учат рисованию, старик встревожился. Уедет, оторвется от семьи. Будет

водиться с товарищами, которые не знают, что такое труд, а это самая плохая компания. Начнет пить и сопьется, тем дело и кончится. Мало ли у кого какие способности. Вот у него, Никиты Трофимыча, смолоду была склонность к музыке, он играл на корнет-а-пистоне, а не пошел же в музыканты. Есть для мужчины более достойные занятия, особенно в наше время, когда каждый должен беспокоиться о пользе государства и общества. Нравится рисовать — рисуй на здоровье, никто не запрещает. Но избери главное дело жизни, ему себя и посвяти. Картинки не могут быть главным делом жизни. Я, конечно, не говорю о выдающихся гениях: это единицы.

— Нет, — ответил мальчик Андрей с задумчивой улыбкой, — картинки могут быть главным делом жизни.

Он настоял на своем и поехал учиться в Москву, потом в Ленинград. Павел был в этом споре на стороне Андрея. Старик обиделся и долго сердился на обоих сыновей, а потом ему было неловко вспоминать об этом.

Андрей приезжал каждый год на каникулы, и вот теперь не остался в Ленинграде, где ему предлагали хорошую службу, а вернулся домой и беседует с Нонной Сергеевной о чем-то таком

умном и важном, что старик Веденеев не все понимает, хотя и слушает из соседней комнаты, стараясь не пропустить ни слова…

— Единственный метод искусства, — говорит Андрей, — это правда. Все другие порочны.

«Хорошо говорит, — думает старик Веденеев. — Все, что не правда, все порочно».

— Правда, — говорит Нонна, — то есть реализм. Боюсь, не пресно ли это.

«А ты не бойся, — думает старик Веденеев, — он знает, что говорит; тебе бояться нечего».

— Жизнь не может быть пресной, — говорит Андрей. — Наша жизнь благородное, вольно растущее дерево. Нелепо вешать на это дерево елочные украшения; оно и без них прекрасно.

— Мне кажется, — говорит Нонна, — что вы обедняете искусство.

— А мне кажется, — с живостью говорит Андрей, — что вы об этом судите непродуманно.

«Получила?» — думает старик Веденеев.

— Ну, конечно, — лениво говорит Нонна. — Я занимаюсь другими вопросами.

— Реализм, — говорит Андрей, — настолько широк и могуч, что вмещает в себя все остальные методы.

— Говорите проще, — просит Нонна, — не по-

казывайте свою образованность. Что вы этим хотите сказать?

«Ага, сдалась!» — думает старик Веденеев. Он снимает очки и вытирает пот, выступивший на лбу от напряжения мысли…

Все же, когда они объяснятся? Каждый день вместе. Беседуют часами. Беседы, прогулки — все это прекрасно, но девушка ждет, чтобы с ней объяснились.

Андрей писал картину: река, розовый туман над рекой, на том берегу, сквозь розовый туман, — трубы Кружилихи. Он уезжал в город перед зарей, на исходе ночи; перебирался на тот берег и до полудня писал свою картину. Он загорел, как рыбак, и среди разговоров вдруг задумывался и начинал кусать губы: он думал о картине.

Однажды он показал ее Нонне.

— Ну? — спросил он. — Как?

Она сказала:

— Андрюша, вы знаете, я в этом ничего не понимаю.

— Нравится или не нравится? — спросил он отрывисто.

— Нравится, — сказала она.

— А что вам больше всего нравится?

Она подумала и сказала:

— Вот это облако.

— Вы действительно ни черта не понимаете, — сказал он и закрыл картину тряпкой. — А замуж за меня вы можете выйти?

Она засмеялась.

— Вам это очень нужно?

— Очень, — сказал он. — Я из-за вас не остался в Ленинграде. — И он обнял ее и сказал: — Нонна!..

Она отстранила его руки.

— Нет, пожалуйста.

— Нет?

— Нет.

...Не понимают обыкновенной человеческой дружбы. Если ей нравится ходить с ним по окрестностям и любоваться пейзажами, это вовсе не значит, что она готова быть около него всю жизнь.

У Мариамны — слух как у кошки: все слышала. Подслушала — хоть была за две комнаты, — как Андрей сделал жиличке предложение, а та отказала. В тот же вечер Мариамна рассказала об этом Никите Трофимычу.

Старик пришел в ярость: что же она о себе думает, жиличка? Какого мужа ей надо? Андрей — ей не пара?..

— Андрюша, — сказал он, оставшись с сыном

наедине, — ты как хочешь, а я ее на квартире держать не буду.

Андрей посмотрел на него пристально и сказал:

— Вот что, папа… — Он помолчал. — Пусть она живет. Можешь ты это сделать для меня?

— Сынок, — сказал Веденеев ласково, — я же вижу, что вся твоя жизнь около нее. И мне за тебя обидно; пойми.

— Пусть она живет, — повторил Андрей, встал и вышел.

Старик наблюдал с болью в сердце: ничего не изменилось. Нонна по-прежнему разговаривала и смеялась, а Андрей — как пришитый около нее…

«Сколько слов сказано, — думал Никита Трофимыч, слушая их разговоры, — сколько слов хороших — и все напрасно, и такой человек, как Андрюша, страдает зря».

И о заграничной командировке больше ни слова. Картину увезли в Москву, и о ней ни слуху ни духу, а Андрей — дурак! — пишет портрет Нонны Сергеевны.

«Если бы она была хорошая девушка, — думал старик Веденеев, — она бы дорожила его любовью. Такая любовь на земле не валяется: знай

подбирай».

Вдруг принесли телеграмму: картина «Завод у реки» получила премию. Пришла газета, в которой был снимок с картины и большая статья. В статье Андрея называли: молодой талантливый художник. Старик Веденеев созвал гостей на большую выпивку. Такого праздника в доме не было со дня свадьбы Павла. Праздник был испорчен Нонной: она опоздала, и Андрей сидел скучный, как день осенний. Наконец она явилась, и надо было видеть, как взошло солнышко, как Андрей стал говорить, двигаться, смеяться… Этого вечера Никита Трофимыч не простил Нонне.

А Нонна опоздала потому, что ее задержали на заводе. Задержал разговор, один из тех разговоров, которыми отмечаются этапные пункты судьбы. Утром она сдала чертежи приспособлений для обработки деталей мотопилы. Мотопила — это было новое детище завода, детище главного конструктора. После работы главный конструктор вдруг вызвал Нонну.

«Неужели что-нибудь напутала?» — подумала она.

Главный конструктор был тогда еще здоров и сидел в заводоуправлении. Она сейчас же пошла к нему.

— Садитесь, — сказал он. — Я хотел поговорить с вами о вашем будущем. Вы как, серьезно собрались посвятить себя технике?

— Я не понимаю, — сказала она, — что вы имеете в виду.

— Что для вас машины? Страничка биографии или жизненная программа?

Она улыбнулась его высокопарности.

— Я не думала об этом.

— Ну да, ну да! — сказал он с сердцем. — Сегодня вы подаете надежды, а завтра уйдете в декретный отпуск. А потом у ребенка коклюш, корь, всякое там — как оно называется, — и вы бросаете работу... Сколько раз я это видел!

Собственно, какое отношение все это имеет к ней?

— Вот я и хочу знать, у вас это всерьез или от нечего делать?

— Мне казалось, — сказала Нонна холодно, — что я достаточно серьезно отношусь к моим обязанностям.

— Не то слово! — сказал он. — Обязанность — не то слово. Наше дело, как всякое искусство, требует жреческого служения.

Пожалуй, она готова согласиться с ним.

— Что такое настоящий конструктор? Он дол-

жен быть металловедом, механиком, моделистом, литейщиком. Должен знать термообработку, электросварку, инструмент — и быть художником. Обязательно быть художником! Науки конструирования нет, как нет рецепта, как написать «Войну и мир». Мы идем дорогами творцов.

Разговор становился интересным.

— Художник, — сказал главный конструктор, — это человек, обладающий чувством прекрасного. Ощущение меры, формы, габаритов мне необходимо не меньше, чем Рафаэлю.

Нонна вспомнила свое первое приспособление…

— Чувство изящного развивается, — сказал главный конструктор, — оно приходит с опытом — при одном условии: если посвятить себя своей специальности полностью. Я видел вашу последнюю работу. Мне рассказывали, что вы быстро поднялись и пошли вверх. Я вам предлагаю работу в моем отделе.

Нонна молчала, опустив глаза.

— Вы согласны?

— Это так неожиданно, — сказала она.

— Вам что же, технология больше по душе?

Она уже привыкла работать у главного технолога, и о ней там сложилось мнение, которым она

дорожила. Здесь ей придется заново завоевывать себе место. Кроме того, о неуживчивости главного конструктора ходит столько разговоров…

— Вы не понимаете себя, — сказал главный конструктор, — у вас способности, вы их разовьете, работая в моем отделе. У вас живая мысль. Я предлагаю вам лучшее, что вы могли бы пожелать для себя. Идите, подумайте, завтра утром скажете ответ.

Вот почему Нонна опоздала на веденеевский пир. И на пиру она сидела задумчивая, все решала: переходить к главному конструктору или нет.

Утром она позвонила ему и сказала, что согласна.

Вот так обстояли у Нонны дела накануне войны.

Уходя из дому, Андрей сказал отцу:

— Дай мне слово, что она будет жить здесь, пока сама не захочет уйти.

— Хорошо, — сказал старик Веденеев.

— Что бы со мной ни случилось, — сказал Андрей.

— Хорошо, — сказал Веденеев тихо.

— И что вы будете относиться к ней с уважением и симпатией, как она заслуживает.

Старик прижал руки к груди.

— Андрюша, — сказал он, — с уважением — да; но ты не можешь требовать…

Андрей усмехнулся и погладил отца по спине.

— Понятно, — сказал он. — Ты не прав… Ну, ладно. Замяли.

Опять у Веденеева был приступ тоскливой злобы, когда он смотрел, как Нонна прощалась с Андреем: хоть бы слезинку пролила!.. И на призывной пункт не пошла проводить, только вышла за калитку…

Каждые два-три дня приходило ей письмо от него. Иногда сразу несколько писем. Своим Андрей писал куда реже. И это тоже было для Никиты Трофимыча источником ревности и обиды.

С тех пор как она отказала Андрею, старик был с Нонной официально сух, а Мариамна едва отвечала ей. Нонне не надо было объяснять, что это значит. Когда Андрей уехал, она перестала ходить к ним. Ее не звали.

Они не хотят ее. Это их право. Жалко будет, если попросят освободить квартиру: она тут привыкла. Но от квартиры не отказывали.

По-прежнему Мариамна приходила, когда Нонны не было, и убирала комнату. По-прежнему складывались у печки дрова, чтобы Нонна могла

протопить перед сном. Никаких других отношений не было.

«Так лучше, — думала Нонна, — без излияний и упреков». Квартирную плату она оставляла на письменном столе; на деньги клала бумажку с надписью: за такой-то месяц. Деньги исчезали вместе с бумажкой. Платила Нонна аккуратно: Веденеевы любили порядок.

У нее не было времени раздумывать обо всем этом. Иногда некогда было даже прочесть письмо Андрея. Письма лежали по нескольку дней, пока она выкраивала для них четверть часа. И уж, разумеется, она не могла писать ему часто и помногу…

В те годы сместились обычные понятия о рабочих часах, об отдыхе, о служебных обязанностях. Сутки не делились на часы, ночь была не для сна. Силы людей удесятерились, и все жили известиями с фронтов, в великом напряжении ожидая неизбежного перелома событий. И Нонна, как другие инженеры, работала на сборке и отгребала снег на путях и, как все, не видела в этом подвига, а видела только необходимость. Конвейер и снегоочистка — это было по вечерам, а днем она была конструктором, и начальством ее был не кто-нибудь, а Владимир Ипполитович, который

удивительно до чего умел выматывать жилы из людей… Были времена, когда Нонна почти не отходила от чертежного стола, у нее затекали ноги, горели шейные позвонки…

Во вторую военную зиму она получила задание усовершенствовать сепаратор, применяемый для очистки горючих масел. При существовавшей конструкции очистка производилась в три цикла; трижды приходилось пропускать горючее через аппарат, пока получали нужные результаты. Необходимо было сократить обработку до двух циклов. Нонна просидела над этой работой больше месяца. Проба за пробой оказывались неудовлетворительными: задача была не из легких. Наконец Нонна решила ее.

Поздно ночью она закончила последний чертеж. И в ту же ночь страна услышала по радио о сталинградской победе. Гора свалилась с плеч.

Как ни устала Нонна, она не ушла с завода: не то было настроение, чтобы сидеть дома. Ушла только на другой день, часов в пять.

Был тихий мороз, заря догорала, высоко лежали пуховые снега. Нонна шла, не чувствуя усталости, а только радость: от победы под Сталинградом радость и от своей маленькой победы радость. Две радости дополняли одна другую. Было очень

хорошо на душе.

Около дома она увидела маленького Никитку. Он стоял с салазками, вид у него был нерешительный, словно он размышлял: идти кататься или вернуться домой.

— Ну что, Никитка? — спросила Нонна весело и, вынув руку из муфточки, мимоходом погладила мальчика по щеке. — Ну что, дорогой? Иди катайся, смотри, какой снег!

Он поднял на нее недоумевающие глаза и сказал:

— Дядю Андрюшу убили.

Сняв пальто, она спустилась к Веденеевым.

Полтора года она не входила в эту дверь, за которой ее когда-то так нетерпеливо ждали.

Она постучалась.

— Войдите, — послышался голос старика Веденеева.

В знакомой комнате в прежнем порядке стояла мебель, и на обычном своем месте сидел Никита Трофимыч. Лампа не была зажжена, плечи и голова старика силуэтом выделялись на сумеречном фоне окна. Догорала за плечом узкая коричневая полоска зари. Тонко шелестела бумажка — Никита Трофимыч скручивал папиросу. Нонна стояла у двери и ждала, пока он скрутит папиросу.

— Заходите, прошу вас, — сказал он и закурил.

Нонна подошла.

— Я узнала о вашем горе, — сказала она и испугалась: все слова звучали сейчас фальшиво в этой комнате.

Лучше молчать.

— Садитесь, прошу вас, — с сухой вежливостью сказал Веденеев и придвинул Нонне стул.

Она села. Папироса в губах Веденеева прерывисто вспыхивала, освещала нахмуренное, в каменных складках лицо.

— Да, горе, — с хрипотой сказал Веденеев. — Как же не горе, когда уничтожается… — Он не сказал, что уничтожается. — Двадцать восемь лет. Ведь это что ж…

Папироса выпала из мундштука, рассыпалась по полу искрами. Он нагнулся поднимать ее и долго шарил по полу, пальцами туша искры и ища окурок.

Из задних комнат вышла женская фигура, постояла, спросила мужским голосом:

— Свет зажечь?

— Здоровайся, — сказал Веденеев, не отвечая на вопрос. — Нонна Сергеевна у нас.

Мариамна подошла — лица ее Нонна не видела — и сказала:

— Здравствуйте.

— Она! — тонко закричал Веденеев, указывая на Мариамну вытянутой рукой, и в сумраке было видно, как дрожит эта рука. — Она! Весь груз моего вдовства приняла на себя! Детей моих, сирот, пожалела и служила им всю жизнь, как родная мать, — на том и состарится, с тем и в гроб ляжет!.. Вы! образованные, в мужеских пиджаках, — вы ведь на такую бабу с высоты своей взираете, вы ее за самое бесполезное почитаете, за самое низменное, — вот вы как! вот вы как!.. А не подумаете, что она, не присевши, весь день по дому топчется, чтобы рабочему человеку существовать на высоте! Вы не знаете, что значит, когда трое детей за юбку держатся: тому нос утереть, того к доктору своди, тот штаны разорвал; и всех накорми, обшей, обмой!.. Свои дети — и то трудно, а когда чужие? У святой, я думаю, и то иной раз душа воспротивится: чего это я, — другая зачала, другая родила, а я им себя по кровинке отдавай! Да вам разве это понять! Вы это ни во что не ставите… А я вам скажу, что для меня она — первая из женщин. Потому что она моих сирот на своем горбу вынесла, все им отдала!.. Вы знаете, что она своих детей отказалась иметь — боялась из-за своего ребенка чужим детям мачехой стать?! (Мариамна

стояла без движения у печи, прислонясь спиной к изразцам.) Она ничего не требует: ни спасибо, никакой другой награды! Но я, по сути дела, обязан вечно ей ноги мыть — за Марью, за Павла и за Андрю… Андрюшу… покойного сына моего!

Он уронил голову и зарыдал лающим рыданьем.

Женщины не шевелились, дыхания их не было слышно. Уже совсем стемнело. Полоска заката погасла за окном. Мариамна отделилась от печи, подошла, стала за спиной старика.

— Поди ляжь, — сказала она тихо, с такой мягкостью, какой не ждала от нее Нонна. — Ляжь. Что сделаешь…

— Она его не жалеет! — прокричал Веденеев, поворачиваясь к Мариамне. — Думаешь, потому пришла, что жалеет? От хорошего воспитания пришла! Полагается прийти, она и пришла! У нее для него и слезы нету! А он только ее одну и признавал…

Нонна встала и ушла к себе наверх.

У нее тоже было темно. Она прилегла на кровать, свесив ноги в туфлях, чтобы не пачкать покрывало. Она почувствовала себя разбитой. Не было даже сил нагнуться, чтобы расстегнуть туфли.

Тишина была в доме. Нонна неподвижно смотрела перед собой, и перед нею вдруг встало лицо Андрея. «Жизнь — благородное, вольно растущее дерево; незачем вешать на него елочные игрушки, оно и так прекрасно…» Она услышала этот молодой голос, забытые слова всплыли из памяти сами собой…

Она заплакала. Она плакала не о нем. О благородных жизнях, отданных за прекрасное?.. О стариках, убитых скорбью?.. О том, что в мире так много печали, когда должна быть только радость?.. Или о том, что большая любовь, которой она была окружена, как воздухом, которую она чувствовала даже на расстоянии, — что эта любовь ушла навсегда, и пусто сердцу, и одиноко?..

Обо всем.

Глава десятая
День рождения Нонны

Продолжение

Это было и прошло. «Что прошло, то быльем поросло». «Что пройдет, то будет мило». Не все бывает мило. Есть дни, на которые и оглянуться не хочется: живешь, и сам перед собой делаешь вид, что не было у тебя этих дней…

Была девочка с аномалией — так ее называли в семье. Мальчики строят модели, а девочки играют в куклы и занимаются рукоделием. Эта девочка строила модели. Собственно, строили соседские мальчишки, а она командовала: сделаем то, сделаем это. По всей квартире валялись куски железа и проволоки. Соорудили светофор и поставили на окно: когда отец был дома, на светофоре горела красная лампочка. Построили мост, который разводился, как настоящий. Маша велела убрать его с рояля и вынести в переднюю. Сестра Соня споткнулась о мост, разорвала шелковый чулок и в сердцах вышвырнула проклятую игрушку на черную лестницу. Нонна и мальчишки издевались над Соней: психопатка. Подумаешь,

чулок, велика важность. Захотим — построим десять таких мостов…

Детство было как детство: папа, мама, школа, летом дача, зимой коньки. Жили у Тверской, которая тогда еще не была переименована в улицу Горького, в тихом переулке. На Тверской было людно, по вечерам — свет, сияющие витрины, а в переулке — провинция: старые дома, прохожих мало, голубой снежок, зорька малиновая, как леденец, за ветхой церквушкой… Москва была — родной дом. Все было известно: что у Мясницких ворот заложили шахту для постройки метрополитена, что на Трубной вздорожали снегири, что Москвин заболел и неизвестно — пойдет во вторник «На дне» или что-нибудь другое…

О, чистые сны; о, горны и красные галстучки; о, старый дом в переулке с ветхой церквушкой!..

В пятнадцать лет вдруг стало ясно, что техника ерунда. И снегири ерунда, и горны, и спорт. Есть только одно дело, достойное того, чтобы о нем думать: любовь. Сладчайшие и горчайшие стихи написаны о любви. Откроешь книгу — в ней любовь, пойдешь в театр — говорят о любви, поют о любви, танцуют любовь. Ленский погиб от любви, Онегин страдал от любви, Демон убил Тамару смертельным ядом своего лобзанья, Отел-

ло задушил Дездемону, Анна Каренина бросилась под поезд… И что такое любовь?! «Ветерок, шелестящий в розах, нет — золотое свечение крови…» Суламифь, Изольда, Джульетта, леди Гамильтон, Айседора Дункан… Тысячелетия назад как сегодня, и сегодня — как тысячелетия назад…

Любовь явилась раньше, чем предмет любви.

Когда никого не было дома, Нонна смотрелась в зеркало. Она могла смотреть часами: вот ее глаза; вот ее губы; вот она улыбнулась; вот закинула руки за голову и опустила ресницы…

Она была красива. Она это не столько видела, сколько чувствовала каждой клеточкой своего тела: я красивая! Любить меня — радость и счастье!.. Но все, все это пропадало зря: мальчики, которые таскали в дом проволоку и гвозди, а теперь смотрят издали с почтительным недоверием, — это не объекты для той любви, о которой пишут в романах…

Было лето. На Пушкинской площади продавали цветы, спрыснутые водой. Площадь пахла горячим асфальтом, бензином и цветами. На Тверском бульваре шептались парочки. Любовь была в шепотах, в запахах, в каждом бутоне. И к первому человеку, который этого захотел, девчонка бросилась безудержно, закрыв глаза и не

думая ни о чем.

Она опомнилась, как после тяжелого угара. Так же было тошно, и не собраться с мыслями, и не смотрела бы ни на что. Это — любовь? «Ветерок, шелестящий в розах…» О, низость!..

Неужели все кругом лжет: и книги, и музыка, и человеческие глаза, и человеческие голоса — все только маска, а под маской — животное, зоологическая особь?..

Не может быть! Ведь вот и она — униженная, дрожащая от омерзенья к себе — все-таки чувствует: она — человек! Человек, а не зоологическая особь! Дороговато заплачено за это сознание; другим оно обходится дешевле… Ну, что сделано, то сделано; впредь не повторится. Она мыслящее существо прежде всего, прежде всего! Она докажет это!..

— Девочка, — говорила мама, — когда это кончится? Когда ты войдешь в колею? Все крайности, аномалии; это становится утомительным…

А Нонна на все смотрела отсутствующими глазами… Это было летом, а осенью — совершенно другая картина: она зарылась в книги. Попросила папу заниматься с нею немецким языком. В театр не выгонишь: вдруг охладела и к Большому, и к Художественному, и к кумиру своему — Алисе

Коонен. Даже на «Адриенну» отказалась пойти, когда однажды собрались всей семьей… Похудела, побледнела — мама боялась за ее легкие…

Человек, с которым сошлась Нонна, был не первой юности. Позер, краснобай, он привык быть баловнем женщин. Многих он оставил, не заботясь о том, как это отразится на их судьбе. Он был озадачен и оскорблен тем, что его прогнала девчонка, — и когда прогнала: на самой заре их отношений! «Я вас видеть не хочу, — сказала эта сумасшедшая дура, когда он пришел к ним в дом, — сделайте, пожалуйста, так, чтобы я вас больше не видела, иначе я скажу папе». Папа был начальством этого человека, и человек не захотел поднимать историю. Он проглотил обиду и возмущение и сделал так, что Нонна его больше не видела.

…Не все, что пройдет, будет мило. Как горькая муть, лежит иное воспоминание на дне души. И холод от него, и отвращение.

С тех пор прошло четырнадцать лет. Она — конструктор большого станкостроительного завода. Она ничего не растеряла за это время — ни сил, ни молодости; как в сказке — сколько она ни отдавала, у нее не становилось меньше. Напротив: с каждым днем она богаче, у нее растет

уверенность в себе. Война навсегда закрепила эту уверенность.

Война также приучила Нонну мыслить шире, в больших масштабах: приходилось думать о громадных территориях, громадных материальных ценностях, о судьбах народов. Ничто не измерялось грошами, счет шел на миллионы и миллиарды, чего бы это ни коснулось. В какой-то степени по направлению мыслей они все стали государственными людьми…

Великолепно, когда имеешь возможность бесстрашно смотреть в свой завтрашний день и в завтрашний день твоей страны. Отсюда другое великолепное ощущение — независимости: с кем хочу — я ласкова и приветлива; не понравился ты мне — приму пренебрежительное выражение, замкнусь от тебя — и думай обо мне что хочешь; подлаживаться к тебе не стану: на каждого не угодишь.

Главный конструктор порядочно поиздевался над нею. Ведь это издевательство, что он приковал их, конструкторов, к своей персоне и заставил работать у него дома. Дурацкий каприз. Совершенно прав председатель завкома, который, говорят, с пеной у рта выступал на партийном активе против этого безобразного нововведения.

Мог сам работать дома, а с ними сноситься по телефону; так некоторые и делают. А они бы работали в заводоуправлении. Раз в две-три недели приезжал бы проконсультировать их. Они конструкторы, а не сапожные подмастерья. Восемь месяцев они были на положении сапожных подмастерий. Было противно и унизительно звонить у этой двери, обитой толстым серым войлоком. А сколько раз в течение дня им приходилось бегать на завод. То в измерительную лабораторию, то на испытательную станцию, то вызывали в цех…

Нонна вытерпела все это до конца, потому что иначе ей пришлось бы уйти из отдела. Никто не защитил бы ее от гнева главного конструктора: директор, посмеиваясь, всегда оправдывал его, парторг не вмешивался, председатель завкома — что же, один в поле не воин… Ей пришлось бы уйти, и она бы потеряла превосходного учителя. И она терпела, и даже ездила с ним на завод в идиотской роли не то адъютанта, не то няньки при больном младенце. Но она делала это не из страха перед ним. Никогда она не заискивала. Ни малейшей не сделала попытки установить более тесное трудовое содружество, хотя иногда ей казалось, что он ждет этого от нее. Дерзости его выслушивала не моргнув глазом. Когда дру-

гие работники отдела жаловались на него, она пожимала плечами: милый мой! на то вам даны голова и язык, чтобы вы постояли за себя.

Хорошо, что он уехал. Жалко, конечно, — надо понимать: пятьдесят пять лет был человек на производстве, и вдруг — курортный городишко, безделье… но хорошо, что нет его. Голова яснее, решения смелее приходят, когда нет над тобой этого ежечасного мелкого контроля…

Он сужал их горизонты, в этом была его ошибка как руководителя; в этом проявилась старость. Как он срезал ее, когда она пришла к нему с тракторными деталями. Он считал, что они художники и больше ничего. А она по-другому понимала свои задачи.

Еще не поздно поставить этот вопрос. Завод переживает странные дни. Как в военное время, планы из наркомата спускаются ежемесячно: столько-то таких-то станков, столько-то таких… Планы пока небольшие. Исчез накал, который вынуждает работника постоянно держать себя в струне. Не те ритмы. Пятилетний план давал почти физическое чувство достижения: еще усилие, еще, еще — осталось несколько шагов, остался один шаг — и вот финиш, цель достигнута! И с нового старта начинался дальнейший стреми-

тельный бег…

В отпуск пока пойти, что ли. Но еще не дают отпусков. Рабочую силу придерживают, хотя ее сейчас явный избыток на заводе. Цех Грушевого работает случайные мелкие изделия. Ощущение ожидания во всем и у всех…

Ремонтируют оборудование, начали реконструировать литейные цеха по проекту начальника отдела механизации Чекалдина. Нажали на техническую учебу. Между рабочими высших разрядов проводят соревнование на звание лучшего по профессии… Ожидание во всем.

Директор ездил в Москву — приехал, видимо, ни с чем. Интересно, что они там говорят между собой по этому вопросу, большие начальники.

Она решила обратиться к директору. Он здесь самый крупный человек, пусть поднимет вопрос от своего имени: он, по-видимому, смертельно самолюбив. Она подарит ему свою инициативу, ей это, как говорится, ни копейки не стоит: ее честолюбие в другом.

Он неплохой организатор. Живо отзывается на все новое, смело выдвигает людей. Рабочие говорят о нем с симпатией. Он для них свой парень, несмотря на пышный чин генерал-майора инженерно-артиллерийской службы. Как

спокойно, по-домашнему шел он тогда рядом с деревенской женщиной в платочке! Это была его мать, сказали Нонне. Он показывал ей завод. Он почти постоянно на заводе, ходит из цеха в цех; на ходу всей пятерней отмахивает назад густые невьющиеся волосы. Воспитан неважно: часто не здоровается. Но душевной грубости в нем, кажется, нет. Однажды она видела, как он сидел на корточках — это очень смешно, когда такой большой человек сидит на корточках! — и, держась за свои колени, рассматривал что-то в механизме автомата «New-Britain». У него было выражение ребенка, изучающего новую игрушку…

Вчера она позвонила его секретарше: может ли директор ее принять? Секретарша передала: сегодня директор принять не может, едет на бюро горкома; пожалуйста, завтра в два часа, если вам удобно. Секретарша у него обаятельная.

В четверть второго Нонна вышла из дому. Без трех минут два вошла в преддверие директорского кабинета. Анна Ивановна, седая, румяная, с усиками, встретила ее доброжелательно:

— Присаживайтесь, Нонна Сергеевна.

Она исчезла в дверях кабинета и сейчас же вернулась.

— Пожалуйста…

Анна Ивановна сообщала директорскому святилищу в высшей степени респектабельный тон.

Листопад сидел и читал газету. Он не тотчас поднял голову, когда Нонна вошла, а несколько секунд еще дочитывал какую-то статью. Он встал, когда Нонна уже была у самого стола, и отодвинул газету с видом сожаления. Под пиджаком у него была надета косоворотка; верхняя пуговка косоворотки расстегнута. Все это выглядело совсем не респектабельно.

— Садитесь, товарищ Ельникова.

Мог бы назвать по имени-отчеству. Все на заводе зовут ее Нонна Сергеевна.

— Что скажете хорошенького?

— Я по поводу наших производственных перспектив.

Он смотрел на нее с прежним безразличием. И эта туда же. Господи боже мой, сколько за последнее время в эту комнату приходило людей «по поводу наших производственных перспектив»! У каждого свои планы; каждый защищает свою излюбленную продукцию. Один спит и во сне видит экскаваторы. Другой, любитель изящного, носится с настольными станками. Третьего с чего-то позывает на пластмассовые изделия: по линии ширпотреба выпускать мыльницы

и чашки, используя для этого освободившийся цех Грушевого. Может, эта дама тоже пришла с мыльницами?

— Цех Грушевого сейчас используется бессистемно. Мы просто передаем туда детали, не требующие особенной квалификации.

Скажи на милость: «мы». Мы передаем…

— Цех не имеет профиля. Он будет его иметь, если за ним закрепить какой-то вид продукции. Это имеет значение и для лица завода в целом.

Чего она меня учит? Что, я без нее этого не знаю? Уселась и учит.

— Мне кажется, что самое рациональное — перевести цех Грушевого на тракторные части.

Его взгляд оживился: а, лукавая баба, что выдумала! Такое выдумала, что не знаешь, как ей и отвечать.

— Мы ведь и сейчас выполняем заказы на запасные части к тракторам, — сказал он небрежно.

Она покачала головой:

— Вы понимаете, о чем я говорю: о том, чтобы запчасти стали у нас не случайной, а постоянной номенклатурной продукцией.

Тряся коленкой, Листопад молчал. Есть вещи, которые неловко говорить вслух. Неудобно партийцу-производственнику взять и брякнуть:

«Что вы ко мне с мелочью лезете». О мыльницах он мог бы так сказать, а о запчастях язык не поворачивается: лучше, чем любой другой инженер на заводе, он, мужик, понимает, что значат для послевоенного советского хозяйства тракторные части… Но, с другой стороны, почему этой неимпозантной продукцией должен заниматься именно его завод? Может, ее закрепят за другими предприятиями, а его сия чаша минует, дал бы бог. А он бы выпускал машины, имеющие решающее значение в предстоящем грандиозном строительстве послевоенных лет: станки, экскаваторы, мотопилы (вот когда мотопила Владимира Ипполитовича выходит в королевы!).

Нонна продолжала хладнокровно: именно сейчас можно переоборудовать цех Грушевого для выпуска тракторных деталей. Есть и время, и люди. Все заказы по запчастям сосредоточить у Грушевого — это очень легко сделать, если обеспечить соответствующую технику.

— А с Грушевым вы на эту тему говорили?

— Говорила.

— А он что?

— Ну, конечно, слышать не хочет. Разве вы не знаете, как у нас относятся к запчастям. Я могла бы не беспокоить вас, а протолкнуть свой проект

через организации. Но для этого нужно особое прилежание; у меня не хватит терпения.

Хватит терпения. Вон у тебя какая повадка. Ты за свое будешь драться до последнего.

— Если мне удастся вас убедить, пожалуйста, не упоминайте нигде, что это исходит от меня: чего доброго, мне придется все это тянуть как инициатору.

Покупаешь. Предлагаешь мне в подарок твою инициативу, ужасно она мне нужна, всю жизнь мечтал… Постой, вот я сейчас тебе отплачу.

— Ну, а как же! — сказал Листопад благодушно. — Как же иначе! Конечно, вы, как инициатор, должны играть главную роль! Мы их все тогда по конструкторской линии вам и передадим, тракторные части…

Получай за свой проект!

— Нет, — сказала она, — я на тракторные детали не пойду. Немного, по совместительству, — пожалуйста. Но исключительно на запчасти — нет. Это не входит в мои планы.

— А почему? — спросил он все тем же ласковым голосом. — Хорошее дело, вам под него целый цех отдать не жалко… Чего ж не хотите?

Они пристально взглянули друг другу в глаза и улыбнулись оба. Как-то вдруг этим взглядом они

заглянули друг в друга, и каждый увидел другого по-новому.

— Я конструктор машин, — сказала она. — Нерационально использовать меня на запасных частях.

Пусть ему будет известно, что она знает себе цену.

«Откровенно! — подумал Листопад. — Я давно знал, что тут самомнения ой-ой сколько! Я таки умею читать в человеческих душах».

Зазвонил внутренний телефон. Он взял трубку и крикнул: «Что надо? Через полчаса: я занят...» Нонна встала.

— Я все сказала. Остальное — дело дирекции. Видите ли, — сказала она, надевая перчатку, — нельзя принимать во внимание только громкое имя завода. Приходится в первую очередь думать о потребностях государства. Вы знаете, в каком состоянии находится наш тракторный парк после войны...

Она ушла. Она сказала на прощание несколько сухих, общих слов. Но он задумался над ними. Подумал о бескрайних родных просторах, опустошенных войной, о сожженных житницах, разоренных колхозах... «Вот такими слезами жинки плакали, а пришлось пахать на коро-

вах», — вспомнил он тихий голос матери… То, что предлагает эта женщина, — настоящее дело, партийное дело! Да, а сама небось не хочет переходить на запчасти! Так и изложила, без лишней скромности: я, дескать, создана для крупных достижений, мелочью пусть занимается кто-нибудь другой… Нет, это нечестно! Если болеешь за что, так уж потрудись болеть до конца, иначе у меня в тебя веры нет!.. Ему вдруг захотелось — он уже сделал движение — догнать ее, вернуть сюда, поспорить по-настоящему, начистоту, не выбирая слов… Но он одумался: еще чего! Сейчас Рябухин придет на разговор.

Запершись на английский замок, Рябухин долго разговаривал с Уздечкиным.

— Нет, этого я не понимаю, — говорил он. — Тебе личная неприязнь застит глаза.

— Да личная неприязнь ведь на чем-то базируется? — возразил Уздечкин.

— Ангелов не бывает.

— Он индивидуалист.

— Нет, не индивидуалист. Неправильно его понимаешь. Он хороший человек, — сказал Рябухин.

— Ну и целуйся со своим хорошим человеком, — сказал Уздечкин.

— Ценный человек. Человек для жизни, для созидания. И надо ради больших душевных качеств прощать людям мелкие недостатки.

— Это у него мелкие недостатки? — поднял угрюмые глаза Уздечкин.

— Правда твоя: у него мелкого ничего нету. Ну, такому можно простить и крупные недостатки и жить с ним в мире.

— Я тут на заводе вырос, — сказал Уздечкин сдавленным голосом, — меня старые рабочие вот таким мальчонкой помнят. Я мимо новых домов иду и вспоминаю, что было на месте каждого из них. Пионером тут бегал, и в комсомол тут вступал, и в партию. И является, понимаешь, новый человек, ставит себя выше всех. Явился и отпихнул: туда не лезь, этого не касайся, это не твое дело… И от зазнайства, от самомнения совершает ошибки, за которые многие платятся. Вот ты посмотришь, чем кончится история с огородами.

— А чем она кончится? Картошку убирать начали, возят в хранилища.

— Да кто убирает? Те же рабочие. Никаких пленных ему, конечно, не дали, все фантазия. Окучивали кое-как, некому было; картошка дрянь, мелкая. Хорошо еще, подоспело мирное положение, оказались свободные руки для убор-

ки, а если бы иначе?.. Ох и сел бы директор со своей тысячей га! Ох и сел бы!..

Рябухин слушает и смотрит на собеседника: лицо у Уздечкина желтое, виски запали…

— Федор Иваныч, — говорит Рябухин тихо, — что, дома у тебя больно плохо? Выглядишь ты паршиво…

Уздечкин краснеет.

— Людям до всего дело, — недовольно говорит он.

— Подожди, подожди. Послушай. Спрашиваю как товарищ: что тебе нужно, как тебя облегчить, ты скажи…

— Ничего мне не нужно. Живу и живу. — Уздечкин со стулом отодвигается от Рябухина, резко встает. — Всё?..

— Что такое! — говорит Листопад, послушав Рябухина. — А вы не можете оставить меня в покое с вашим Уздечкиным? Можете? Ну, что ты клохчешь, как квочка? Что я, работать ему мешаю? Ты мне лучше вот что скажи, как ты смотришь на такую вещь: если мы бывший литерный цех полностью переведем на запасные части для тракторов? — Рябухин удивился, открыл было рот что-то сказать… — Постой. Все это известно. Ты сперва послушай…

И начал говорить то, о чем думал перед приходом Рябухина: о бескрайних родных просторах, опустошенных войной, о сожженных житницах, разоренных колхозах…

А Нонна, придя домой, затопила печку. Она любила топить печку и всегда топила сама. Сначала она взяла тонкие светлые лучинки и подожгла их; они загорелись нежным беглым огнем. Потом положила несколько сухих полешек. Стоя на коленях перед печкой, она смотрела, как разгораются полешки, как летят легкие искры… Когда разгорится как следует, она положит вот эти толстые бруски, сырые бруски с корой и мохом, которые горят долго и глухо, синим угарным огнем. Ничего, что сырые, — это береза, она и сырая горит хорошо. Груда золотого жара остается после нее; нельзя сразу закрывать вьюшки, а то можно угореть насмерть. До чего приятно в осенний день в чистой комнате затопить печку!

Нонна встала с колен, включила репродуктор — был час музыки — и села к столу: надо же кончить с письмами… Два-три аккорда, знакомых с детства, донеслись из черной трубы, и далеко-далеко, в родной Москве, запел знакомый тенор: «Во поле березонька стояла. Во поле кудрявая стояла…» Человек, который пел, еще недавно был

безвестен; он был простой человек, красноармеец, солдат; Нонна сначала слушала его по радио и полюбила его пение больше всякого другого, а потом уже, когда он стал знаменит, узнала его имя. Русский жар, и русская тоска, и русское раздолье были в голосе и в песне… Нонна обмакнула перо, положила на стол — на незаконченном письме растеклось чернильное пятно… «Некому березу заломати! Некому кудряву защипати!» — тоскливо заливался сладостный голос далеко-далеко в Москве… Нонна сидела и вспоминала человека, с которым разговаривала два часа назад. Большого, неважно воспитанного, немножко наивного человека. Она думала о том, что через сколько-то времени они будут вместе, она и он. Они непременно будут вместе. Она узнала это в тот момент, когда они поглядели друг другу в глаза.

Глава одиннадцатая
Воскресенье

— Люди добрые, что делается! — сказала Марийка, вбежав в свою кухню. — Федор Иваныч из последних сил стирает белье. Старухино ситцевое платье вкинул в корыто вместе со своими кальсонами. Из кальсон теперь зеленая вода хлещет, он их отжимает, довел до салатного цвета — больше, говорит, ничего поделать не могу; так и присужден в зеленых кальсонах ходить. Я говорю: ты их вывари. Говорит: не в чем. А у них был бачок, Нюра покупала. Это Толька забрал, холера, — он конфеты жрет, а Федор Иваныч, изволь радоваться, в Анны-Иваннином корыте стирает, и бачка в доме нет…

Марийка схватила свой бачок для кипячения белья и убежала. Было утро воскресенья, выходного дня. В кухне топилась плита, на ней в больших и малых кастрюлях варился обед. Мирзоев брился у кухонного столика. Задрав намыленный подбородок, не отрываясь от своего занятия, он скосил глаза на Лукашина, который над раковиной чистил свою вставную челюсть.

Лукашин, сжав запавшие губы, взглянул на Мирзоева. Мужчины поняли друг друга. Мирзоев сказал, вздохнув:

— Тяжелое зрелище, когда видный человек принужден погрязать в мелочах быта…

Он кончил бриться, проворно убрал со стола бритвенный прибор и остановился перед Лукашиным — статный, ловкий, в новых красивых подтяжках.

— Беда! — сказал он весело. — Проведаем, сосед, Уздечкина, а?

Лукашин обмыл челюсть под краном и, стыдливо отвернувшись, вставил ее в рот. Дар речи вернулся к нему.

— Можно, — сказал он.

— Вечерком, — сказал Мирзоев.

Лукашин подумал: вечером они с Марийкой уговорились идти в кино… Но тут же он решил, что Марийку баловать не стоит. В кои веки есть возможность целый день провести вместе с мужем, а она убежала к Уздечкину. А в пятницу или, кажется, в четверг она на всю лестницу расхваливала зубы Мирзоева…

— Сходим, — сказал Лукашин Мирзоеву. — Развлечем человека.

Уздечкин трудился над корытом с раннего

утра.

Уже не было ничего чистого, чтобы сменить. В прачечной стирали долго, и надо было платить, а денег у Уздечкина, вследствие одного несчастного случая, совсем не было. Решил стирать сам.

— Федя! — стонала Ольга Матвеевна. — Оставь, сынок, я поправлюсь — перестираю…

— Когда это будет! — буркнул Уздечкин.

В армии он нередко стирал на себя, и это не казалось ему трудным. Он храбро вытащил из чулана узел с грязным бельем. Из узла посыпались старушечьи кофты, детские платьишки, замазанные до черноты, детские лифчики, такие маленькие, что неизвестно как их держать в руках… Черт его знает. Как будто и носить нечего, а смотри-ка, целая куча барахла.

Попался под руку Толькин белый свитер и промасленный комбинезон, Уздечкин бросил их обратно в чулан: это пускай Толька сам стирает.

Оля стояла, прижав к животу кукольную кровать, и смотрела, как отец растапливает плиту.

— Я тоже буду стирать, — сказала она.

— Будешь, дочка, будешь, — сказал Уздечкин. — Лет через пяток будешь стирать.

Анна Ивановна в лиловой пижаме (не разберешь: юбка на женщине или штаны), с папиросой

в зубах, румяная со сна, вышла в кухню, когда Уздечкин намыливал белье в эмалированном тазике.

— Господи! — сказала она. — Разве в таком тазике выстираешь? Вы возьмите мое корыто, оно же там, в чулане, на самом виду стоит.

— Я не рискнул взять, не спросясь, — сказал Уздечкин.

— Подумаешь, драгоценность, — сказала она и сама принесла ему корыто.

Она выдвинула на середину кухни скамью, положила на скамью несколько поленьев, чтоб было повыше, а на поленья поставила корыто. Уздечкин не догадался ей помочь. Он стоял с мокрыми руками и думал, что, когда она поднимает тяжести и сгибается над кучей дров, выбирая поленья поровнее, забываются ее необыкновенные платья, и красные ногти, и непонятные разговоры по-английски с Таней, а видна рабочая женщина с широкими плечами, которая не погнушается никаким трудом…

— Ну, вот. По крайней мере вы все сразу теперь можете намочить, — сказала она и стала умываться под краном — плескать водой во все стороны, крепко обеими руками мылить уши и забавно полоскать горло, откидывая голову…

Уздечкин принял ее совет буквально: взял и вывалил в корыто разом все — белое и цветное. Спохватился, когда белье уже было перепачкано зеленой краской от старого крашеного платья Ольги Матвеевны. Тут и застала его Марийка, заскочившая узнать, что у соседей.

— Караул, батюшки мои, спасите! — сказала она, заглянув в корыто.

Она принесла бачок и стала вместе с Уздечкиным отжимать белье.

— Знала бы — переоделась бы, — сказала она, с сожалением глядя на свою праздничную розовую кофточку. — Погублю свой туалет, купишь мне новый, Федор Иваныч.

— Так вы идите, — сказал Уздечкин, смутившись. — Я сам. А то, в самом деле, испортите вещь…

— А что на нее, на ту вещь, молиться, что ли? — закричала Марийка.

— Ну конечно, здесь Марийка, — сказала Анна Ивановна, входя в кухню. — Где крик, там и Марийка. Угостите табаком, Федор Иваныч, у меня кончились папиросы.

Оля постояла немного в кухне, глядя на стирку, потом ей наскучило, она ушла.

У себя в комнате ей тоже показалось скучно:

Вали нет — ушла к девочке в гости; бабушка дремлет, на столе ничего хорошего — хлебные крошки, да солонка, да остатки овсяной каши на сковороде… Оля вздохнула и пошла к Анне Ивановне.

Там была только Таня, она стояла коленями на стуле, облокотившись на стол, и читала книгу. Черные ее косы лежали на белой скатерти по обе стороны книги. Таня подняла глаза, спросила рассеянно: «Это ты?» «Я», — ответила тонким голосом Оля, закрывая за собой дверь, как приказывала Анна Ивановна.

Таня больше не замечала ее, и Оля тихонько пошла по комнате, высматривая, нет ли чего нового. Было новое: на этажерке лежало большое красное яблоко. Особенно хорошо его было видно, если стать около качалки. Оля замерла около качалки, глядя на яблоко.

Таня дочитала книгу, закрыла ее, закрыла глаза и положила щеку на переплет. «Как закалялась сталь» — было написано на переплете. На щеках Тани, под ресницами, блестели слезы… Таня подняла голову и увидела близко от себя Олин профиль и светлый, чистый, серьезный глаз, вдохновенно устремленный на этажерку. Таня засмеялась и слезла со стула.

— Ты что? — спросила она.

Оля подняла к ней лицо и спросила:

— Для кого это яблоко?

Таня взяла гребень и стала расчесывать светлые прямые волосы Оли.

— Яблоко — для одной очень хорошей девочки, которая всех слушается…

— Всех? — переспросила Оля.

— …и никогда не капризничает.

— Совсем-совсем никогда? — переспросила Оля.

Взгляд ее стал печальным: ясно, что яблоко не для нее.

— Дурак мой маленький, — тоном Анны Ивановны сказала Таня, отрезала половину яблока и дала Оле.

— А эту половинку мы оставим для Вали, — сказала она.

Оля взяла яблоко обеими руками и поскорее пошла из комнаты, забыв кукольную кровать на качалке: Таня могла передумать и забрать яблоко обратно. Уже в коридоре Оля сообразила, что оставлять другую половину Вале несправедливо: может быть, Валя ест яблоки в гостях у девочки; конечно же, Таня должна была отдать Оле все яблоко. Оле стало так тяжело от человеческой

несправедливости, что она зарыдала. Никто не пришел на ее рыдания: в кухне кричала Марийка, ничего, кроме ее крика, не было слышно. Рыдая, Оля съела яблоко и еще долго потом плакала, размазывая по щекам слезы грязными кулачками. Наконец сказала:

— А может, там в гостях никаких яблок и нету.

И, высморкавшись в подол платья, пошла по квартире искать новых приключений.

У Тольки сегодня большой день: пришла его очередь на «Графа Монте-Кристо».

Принес эту книжку в бригаду Алешка Малыгин. Откуда достал такую — не сказал. Книжка была толстая, растрепанная, до того зачитана — ободраны не только поля, но и концы строк. Носил ее Алешка с величайшей бережностью завернутую в газету и перевязанную веревочкой. Он сказал, что если начнешь эту книгу читать, то уже не будешь ни спать, ни есть, пока не дочитаешь до конца, и что писатель, который сочинил это, — прямо-таки невозможный гений. Тотчас ребята стали записываться в очередь; чтобы установить очередь, тянули жребий. Те, которым достались последние номера, возмутились: они не соглашались ждать так долго. Чуть было не разодрались. Шум поднялся — рабочие, входившие в цех, за-

тыкали уши.

— Об чем базар? — спросил, подойдя, мастер Корольков.

Ему не ответили: и голоса-то его не услышали. Марийка пришла, и та не сумела перекричать ребят. Орали до тех пор, пока Вася Суриков не внес предложение: разделить книгу на три равные части, чтобы одновременно читали три человека. Один читает начало, другой — середину, третий конец; потом меняются между собой. Таким образом сроки прочтения сократятся в три раза.

— Триста процентов экономии во времени, — сказал Вася.

Алешка, жадина, сперва объявил, что не позволит такую ценную книгу делить на части. Но ему доказали, что это с его стороны глупость и больше ничего: у книги все равно нет корешка, она вся распадается на листочки. Тут же, на станине, разделили книгу. Перенумеровали части красным карандашом, упаковали каждую заботливо и вручили трем счастливцам, которым выпал жребий читать в первую очередь.

И вот на целый месяц заболела бригада! После бессонных ночей, проведенных за чтением, ребята приходили в цех бледные, изнуренные. И только и было разговоров, что о графе Мон-

те-Кристо. В книге не хватало многих листков, и некоторые читатели не могли уловить связи событий, но другие все поняли и с жаром давали объяснения непонимающим; а те слушали благоговейно… Слушали с жадностью и те, кто еще не читал.

Корольков пытался восстановить порядок. Саша Коневский провел воспитательную беседу. Рябухин разговаривал с ребятами, вызывали их к начальнику цеха — ничего не помогало. Заикнулись было о том, что книга для производства вредная и хорошо бы ее изъять совсем, — куда там!..

— Через наши трупы, — сказал маленький Вася Суриков: он еще не читал, его очередь была следующая.

В конце концов Корольков рассудил так: пускай переболеют, что поделаешь — эпидемия вроде скарлатины.

— Только давайте читайте проворнее, — сказал он. — На пять частей, что ли, ее поделите, будь она трижды проклята.

Если остаться на выходной день дома, то пошлют за хлебом, за керосином, в аптеку, Федор скажет: «Ну-ка, пошли дрова пилить», Валька и Олька будут реветь и приставать, мать будет

охать — никакого отдыха рабочему человеку.

И Толька, чуть проснувшись, удирает к Сережке, испытанному другу.

У Сережки не житье, а малина. Отец его живздоров, он теперь подполковник и служит в Таллине. Прислал письмо, чтобы мать приехала, посмотрела: если понравится — пусть переезжают всей семьей. Мать поехала в Таллин, а Сережка и Генька остались дома полными хозяевами. Жизнь!

Толька приносит «Графа Монте-Кристо», завернутого в газету. Сережка на электрической плитке варит манную кашу для Геньки. Он обещал матери, что будет заботиться о Геньке, и свято держит слово.

— Принес? — спрашивает он у Тольки.

— Принес. Кончай эту муру.

— Сейчас. Надо позавтракать.

Каша тяжело пыхтит, пузыри вздуваются на ней и лопаются с треском. Сережка сыплет в кашу сахар, размешивает и выключает плитку:

— Готово!

И облизывает ложку.

Генька на полу вырезывает фигуры из карточной колоды. Королей и валетов он уже вырезал, остались дамы. С дамами большая возня: надо

пририсовать каждой усы и бороду, иначе взвод будет неполный.

— Генька, завтракать! — говорит Сережка.

Генька лениво съедает несколько ложек и возвращается к картам. Кашу доедают Сережа и Толька. После каши они чувствуют себя недостаточно сытыми и едят кислую капусту с постным маслом. После капусты им хочется пить, они пьют сначала холодную воду из-под крана, а потом теплое кипяченое молоко.

— Я очень удачно устроился с молоком, — говорит Сережка. — Не надо ходить на рынок: молочница приносит мне на дом. Понимаешь, Геньке необходимо молоко.

— Сами пейте эту отраву, — говорит Генька, лежа на полу и орудуя ножницами, — а мне купите газированной воды с сиропом.

— Он страшно обнаглел за последнее время, — говорит Сережка. — Прямо не знаю, что с ним делать.

Толька достает деньги и говорит:

— Генька, а Генька! Пойди купи себе воды с сиропом. И мороженого.

— Мороженого близко нет, — говорит Генька, принимая деньги.

— Мороженое около рынка продают, — говорит

Сережка. — Знаешь, немного не доходя до рынка, там мороженщица всегда стоит. Только смотри, не попади под машину.

— Хорошо, — говорит Генька, одевается и уходит.

Толька и Сережка остаются одни в квартире. Толька разворачивает «Графа Монте-Кристо».

Лукашин сидел на диване и умирал от скуки и злости.

Комната была убрана по-воскресному: на столе богатая скатерть с разводами и в вазе свежие бумажные цветы — пышные розы и маки… Марийка это умела — создать уют. Вымыла полы, нарядилась в розовую кофточку, велела и Лукашину надеть праздничный костюм; он послушался, сбрил щетину с лица, вычистил ботинки и челюсть и теперь сидит, как дурак, один против вазы с цветами. А Марийка застряла у Уздечкина.

Он сидел и строил планы страшной мести: пожалуйста, будьте любезны, я вас не связываю. Но позвольте мне в таком случае и себя считать свободным человеком. Она придет, я ее встречу равнодушно и скажу: наконец-то ты, Марийка. Я тебя жду для серьезного разговора. Не сошлись мы с тобой, как хочешь, не сошлись. Неоснова-

тельный ты человек. Какая из тебя жена. Ставлю тебя в известность, что я сейчас же переезжаю к твоим старикам. И пожалуйста, без слез, Марийка. Достань мне, будь добра, мое белье, я не хотел без тебя копаться в комоде, теперь это уже не мой комод…

Тут Марийка зарыдает и станет уговаривать его остаться. Но он возьмет свои вещи и пойдет ночевать к Никите Трофимычу. С неделю придется там пожить… Нет, недели много: дня три. Каждый день после работы Марийка будет прибегать к нему в цех и молить, чтобы он вернулся. Два дня он будет неумолим, а на третий смягчится. Только он поставит жесткие условия: по чужим квартирам не бегать, если кому нужен бачок — пусть сами приходят за бачком… Второе условие — проявлять тактичность: если у твоего мужа вставная челюсть, то хвалить зубы холостого соседа — просто бессовестно. Скажете: мелочь, и нечего на нее так болезненно реагировать? Я бы посмотрел, как бы вы реагировали, будь у вас вставная челюсть…

Марийка прилетела, вся розовая, от нее пахло щелоком и теплом. Лукашин бросил короткий, пронзительный взгляд и увидел, что руки у нее красные, кожа разбухла от воды. «Стирала! —

ужалило его. — Стирала с Уздечкиным!»

— Семочка, мученик, страдалец, умираешь от голоду, и главное, в потемках, хоть бы свет зажег, — с порога пошла сыпать Марийка, бросаясь к буфету. — Сейчас все будет, щи на плите горячие, чуть не умер мой котик, но вообрази положение Уздечкина: руководящий работник — и живой души нет, чтобы позаботилась… — Марийка духом выбросила на стол тарелки, ложки, рюмки, вылетела в кухню, примчалась обратно, и не успел Лукашин приступить к объяснению, как уже сидел за столом, пил водку и ел пирог.

— Вообрази! — говорила Марийка, тараща добрые глаза. — Такое у него жалованье и снабжение хорошее — и не хватает на жизнь! Что значит мужчина: не умеет жить! Как хочешь, Сема, женщина в доме — это все…

Пирог был с картошкой и грибами. Картошку растила Марийка, грибы сушила Марийка. Лукашин ел и думал, что сегодня он уже не уйдет к Никите Трофимычу: момент для объяснения упущен, в другой раз как-нибудь. Марийка оскорбила его без злого умысла, по глупости. За глупость не следует наказывать так жестоко. Да и лень тащиться после сытного обеда на другой конец поселка, да еще с тяжелым сундуком…

Вошел Мирзоев.

— Приятного аппетита, — сказал он.

— Пирога не съешь ли? — спросила Марийка. — А водку, не взыщи, Сема выпил.

— У меня своя есть, вот, пожалуйста, — сказал Мирзоев и, потянув за горлышки из карманов, показал две бутылки. — Сосед! Уговор не забывать.

— Рано, — сказал Лукашин, жуя. — Попозже. После обеда надо отдохнуть.

— Что это вы затеваете? — спросила Марийка.

— Хотим проведать Федора Иваныча, — отвечал Мирзоев. — А то, понимаете, что у него за жизнь!

— А в кино?! — вскричала Марийка, гневно обернувшись к Лукашину.

— Никакого кино, — сказал Лукашин, очень довольный, что может тут же рассчитаться с Марийкой за ее дурное поведение. — Иди сама, если хочешь. Мы сегодня собираемся мужской компанией.

— Папа, — спрашивает Оля, — у нас правда была мама или же нет?

— Правда, — отвечает Уздечкин. — Была. Вон она, ты ведь знаешь.

Оля в рубашонке лежит на кроватке, а он стрижет ей ногти на ногах. Портрет Нюры висит на стене напротив: волосы, завитые «перманентом»,

феерически освещены, простенькие глаза под подбритыми бровями подняты с мечтательным выражением…

— Ты — как мама, — говорит Оля, у которой одна щека ушла в подушку, а другая как бы подпухла, и от этого маленькие губы тоже как бы припухли и сдвинулись с места. — Ты все для нас делаешь. Я маму не помню, я только тебя помню.

Это она говорит для того, чтобы подлизаться к нему.

— Я тебя люблю, — говорит она.

— Ты угомонишься или нет? — спрашивает Уздечкин. Он проводит рукой по ее теплой шелковой головке и хочет уйти.

— А конфету? — спрашивает Оля.

— Надоела ты мне, дочка! — говорит Уздечкин и приносит конфету.

Звонок. Пришли Мирзоев и Лукашин. У Мирзоева такой вид, словно он пришел на именины. Лукашин робко держится за его спиной.

— Мы к вам, сосед, — говорит Мирзоев. — Принимаете гостей?

Уздечкин ведет их в комнату. Он уверен, что они пришли по делу, с просьбой или жалобой.

— Добрый вечер, бабушка! — восторженно приветствует Мирзоев Ольгу Матвеевну. — Вы не

будете так любезны похлопотать насчет чайника? Знаете, после выпивки стакан горячего чая…

— Какая выпивка? — спрашивает Уздечкин, недоумевая. — Вы что, товарищи?

Лукашин пятится к двери…

— Я надеюсь, — говорит Мирзоев, прикладывая руку к сердцу, — что вы не примете за недостаток уважения или за что-нибудь другое и не побрезгуете нашей компанией.

— Я не пью, — говорит Уздечкин.

— Пьет даже чижик, — говорит Мирзоев, нежно касаясь его локтей. — Извиняюсь, конечно, я не в смысле сравнения. Вы понимаете! Мы с товарищем Лукашиным захотели выпить по случаю воскресенья, вдвоем как-то скучновато, я говорю — пойдем к соседу, может, он согласится составить нам компанию…

— Вы ошиблись, товарищи. Я не могу составить вам компанию.

Уздечкин говорит нерешительно. Ему бы и хотелось посидеть с людьми, но он боится: Мирзоев — шофер Листопада; вдруг Листопад потом скажет: «Председатель завкома пьянствует с моим шофером…»

Мирзоев в недоумении: как может человек не принять другого человека, который пришел с

открытой душой и со своей выпивкой?! Лукашин говорит уже из-за двери:

— Пошли.

— Федор Иваныч, — говорит Мирзоев, — вы шутите: почему нам не выпить немножко?

— Мне, товарищи, некогда, — говорит Уздечкин. — У меня еще работа есть.

Так красиво вошел Мирзоев — как теперь уходить?.. С какими словами?..

— Да что вы? — говорит он вяло. — Действительно, вам и отдохнуть некогда…

— Должность такая, — притворно улыбается Уздечкин.

— Действительно, — притворно улыбается Мирзоев. — Хлопотливая должность… Ну, так — так так. Всего лучшего, извините за беспокойство…

Домой вернулись молча.

— Вы что, обратно? — встретила их Марийка. — Не приняли вас?

— Некомпанейский человек, — сказал Мирзоев.

— Промахнулись мы с вами, — сказал Лукашин. — В самом деле, чего ради он будет с нами пить? Ну, сосед, так что из этого? Он же руководство все-таки; а мы люди небольшие… А водке

что же — пропадать?

— Нет, зачем же ей пропадать, — морщась, сказал Мирзоев, которому вовсе не хотелось пить. — Выпьем.

Они присели к Марийкиному столу и вдвоем, вздыхая, грустно распили водку.

Глава двенадцатая
Неприятности личные и служебные

Как-то, еще летом, к Уздечкину прибежал сборщик членских взносов из инструментального: схватило живот, доктор велел идти домой, кассир в банке, — возьми, ради бога, членские взносы, не хочу таскать с собой… Уздечкин взял деньги, чтобы передать кассиру, когда тот вернется: толстенная пачка, завернутая в бумагу, на бумаге карандашом написана сумма; с трудом влезла пачка в карман галифе… Сперва она ему мешала, он о ней помнил, а потом забыл. Он никогда не носил при себе профсоюзные деньги… В трамвае, в давке, он вспомнил о пачке, схватился за карман пусто.

Его прошиб пот… Толпа сжала его и вынесла из трамвая. Трамвай ушел, а Уздечкин стоял на углу и не мог собраться с мыслями.

Он очень торопился в город, а тут даже забыл, зачем приехал. Увидел сквер со скамейками, добрел до скамейки и присел.

Будет очень трудно вернуть эти деньги.

При его болезненной щепетильности ему и в

голову не пришло, что он должен заявить о пропаже, попросить ссуды, рассрочки… Украдены деньги, по рублям собранные у рабочих. Украдены из-за рассеянности его, Уздечкина.

Уздечкин встал со скамейки, вышел из сквера — ноги были как ватные — и пошел в ближайшую часовую мастерскую. Там он снял с руки часы и продал их. Потом заехал к старому знакомому, у которого водились деньги; тот повел его в сберкассу, взял с книжки две тысячи, дал Уздечкину. У старухи тещи, Ольги Матвеевны, были припрятаны четыреста рублей. Уздечкин и их взял. В кассе взаимопомощи взял. Как раз подоспела получка, он получил зарплату. Через три дня он полностью сдал кассиру сумму, полученную от сборщика. Кстати, сборщик болел и не справлялся о деньгах, все вышло тихо и незаметно. Но Уздечкин очутился весь в долгах. С тех пор три четверти его зарплаты уходило на покрытие долгов. Оставшейся четверти не хватало на самое необходимое, приходилось влезать все в новые и новые долги.

В день праздника победы над Японией Уздечкин жестоко обиделся на Листопада.

В тот вечер он поздно вернулся домой из Дома культуры. Первое, что он увидел, когда зажег

свет, была посылка, стоявшая на столе. Аккуратная посылка, упакованная в глянцевитую белую бумагу и перевязанная деликатным белым шнурком. За шнурок заткнута картонная карточка, на ней написано красивым почерком: «Федору Ивановичу Уздечкину» — и больше ничего.

От кого, что такое?

Он разбудил Ольгу Матвеевну:

— Это кто принес?

— Директорский шофер. От директора подарок к празднику…

До войны Листопад любил делать к праздникам небольшие подарки своим подчиненным. И теперь, после войны, он решил тряхнуть стариной: почему не оказать внимание людям, каждому приятно… Ничего особенного, просто набор лакомых вещей: немного фруктов, закуски, бутылка хорошего вина… Заместителям директора, начальникам цехов и милому другу Рябухину, сироте-холостяку, которому и праздника-то никто не устроит, разве что квартирная хозяйка угостит пельменями… Когда уже набросал список, мелькнула мысль: а почему бы не порадовать и Уздечкина? Пусть и Уздечкин получит порцию директорского внимания.

Развозил посылки Мирзоев. Это как раз для

Мирзоева было занятие, порхать из дома в дом этаким рождественским дедом и раздавать посылочки. Уздечкину Мирзоев занес посылку последнему, когда шел домой отдыхать от дневных трудов.

Уздечкин смотрел на посылку так, словно это была мина замедленного действия, и он не знал, когда она разорвется. Он пощупал сквозь бумагу: консервные жестянки, фрукты, бутылка… И вдруг страшная обида обожгла его. Он схватил посылку и бросился к Мирзоеву.

Долго не отворяли, наконец вышла сонная Марийка. Он спросил у нее:

— Мирзоев в какой комнате живет?

Мирзоев спал сном младенца и не проснулся, когда Уздечкин вошел в комнату и зажег электричество. Он только почмокал губами и нежно сказал что-то неразборчивое… Уздечкин тряс его за плечо минуты две, пока он открыл глаза.

— Слушай, — сказал Уздечкин, наклонясь к нему, — завтра — слышишь? завтра с утра отнесешь это обратно директору. Понял? Отнеси и отдай. Директору. Понял? С утра.

Мирзоев в рубашке сидел на кровати и туманно смотрел на тяжелый предмет, который положили ему на колени. Сначала он подумал, что это ему

снится: полдня возил подарки, вот и приснилось под этим впечатлением, что и к нему пришли и принесли подарок… Потом он разобрался, в чем дело, и сказал: «Хорошо, Федор Иваныч». Он добавил: «Будьте покойны», видя, что Уздечкин все не уходит и продолжает говорить то же самое. Но едва Уздечкин ушел, сон опять одолел Мирзоева: он повалился на подушку, дрыгнул ногой посылка свалилась на пол — и сладко заснул, не заботясь о том, кто же закроет дверь за Уздечкиным…

В сентябре все цеха дали продукцию сверх плана, кроме цеха Грушевого. У Грушевого все не клеится, заказы он сдает с опозданием. Уже ходит по заводу такой разговор, что Грушевой в мирных условиях не соответствует своему назначению.

Уздечкин первый произнес эту фразу: еще когда он сигнализировал относительно Грушевого! А Листопад по-прежнему относится к Грушевому с недопустимым либерализмом.

Легко быть хорошим начальником цеха, когда вокруг тебя все танцуют. Когда для тебя все в первую очередь — оборудование, кадры, материалы. Когда тебе и почет, и ордена, и надбавки к зарплате. Вот ты сейчас прояви-ка себя хорошим начальником. На мирной продукции. На невыигрышных заказах.

Уздечкин поставил на завком отчет профорганизатора бывшего литерного цеха и дал в протоколе суровую оценку Грушевому.

Уже две недели Толька ходил скучный.

Уехал Сережка! Мать приехала за Сережкой и Генькой и увезла их в Таллин, к отцу. Толька помогал им при посадке. Сережкина тетка приехала из деревни проводить сестру и племянников. Увидев Тольку, она сказала:

— Так и не остались у меня жить.

А Тольке даже на тетку грустно было смотреть: она стала воспоминанием, связанным с Сережкой…

Вот так жестокая судьба разрывает самую прекрасную дружбу: был около тебя золотой человек, на которого ты во всем мог положиться, — и нет его.

Очень пусто стало без Сережки. Обещали письма писать друг другу — что письма…

Дома становилось все хуже и хуже. Мать, правда, поднялась и стала заниматься хозяйством, но от этого было не легче. Она все что-то теряла и не могла найти: то ножик, которым она чистила картошку, то веник, то посудное полотенце. Стоило ей взяться за какую-нибудь вещь, как она ее теряла. Она подозрительно смотрела на Тольку

и спрашивала:

— Толька, ты ножика не брал?

И Федор — девчонки утащат его карандаш, или топор лежит не на месте — сейчас же к Тольке:

— Не ты взял?

«Чего им надо? — думал Толька. — Чего они ко мне привязываются? Я уже сколько времени ничего у них не брал. Как подружился с Сережкой, ничего не брал, а они привязываются».

И Толька приходил к печальному выводу, что замарать себя в глазах людей легко, а очистить — трудно.

И с деньгами стало у них очень плохо. Толька не мог понять почему. Один разговор — о долгах и займах…

Скука.

Анна Ивановна с Таней очень с ним стали ласковые. То комнату от него запирали, а теперь зовут, угощают: «Посиди, Толя. Скушай, Толя. Ты у нас читай, если хочешь». А чего он будет у них читать. У них своя жизнь, у него своя. Он лучше в юнгородок пойдет, к ребятам.

В юнгородке теперь хорошо! Все покрасили снаружи и внутри. Поставили новые печки, навезли дров — полный двор. Ребята топят сами, сколько душе угодно. У каждого теперь кровать, тумбоч-

ка, деревянный сундучок для вещей. В каждой комнате стоит большой стол, над ним лампа, кругом стулья. В двух домах, где были веранды, эти веранды утеплили и сделали спортивные залы. Девчонки в своем общежитии вовсе как царицы живут, даже занавески себе сшили и развесили на всех окнах. И цветы выставили.

Директор обещал ребятам, что будущим летом ко всем домам пристроят такие залы-веранды, а кругом посадят деревья и устроят цветники.

Ребятам нравятся их дома, и они по силе возможности стараются держать свое хозяйство в чистоте. Установили дежурство для уборки. К Международному юношескому дню так надраили полы — что твоя палуба. Директор прислал в этот день грузовик с подарками: каждому жителю юнгородка по кулечку с печеньем и конфетами, словно они дошколята, и всем вместе — библиотечку на пятьсот книг. Хороший дядька — директор…

И ребята хорошие есть в юнгородке, но кто из них может заменить Сережку? У кого найдет Толька такое всестороннее и глубокое знание жизни, такой широкий и ясный ум? С кем возможно такое взаимное понимание и симпатия, когда и молчать вдвоем — и то весело!

— Переходи к нам жить, Рыжов, — сказал беленький Вася Суриков, похожий на девочку. Он играл на гитаре и был главным коноводом в своей комнате. — У нас Петька Черемных скоро свою комнату получит, — к нему семья приезжает из деревни; сыпь к нам! А то посадят на шею какую-нибудь зануду…

Толька повел глазами: светло, тихо, играет радио, теплынь — можно в нижней рубашке сидеть… Никто ни к кому не пристает, всякий занят своим делом: Вася Суриков латает штаны, двое читают, двое играют в шашки. Толька вздохнул, ему захотелось остаться здесь, не возвращаться в постылую семью, где все огрызаются друг на друга…

— Адриан Адрианович, — сказал Толька мастеру Королькову, — похлопочите, чтобы меня приняли в юнгородок: там место освобождается.

Корольков был членом завкома и знал о родственных отношениях Тольки с Уздечкиным. Он посмотрел озадаченно.

— Ты же с семьей живешь.

— Я лучше буду отдельно жить, — сказал Толька.

— Чудило, — сказал Корольков. — Как же это можно — уходить от своих?

— Бывает, — сказал Толька, — что чужие лучше своих.

— Думай, что говоришь, — сказал Корольков. — Ты вот так ляпнешь иной раз, не подумав, а люди слушают. А Уздечкину неприятность.

— Думаете, Федор будет против? — сказал Толька. — Он обрадуется.

— Глупости, — сказал Корольков. — Не хочу слушать. Молодой еще срамить авторитетных работников. Уживаться надо! Когда и не так что-нибудь, стерпи, промолчи, уступи старшим… Ни о чем я хлопотать не буду. Со своими не уживаешься — в общежитии вовсе не уживешься. Иди.

Толька пришел домой с работы в отвратительном настроении. Дома были мать и Валя, которая теперь ходила в школу; Оля еще не возвращалась из детского сада. Мать не спросила у Тольки, не хочет ли он есть: Толька и сам о себе позаботится, а у них сейчас скудно… Она сказала тем боязливо-неприязненным, раздраженным тоном, каким всегда говорила с ним:

— Хоть бы переобулся. Мела-мела, а он грязищу в комнату тащит… Валенки обуй! Федя придет — заругает.

Для нее Федор был — Федя, а покойная Нюра была — Нюрочка, и их дети были — Валечка и

Олечка, а он, ее младший сын, был — Толька. Потому что Федя и Нюрочка ее кормили-поили, одевали и обували, она жила при них хозяйкой приличного дома. Толька же не давал ей ничего; а эта рабья душа отдавала свою привязанность не иначе как за плату.

Толька сердито моргнул, отошел к окну и стал спиной к матери. На улице было мокро, грязно. И выходить не хочется в такую погоду, а все-таки он сейчас переоденется — и айда из дому, в юнгородок или в кино, куда-нибудь, чтобы не сидеть тут с ними… Скорей бы снег! Так хорошо в валенках по снегу, легко. Надоела осень. Надоело это ненастное небо, черно-серое, взлохмаченное — не разберешь, где тучи, а где дым от заводских труб.

Захотелось курить. Мужским движением похлопав себя по карманам штанов, Толька достал папиросы и спички и стал закуривать. В это время в комнату вошел Уздечкин, вернувшийся с работы.

Он и прежде не раз видел, как Толька курит, и не обращал на это внимания. Но сегодня вид мальчишки, стоящего к нему спиной и закуривающего папиросу, вдруг привел его в бешенство. Он бросился к Тольке, схватил его за шиворот и потащил к двери:

— На улице кури, дрянной мальчишка!

— Что ты делаешь! — сквозь зубы говорил Толька, упираясь. — Что ты делаешь!..

— Федя! Толька! — жалобно закричала Ольга Матвеевна, привстав с места.

Она испугалась, что они подерутся.

Когда входная дверь захлопнулась за Толькой, а Уздечкин вернулся в комнату, она успокоилась: Федя, конечно, чересчур разволновался, но Тольке ничего не сделается. Покурит на улице, Федя прав, нечего в квартире дымить.

Наутро в кабинет Уздечкина пришел Рябухин.

— Федор Иваныч, нехорошая вещь получается, — тихо и серьезно сказал он. — Парнишка, родственник твой, в юнгородок просится; ты его выгнал, что ли... Воля твоя, не можем мы в своей среде допускать такие явления...

Уздечкину стало душно: этого недоставало...

— Подожди, — сказал он. — В чем дело? Я его не выгонял, я велел ему курить на улице...

— Там как-то получилось, что когда ты его выталкивал, по лестнице поднималась Марья Веденеева, она увидела... Коневский расстроенный пришел. Парнишка-то твой не учится, даже семилетку не кончил... Как это так, Федор Иваныч? Как ты допустил? Как получилось, что, живя в

семье, парнишка был предоставлен самому себе, даже кормился отдельно? Ты же человек с положением… Ни-че-го не понимаю!

Уздечкин молчал, собираясь с мыслями. Нападение было слишком неожиданно.

— Теперь он в юнгородок просится и слышать не хочет — вернуться домой. Ты его ожесточил… Он говорит, его все в доме вором считали, а он не был вором.

— Врет! — сказал Уздечкин, ударив по столу кулаком.

— Ну, — сказал Рябухин, — если он был вором, это для тебя не так уж благовидно, Федор Иваныч. А почему он не учится?

Уздечкин не ответил.

— А почему его выделили из семьи в смысле харчей?

— А черт его знает, — сказал Уздечкин растерянно. — Это еще до моего возвращения у них началось… Не знаю я этого ничего…

Рябухин прямо посмотрел ему в лицо:

— Не знаешь? Ты же председатель завкома, большая фигура! Он сегодня у приятелей в юнгородке ночевал, твой парень; приятели и разнесли по цеху. А после работы он к Коневскому пошел, а Коневский ко мне. Я повидал парнишку, про-

сил поменьше языком трепать… Реноме твое берегу! Ты чувствуешь, как это выглядит? У руководящего работника, призванного воспитывать беспартийных рабочих, сын сбежал от дурного обращения…

— Он мне не сын!

— Это все равно, Федор Иваныч, ты сам прекрасно понимаешь, что это все равно. А еще уговариваем людей: берите на воспитание сирот из детского дома. А сами…

Рябухин помолчал.

— Ты вот Листопада обвиняешь. Рассердился на него — сердись. Борешься с ним — если борьба принципиальная, борись. Во многом он ошибается, верно. Но по человечеству — я ему сто грехов прощу хотя бы за его отношение к молодежи, только за это одно, не говоря о другом!..

«Надо помирить их с Листопадом, — думал он, уходя от Уздечкина, — пускай Макаров скажет Листопаду пару веских слов».

К Листопаду позвонил Макаров, секретарь горкома:

— Александр Игнатьевич, не можете ли заехать на минутку, очень нужно.

У Листопада были дела на заводе, но он их отложил и поехал в горком. С Макаровым у него

были хорошие отношения. Макаров вмешивался в его дела редко и всегда тактично. Постепенно у Листопада о Макарове выработалось мнение, что это человек умный и очень осторожный — из тех, которые семь раз отмерят, прежде чем отрезать. «Полная противоположность Рябухину, — думал Листопад. — Рябухину придет в голову мысль, он ее изложит сразу. А Макаров помалкивает, говорит только самое необходимое, проверенное».

Росту Макаров был высокого, но сутул — от этого казался ниже. Лицо широкое, бледное, голос ровный; руки белые — руки человека, давно не занимавшегося физическим трудом…

Листопад не очень понимал этого человека, но старался с ним ладить.

Макаров был не один, против него сидел в кресле Рябухин. Листопад насторожился. Здороваясь с Макаровым, он сказал беззаботно:

— Гадал по дороге, для чего я вам экстренно понадобился.

— Поговорить надо, Александр Игнатьевич. Прошу садиться. — Макаров медленным жестом указал на кресло. — Поговорить о жизни, о работе, о душе и прочих таких вещах… Об Уздечкине надо поговорить! — коротко и резко вдруг закончил он, ударив по столу суставами пальцев.

Листопада задело за живое. Никогда с ним так не говорили в горкоме!

Все дело в том, как сложатся отношения. Иной человек всю жизнь говорит тебе в глаза резкости — и ты ничего, как будто так и надо; даже нравится. А тут отношения сложились иначе. Тут все было отменно корректно в течение трех с лишком лет. И вдруг такая перемена тона.

Мирить его с Уздечкиным будут, что ли?

Листопад сел и вольно положил руки на подлокотники кресла.

— Так! — сказал он. — Кто же перед кем извиняться должен: я перед Уздечкиным или Уздечкин передо мной? И как нам — христосоваться или нет? Шагу не могу ступить, чтобы меня не попрекнули Уздечкиным.

— Куда бы мы ни ступили, — сказал Макаров, — мы приходим к вопросу о человеке, о нашем советском человеке, строителе и защитнике нашего будущего.

— Слишком общо, — сказал Листопад. — Под это определение подходит каждый советский гражданин.

— В том числе и Уздечкин, — сказал Макаров.

— Сложность положения в том, — сказал Листопад, — что с Уздечкиным ровно ничего не

происходит. Есть взаимное непонимание, основанное на несходстве характеров и вкусов. Не думаю, чтобы с этим что-нибудь удалось поделать.

— Есть разные формы так называемого «непонимания», — сказал Макаров. — Партии они все одинаково чужды. И как бы ни расходились характеры и вкусы, есть база, на которой всегда сходятся два коммуниста: эта база — их общая принадлежность к партии и партийный долг, обязательный для каждого из них. Партия не может приказать вам питать симпатию к Уздечкину. Но создать ему нормальную обстановку для работы — это ваш долг.

— Тем более, — сказал Рябухин, — что он человек очень достойный.

— Друзья! — сказал Листопад добродушно-беспомощно. — Допустим, я ему выкрашу кабинет под мрамор — он любит мрамор; это ж ему не улучшит самочувствия!

— Александр Игнатьевич, — сказал Рябухин, поморщившись, — разговор идет всерьез. У него было другое самочувствие, когда он вернулся из армии.

— Вы знаете, — сказал Макаров, — на что сейчас пойдут все силы народа; и если ваша новая эра

начинается с недоразумений между дирекцией и профсоюзом, то плохое это начало. Вы ссылаетесь на разность вкусов и склонностей — не знаю. Не знаю. Не могу входить в такие тонкости. Но объективно это выглядит так, что вы не переносите критики и иногда теряете принципиальность.

— Это тяжелое обвинение, — сказал Листопад.

— При объективном рассмотрении многие вещи принимают другую окраску, — сказал Макаров. — Я мог бы предъявить вам и другое обвинение, не менее тяжелое.

— Что ж не предъявляете?

— Потому что знаю ваш упорный характер. Если я скажу — не поверите, будете оспаривать. Очень скоро сами увидите свою ошибку.

— Какую это?

— Взахлеб живете, Александр Игнатьевич; оглянуться на себя нет времени. Улучите минутку — перевести дух; и увидите ошибку.

— Ошибки бывают у каждого из нас. Вы уж скажите, что вы имеете в виду.

— Имею в виду ваш метод управления заводом. Вы как будто и не заметили, что война кончилась.

— Вот как — не заметил?

— Или не придали этому должного значения.

Сейчас уже невозможно руководить заводом так, как в военное время. Это, конечно, очень эффектно, когда без директора станка не настроят; но объективно — опять-таки объективно — это выльется в зажим, подмену и прочее такое…

Темно покраснев, Листопад перевел глаза на Рябухина:

— И ты таких мыслей?

Рябухин ответил тихо:

— Вот объявят новую пятилетку… Волной хлынет инициатива! Попробуй единолично управиться…

Листопад встал, двинув креслом:

— Так дайте людей посильнее! Таких, чтобы меня чему-нибудь научили.

— Уздечкин — работник самоотверженный и честный, — убежденно сказал Рябухин.

— Партийная организация, — сказал Макаров, — не может рассматривать характеры и вкусы, это материал хрупкий и недостоверный. Но партийная организация может и должна уберечь товарища. Вам придется жить в мире с человеком, который волей рабочих поставлен на один участок с вами и который ничем себя не запятнал.

— Хорошо, — сказал Листопад с недобрым вы-

ражением глаз, — я буду жить с ним в мире.

— Парторг! — сказал Макаров, проводив Листопада взглядом. — У тебя, парторг, для работы с Листопадом глаза чересчур голубые!

— Когда я добивался снятия прежнего директора, — сказал Рябухин шутливо, — никто не замечал, что у меня чересчур голубые глаза.

— Для Листопада, для Листопада ты мягок. На такого нужен парторг кремень. Ты его любишь — вот и пристрастен.

— Он с талантом человек, — сказал Рябухин. — Вы хорошо помните Евангелие? — Макаров взглянул с удивлением; Рябухин засмеялся. — Я когда-то, парнишкой, знал наизусть: изучал в целях антирелигиозной пропаганды. С митрополитами спорил на диспутах — так, чтобы они своими цитатами не застигли врасплох… Да, так вот: там есть замечательная притча о талантах…

— Помню, — сказал Макаров.

— Там о человеке, который зарыл в землю свой талант, сказано: «Лукавый раб и ленивый!» Как сказано, а? Придумайте слова такой же силы.

— «Лукавый раб и ленивый…» — повторил Макаров с удовольствием. Хорошо!

— Листопад не зарыл свой талант. Он не раб, не ленивый и не лукавый. Горит и не сгорает.

— Талантливые люди у нас на каждом шагу, — сказал Макаров. — И не ленятся, и не лукавят, и горят на работе не хуже твоего Листопада. Не в этом дело… А в том дело… — Макаров подумал, ему было трудно выразить свою мысль в точных словах. — Дело в том, что одни работают, жертвуя чем-то своим личным: долг выполняют… С радостью выполняют, с готовностью, с пониманием цели — а все-таки каждую минуту чувствует человек: я выполняю свой долг. А такие, как Листопад, ничем не жертвуют, они за собой и долга-то не числят, они о долге и не думают, они со своей работой слиты органически, чуть ли не физически. Ты понимаешь, успех дела — его личный успех, провал дела — его личный провал, и не из соображений карьеры, а потому, что ему вне его работы и жизни нет. Ты понимаешь: для других пятилетний план завода, а для него — пятилетие его собственной жизни, его судьба, его кровный интерес; тут вся его цель, и страсть, и масштабы его, и азарт, и размах — что хочешь.

— Таких тоже уже много, — сказал Рябухин задумчиво.

— Много, — подтвердил Макаров, вставая и прибирая бумаги на столе. — Да не всякому, видите ли, дан простор по его темпераменту. — Он

опять перешел с интимного «ты» на официальное «вы». — А Листопаду есть где разгуляться.

Глава тринадцатая
Любовь

Главный конструктор был прав, когда сравнивал себя с Рафаэлем.

«Логически, — думала Нонна, — процесс творчества у художника должен протекать так же, как у конструктора машин». Особенно это применимо, казалось ей, к художникам слова.

Что бы Нонна ни делала, в основе основ должно было находиться ощущение внутренней необходимости. «Это семя, — думала Нонна, — из которого развивается и новая машина, и поэма, и вся живая жизнь на земле». Ощущение беспокоило, мешало думать о другом, искало выхода и удовлетворения. Утверждаясь и определяясь, оно становилось мыслью. Конструктор одевает свою мысль в металлические детали, поэт свою — одевает в слова. Детали сочетаются в узлы, слова — в строфы. Вот поставлена последняя гайка или последняя точка, творческая мысль материализовалась, стала вещью, вещь поступает к людям, в мир вещей, машина или поэма — это все равно: процесс творчества был одинаков.

«И как странно, — думала она, сжимая руки, — что схожими путями идет любовь».

Все началось с ощущения, внезапного и резкого, как укол: два человека вдруг взглянули друг другу в зрачки…

Сколько-то дней она носила в себе тревогу. Тревога мешала думать о другом, искала выхода.

Выход был один: видеть его.

Она его видела очень редко. Иногда он подходил к ней, они перебрасывались несколькими словами. Чаще не подходил.

Иногда она слышала его шаги в коридоре. Стремительные, мужественные — она их теперь отличала от всех других.

И она слышала, как все в ней настораживается и собирается и как горячо становится в груди, когда раздаются эти шаги или когда при ней произносят его имя.

Ни разу она не вышла из конструкторской навстречу его шагам: женская гордость, которая сильнее любви, запрещала ей это. Но она знала, что он хочет, чтобы она вышла. И она ликовала, все в ней дрожало от ликованья. Знала, что она с ним, как он с ней. Откуда она знала, кто ей сказал, что это творится такое…

Как это будет, когда без страха, без оглядки, не

думая — можно или нельзя, мы заглянем друг другу в глаза? Что ты мне скажешь? Я скажу вот что; а что скажешь ты?..

Шаги замедлялись у дверей конструкторской, но он не входил. У мужчин тоже есть своя гордость. И потом — может быть, у него нет такой уверенности в их будущем, какая есть у нее?

Однажды он вошел. Конструкторы сидели со своими рейсшинами и логарифмическими линейками.

Он сказал:

— Добрый день, товарищи.

— Добрый день, — дружно ответили ему.

Он сделал два-три шага и остановился, держа в пальцах незакуренную папиросу. Нонна с трудом удержала улыбку.

— Ну, — сказал он, — как вам работается без Владимира Ипполитовича? Не скучаете?

Кое-кто засмеялся. Кто-то чиркнул спичкой и дал ему закурить. Нонна сидела у своего стола, не поворачивая головы. Он говорил о том, когда будут готовы чертежи для пилы горячей резки, и о погоде. Разговаривая, бегло взглянул на Нонну. Сказал, что скоро будут топить лучше. Остановился около модели РНП, которую видел двадцать раз. Подошел к копировщице:

— Что это у вас? — и долго смотрел в чертежи какого-то узла.

Все-таки делать ему тут было нечего, хоть он и старался приискать себе занятие. Поэтому посещение не затянулось. Он сказал:

— Ну, так, товарищи. Значит, все благополучно?

Его заверили, что все благополучно, и он ушел.

Конструктор, с которым он разговаривал о пиле и о погоде, сказал:

— Вы не скажете, зачем он приходил?

Нонна громко засмеялась, смехом давая выход своей радости. Ее не поддержали: директора любили и не считали возможным высмеивать его. Просто удивительно, до чего хорошо относятся к нему люди…

Эта встреча была как крошка хлеба для голодного.

Пришел из Москвы план. Он назывался: план развития завода на 1946–1950 годы. Но с самого начала все назвали его: послевоенная пятилетка.

Вокруг пятилетки шли на заводе все разговоры, официальные и частные. 1 января 1946 года маячило перед очами как дверь, за которой открывается большая дорога.

Мартьянов, который знал все заводские ново-

сти, сказал Веденееву:

— Грушевой-то, начальник литерного…

— А что такое? — спросил Никита Трофимыч.

— Сматывает удочки.

— Как так?

— Говорил давеча при всех: поставят меня на запчасти — уйду к Зотову, на авиазавод.

— А пускай уходит, — холодно сказал Веденеев. — Никто не заплачет.

— В войну, однако ж, соколом парил, — заметил Мартьянов.

— А вот видишь, — поучительно сказал Веденеев, — про войну говорили, что она проявляет людей: кто хорош, а кто плох — сразу обнаружится, с первых дней. А я тебе скажу, что нынешнее время таким же явится проявителем, если не еще покрепче. Новая пятилетка всех переметит: кто творец и созидатель, а кто убогий прихвостень. А Грушевой сейчас, понятное дело, пойдет метаться, искать, где работа полегче да где ордена близко лежат… Его в войну десять нянек нянчили, вот и парил соколом. А по мирному периоду он совершенно не соответствует своему назначению. Пусть уходит с богом к Зотову.

Никите Трофимычу очень хотелось, чтобы Грушевой ушел с Кружилихи.

Не потому, что Грушевой не соответствовал своему назначению. К таким вещам Никита Трофимыч относился философски. Он думал: сколько в Советском Союзе директоров, заместителей директоров, начальников цехов, их заместителей, начальников отделов, главных бухгалтеров, управляющих делами! Сотни тысяч. Мыслимо ли требовать, чтобы каждый из них так-таки и соответствовал своему назначению? Никита Трофимыч считал, что немыслимо.

Вот, например, за его век на заводе сменилось одиннадцать директоров. Тех, которые справлялись с работой, переводили с повышением в другое место. Несправившихся тоже переводили куда-то. С директорами таким же проточным ручьем плыли их заместители. Иногда какой-нибудь заместитель оказывался лучше директора. Был на памяти Никиты Трофимыча случай, когда заместителя назначили директором, а директора посадили заместителем. И что же? Поменявшись местами, они оба прекрасно работали. И через год их обоих перевели с повышением — одного, кажется, в партийный аппарат, другого в ВСНХ (это давненько уже было…).

Никита Трофимыч терпеть не мог Грушевого за то, что тот ходил к Нонне. «Если ты женатый

человек, — ревниво думал Никита Трофимыч, — то незачем шляться к незамужним женщинам: одно неудобство, и сплетни, и дурной пример для молодежи». Ему очень не хотелось, чтобы Нонна выходила замуж. Он понимал, что это неразумное, жестокое желание, но не мог его заглушить. Пусть бы жила тут и жила, как вдова Андрея. Иногда он думал, что она, может быть, раскаялась, только из гордости не показывает; раскаялась и оплакивает Андрюшу, и так и доживет до старости, верная его памяти… Если бы это было так! Он бы ее ближе дочери принял к сердцу, наравне с Павлом принял бы.

В один прекрасный день Грушевой позвонил в конструкторский отдел и вызвал Нонну.

— Нонна Сергеевна, — сказал он срывающимся голосом, не поздоровавшись, — вы избегаете меня, не изволите отворять на мои звонки, когда я заведомо знаю, что вы дома… Но я настоятельно прошу вас принять меня сегодня по делу, касающемуся всей моей дальнейшей судьбы…

Она вслушалась: тон ожесточенный — пожалуй, здесь не пахнет любовным объяснением… Она спросила:

— Может быть, мы поговорим у нас в отделе?..

— Нет! — сказал он. — Избавьте меня хоть от

этого. Я не задержу вас больше десяти минут.

— Хорошо, приходите, — сказала она.

Конечно, он пробыл не десять минут, а два часа, — но уж бог с ним: это был его последний визит. Он обрушился на Нонну с отчаянными упреками: она погубила его будущее! Сегодня директор сказал ему, что его цех будет оборудован для массового производства тракторных деталей! Какие-то форсунки… Его цех! Столько раз отличавшийся в годы войны!.. Он будет начальником цеха, производящего форсунки!.. Да как он будет смотреть в глаза людям, которые привыкли уважать его?! Конец жизни, конец всему! И кто это сделал? Она! Она! Которую он боготворил! В пятилетнем плане завода никаких запчастей нет! Директор сказал: «Это инициатива Нонны Сергеевны…»

— Он сказал так? — переспросила Нонна и больше не слушала Грушевого.

Под конец он закричал, что Зотов хоть сейчас возьмет его к себе, что Листопад не имеет права задерживать его черт знает для чего, и выбежал как безумный. Нонна спустилась вслед и заперла за ним дверь — его уж и в помине не было… Она не думала о Грушевом, она повторяла про себя: «Это инициатива Нонны Сергеевны» — и

старалась представить себе голос, который это произнес…

На другое утро к ней в отдел позвонил Листопад.

— Нонна Сергеевна, — сказал он, — здравствуйте, Нонна Сергеевна… Я вас побеспокоил, чтобы сказать вам, что я решил послушаться вашего совета — перевести цех Грушевого на тракторные части.

«Совсем не для этого ты меня побеспокоил, — подумала она, — ты рад, что у тебя есть этот предлог…»

А вслух сказала:

— Очень рада. По-моему, это хорошо.

— Не знаю, — сказал он, — люди не очень-то довольны. Мечтали о большем… как вы. — У него был возбужденный, счастливый голос. — Вот так, значит, Нонна Сергеевна…

— Очень рада, — повторила она.

Она подождала, не скажет ли он еще что-нибудь. И он молчал и ждал, не скажет ли она еще что-нибудь. Но что она могла сказать? Флиртовать по телефону?.. Подождав несколько секунд, она сказала:

— Благодарю вас, Александр Игнатьевич. До свиданья.

— До свиданья, — ответил он.

Вот и весь разговор. Сколько он длился? Минуту?

Как-то раз они встретились в коридоре заводоуправления, на повороте. Она шла быстро, он чуть не наскочил на нее, вздрогнул и забыл поздороваться. Она улыбнулась и прошла. Слыша, как удаляются его шаги за ее спиной, она подумала:

«Так пройдет и зима, и лето, и не будет ничего, что должно быть. Раз это должно быть, зачем откладывать? Я пойду навстречу тому, что должно быть».

Лида Еремина терзала Сашу Коневского по всем правилам жестокой любовной науки.

Как только она заметила, что он влюблен, она сейчас же стала его терзать и ни разу не давала ему пощады. Мальчишек надо терзать, иначе они слишком много воображают о себе.

Если Саша предлагал пойти вместе в Дом культуры или в кино, Лида говорила:

— Не знаю, я, кажется, уже кем-то приглашена…

Если Саша убеждал ее, что она не может сделать ничего умнее, как выйти за него замуж, она говорила:

— Что ты, что ты! Я так молода, мне учиться

нужно, я, наверное, поеду учиться в Москву.

— Почему же, — горячо спрашивал он, — ты не можешь учиться здесь?

— Ах, мне здесь все надоело! — отвечала Лида.

Когда она видела, что у Саши вот-вот лопнет терпение и молодое самолюбие восторжествует над любовью, Лида надевала свое голубое платьице, в котором она выглядела уже вовсе неземным созданием, и начинала отвлеченно говорить о том, что все-таки только девушки способны на глубокое и самоотверженное чувство, а у молодых людей все больше на словах… И Саша снова присыхал накрепко. Смелый и честный Саша Коневский, перечитавший кучу книг, член бюро горкома комсомола, был беззащитен перед тоненькой девушкой с голубыми глазами.

Может быть, он меньше любил бы ее, если бы хоть раз слышал собственными ушами, как она скандалила в цехе. Но он не слышал этого собственными ушами, а когда ему об этом рассказывали, он не верил.

А Лида была хитрая: с тех пор как Саша в нее влюбился, она перестала скандалить в цехе.

Как раз сейчас поводов для скандалов было сколько угодно, так что Лиде нелегко было сдерживаться. Цех переустраивался: одни станки

убирали в сторону и вешали на них пломбы; другие привозили и устанавливали. Военную продукцию уже не работали — исчезли постоянное напряжение и тот красивый ритм, который обожала Лида. Иногда материал не поступал по нескольку дней, и рабочим нечего было делать. Тогда начальник цеха товарищ Грушевой отпускал их по домам, говоря:

— Отдыхайте.

Лидин папа демобилизовался и опять поступил машинистом на железную дорогу, так что Лида могла бы уволиться с завода и пойти учиться. Но ей было жалко бросать цех.

То, что делалось тут сейчас, нисколько ее не устраивало, но это временное, все говорят, что временное: пятилетка всех возьмет в работу… Пока, на досуге, Лида присматривалась к станкам. Ей нравилось токарное дело, нравилось и фрезерное; особенно прелестен был настольно-токарный станочек. «Это именно для моих рук», — думала Лида, любуясь станочком. Пожалуй, она все-таки пойдет работать на штампы, ей нужно что-нибудь такое, где она могла бы, найдя ритм, развить высокую производительность. Она привыкла играть выдающуюся роль и не собиралась уходить в тень.

Однажды ей позвонила подружка из заводоуправления: плановому отделу нужна машинистка, и подружка подумала: почему бы Лиде не пойти в машинистки? Работа легкая, Лида научится в два счета.

«Вот еще! — подумала Лида, сделав гримаску. — Подумаешь, счастье быть машинисткой...» Вслух она благовоспитанно поблагодарила подружку. Та уговаривала: «Подумай, Лидочка, будешь сидеть в чистой комнате, никакого масла, ни грязи, кругом интеллигенция, всегда будет в порядке маникюр...» Маникюр был большим соблазном, но Лида все-таки отказалась. По ее мнению, ничего не могло быть мизернее и бесперспективнее работы машинистки...

На производстве у нее будут перспективы. Она переживет временный затор, а дальше все будет хорошо... Надо как-то решать вопрос с Сашей Коневским.

Те морячки, с которыми она гуляла и которые осторожно ухаживали за нею и угощали ее мороженым, — это было несерьезно, она их и не принимала всерьез, она и поцеловалась-то всего раза три или четыре за свою жизнь — и не потому, что ей хотелось целоваться, а опять-таки по требованиям любовной науки: мальчишек

надо иногда целовать, чтобы они не впадали в отчаяние.

А Саша — это была настоящая судьба: прочно, прилично, муж будет носить на руках. Он ее любит. И очень легко сделать так, чтобы любил всю жизнь.

Она мечтала, правда, о другом. Она мечтала, что сама пламенно влюбится в человека, так влюбится, что пойдет на безумства. Ей хотелось пламенеть и идти на безумства! Но ах! сколько было знакомств, и ни разу она не влюбилась пламенно. Даже маленький огонек, и тот не загорался…

«Может быть, — думала Лида, — я и не способна на пламенную страсть, может, это только мечты мои… Тогда чего же я жду? Может быть, никогда не будет другого такого хорошего и хорошенького, как Саша. Очень приятно, когда муж, вдобавок ко всем другим качествам, еще и хорошенький. Посмотришь на некоторых девушек — ходят с такими некрасивыми, я бы таких и близко не подпустила…»

И потом — ей уже двадцать лет, скоро двадцать один, молодость проходит! Хоть она и говорит Саше, что она слишком молода, но это у нее просто вид девчоночий, — на деле уже приходится

скрывать свои годы… Скоро она будет старой девой. Ах, это будет ужасно несправедливо!

Надо выходить замуж. Ничего не поделаешь.

— Мамочка, — однажды утром сказала Лида тоненьким голоском, — ты ничего не будешь иметь против, если я выйду замуж за Сашу Коневского?

(Никто в доме, даже отец, никогда ни в чем не смел перечить Лиде, но она свято соблюдала дочернюю почтительность.)

Мамочка хорошо знала Сашу — он уже несколько месяцев околачивался в доме — и ждала этого вопроса каждый день. Она немножко всплакнула, сказала:

— Как же ты нас бросишь, Лидочка? Вы уж с нами живите… — и поцеловала Лиду.

Лида уложила локоны по плечам и пошла на завод.

Вечером она вернулась с Сашей. Он еще не совсем пришел в себя от неожиданного счастья и на вопросы отвечал хотя горячо и сразу, но невпопад. Вид у него был такой — кажется, вышел бы один против своры волков, немцев, кого угодно… Лида, невинно улыбаясь, расставляла на столе чайную посуду.

Саша сидел бы до утра, но она дала ему понять, что папе и маме пора ложиться, особенно папе:

он с дежурства… Она вышла на крыльцо проводить Сашу. Он обнял ее и стал целовать. Она тихо отстранила его:

— Довольно, довольно…

— Скажи, — сказал он, нежно держа ее за плечи и близко глядя ей в лицо, — для чего ты мучила меня, если любишь?

— Разве ты мучился?

— Очень! — сказал он откровенно и грустно.

Она красиво положила голову ему на грудь.

— Саша, я себя тогда не понимала…

— А теперь понимаешь?

Она кивнула…

Когда он ушел наконец, она не сразу ушла с крыльца, стояла и смотрела ему вслед, завернувшись в мамин платок. Ей показалось, что в какой-то час она вспомнит этот вечер, и это крыльцо, и Сашин восторженный, доверчивый шепот, и это будет очень важное воспоминание, за которое ей дорого придется заплатить. Сознание ответственности за его судьбу, которой она так своенравно распорядилась, вдруг пронзило ее. И с этим новым сознанием, задумчивая, она вернулась в дом.

«Я пойду навстречу тому, что должно быть», — решила Нонна.

После работы, когда все разошлись, она осталась в конструкторской. Она приоткрыла дверь, чтобы свет падал в коридор.

Он увидит свет и войдет.

Она пробыла в конструкторской до десяти часов — он не пришел. Утром она узнала, что накануне он улетел в Москву.

А что, если бы его вдруг перевели на другое предприятие? Что бы она сделала? Пошла бы к нему и сказала: «Возьми меня с собой…»

Он вернулся через четыре дня.

Кто-то сказал: «Листопад приехал». И сейчас же раздался телефонный звонок. Она сразу встала и пошла к аппарату, потому что знала, что это он ей звонит.

— Здравствуйте, Нонна Сергеевна. Как живете? А я в Москве побывал. Знаете, для чего?

— Откуда же мне знать?

— Насчет наших добавлений и пожеланий к плану и насчет, в частности, тракторных частей. Основные заказы к нам пойдут… Грушевой уходит, так я договорился в наркомате, что вы на его месте будете. Начальником цеха запчастей… Ну-ну, шучу. Зачем вам это… Нонна Сергеевна, ну, а вообще как?.. Все благополучно?

— Все благополучно.

— Значит, до свиданья, Нонна Сергеевна?

— Значит, до свиданья, Александр Игнатьевич.

От первого и второго мужа у Марийки не было детей, она уж думала, что никогда и не будет. И вдруг ей показалось, что она забеременела!

— Семочка, — сказала она Лукашину торжественно и таинственно, — ты знаешь что?

— Что? — спросил Лукашин.

— Ох, ни за что не скажу! — сказала Марийка. — Сглазить боюсь.

И тут же рассказала, потому что у нее ни от кого не было секретов, а тем более от Лукашина.

— То есть, ты понимаешь, — закончила она, — это не то что наверное, но я предполагаю.

Лукашин задумался. В первую минуту ему представилось, как тесно станет в Марийкиной комнате. На секунду он пожалел, что отдал свой дом… И вообще не оберешься хлопот с детьми — вон Уздечкин как мучается…

Но вдруг Лукашин представил себе, как здесь вокруг стола будет ходить такое маленькое, с пушистой головкой, как у детей Уздечкина, — и это будет его, Лукашина, дитя, его плоть, убереженная судьбой в кровавых боях, его теплота, — неизведанная нежность задрожала в его сердце и поднялась к горлу…

— Ничего, Марийка, — сказал он, отвернувшись. — Ты, главное дело, ешь побольше и береги себя.

Она заметила слезы, блеснувшие на его глазах, и сама заплакала от умиления. И многое, многое, в чем они, может быть, согрешат в будущем, они простили друг другу за эти слезы!

— Как только стану побольше зарабатывать, — сказал он, — я тебя с работы сниму, будешь дома при мне и при детях.

Марийка сейчас же перестала плакать и подняла крик: да ни за что она с завода не уйдет! За кого он ее принимает?! Сроду не ходила в иждивенках! Ее тут, на Кружилихе, все знают, и она всех знает, да она с тоски повесится, если ее в домашние хозяйки переквалифицируют! Ребенка на день в ясли, а она будет работать, как работала, он что же думал?! Нежный какой, няня ему нужна…

В веденеевском доме новость приняли хорошо. Старик Мартьянов сказал:

— Надо полагать, горластый будет ребеночек…

Никита Трофимыч сказал:

— Ну, Марья, больше не разрешу жить на отшибе! Будет внук — перейдете в наш дом. Что, в самом деле! За какие грехи мы должны одинокую старость мыкать?

А Мариамна ничего не сказала — пошла копаться в сундуках: где-то должны быть Никиткины младенческие вещички — распашонки, чепчики, вязаные башмачки. Вот опять пригодятся!.. По временам Мариамна смеялась тихим густым смехом: сегодня в обед пришло письмо из Мариуполя от Павла и Катерины, и в конверт было вложено письмецо от Никитки, написанное по-украински. Павел писал, что Никитка учится в школе, где преподают и русский язык, и украинский, и вот написал деду и бабке по-украински, чтобы видели его успехи. Мариамна перебирала крошечные, кукольные чепчики и смеялась, перестать не могла: господи боже, Никитка пишет на украинском языке, можно с ума сойти от смеха…

В этот вечер Нонна опять осталась одна в конструкторской, и Листопад пришел.

Еще издали в пустынном коридоре она услышала его шаги, смотрела на дверь и ждала: шла судьба.

— Не помешаю? — спросил он с порога.

— Нет, — ответила она.

— Можно?.. — он взялся за спинку стула.

— Да.

Он сел и облокотился на ее стол.

— Нонна Сергеевна… — Он замолчал.

— Ну, что? — спросила она с ласковой иронией.

— Мы тогда не доспорили, — сказал он. — Помните?..

— Разве мы спорили? О чем мы спорили?

— По поводу того, что в производстве мелко, что крупно. Еще вы сказали, что вы — конструктор машин и чтобы вас оставили в покое…

Она смотрела на него и думала: «Ну, о чем ты говоришь, тебе совсем не об этом хочется говорить, вот мы вдвоем с тобой… Встать, подойти к нему, откинуть ему волосы со лба…»

И она вдруг сказала — точно бросилась с высоты:

— О чем вы говорите? Вам совсем не об этом хочется говорить.

Он отшатнулся от неожиданности… Она бесстрашно смотрела на него.

Он достал папиросу, закурил.

— Вы разве знаете? — спросил он.

— Да, — сказала она, продолжая свой сумасшедший полет. — Я знаю с самого начала.

Стол разделял их, они не двигались с места, ни один из них не знал, что он сейчас скажет. Потому что ни один не выбирал слов.

— С самого начала? — повторил он, доверчиво

глядя на нее. — Это когда вы приходили ко мне?

— Ну да.

У нее тоже было полное доверие к нему. Ни на секунду ей не пришло в голову, что он может подумать: «кокетничает», «вешается на шею» или что-нибудь в этом роде. Это было исключено.

— Не знаю, — сказал он, — на радость это или на беду, но вот как оно получалось…

Она подошла к нему, стала рядом и обеими руками откинула ему волосы со лба.

В серый ноябрьский день Толька с чемоданишком в руке вышел из дому.

Он перебирался в юнгородок. Ему предоставили койку, освободившуюся после Петьки Черемных.

Матери Толька сказал, что будет жить в общежитии. Мать заплакала — не от горя, а от растерянности; слезы ее не смягчили Тольку.

Выйдя на улицу, он окинул взглядом знакомые дома, и они вдруг посмотрели на него очень серьезно. Вся улица, и осеннее небо, и заводские трубы, дымящие в отдалении, выглядели сегодня как-то скучнее, взрослее. И Толька понял, что с этой минуты жизнь начинается всерьез.

Дул холодный ветер. Толька на минутку поставил чемодан на землю, опустил наушники шапки и, снова взяв чемодан, быстро пошел к

трамвайной остановке.

Глава четырнадцатая
Ночью

Ночь над поселком.

Фонари здесь не стоят правильными рядами, они разбросаны беспорядочно: фонарь тут, фонарь там; один — у трамвайной остановки, другой — над воротами пожарного парка. Единственное освещенное окно высоко под крышей пятиэтажного дома. Кругом чернота, в черноте местами поблескивают рельсы и немые, спящие стоят дома.

Это час, когда последний трамвай давно прошел. Когда ночная смена на заводе давно заступила. И в Доме культуры, и в кинематографах не осталось никого, кроме ночных сторожей. И гуляки угомонились. И влюбленные не шепчутся в подъездах.

Тихо в домах. Люди спят, и каждый видит свои сны.

Мирзоев провел минувший день хлопотливо.

Утром он возил директора в горком. Директор велел дожидаться, но Мирзоеву подвернулась работа: хорошенькая дамочка попросила подвез-

ти ей швейную машину, и он вез ее к чертям на кулички, на окраину, а дамочка в благодарность пригласила позавтракать, а машина, как выяснилось, шила плохо, а дамочка была прелесть какая хорошенькая, и Мирзоев починял машину и любезничал с дамочкой, а потом гнал свой «ЗИС» на третьей скорости обратно к горкому, и милиционер остановил его и записал номер, и он чуть не опоздал, — но ему повезло по обыкновению: подкатил к подъезду горкома как раз в тот момент, когда директор спускался с лестницы. Мирзоев вез его на завод и, смеясь, подмигивал своему счастью.

Директор дожидался инженеров на совещание и разрешил Мирзоеву съездить проведать земляка, находившегося на излечении после тяжелой контузии. Почти два года земляк лечился: чем его ни лечили — и электричеством, и ваннами, и гипнозом, и возили на курорты, а припадки не проходили. Никакой особенной дружбы у Мирзоева с земляком не было, но Мирзоев считал бы себя последним скотом, если бы раз в месяц не проведал земляка и не отвез ему гостинцев.

В клинике Мирзоев попросил швейцара присмотреть за машиной, с удовольствием надел белый халат и, чувствуя себя похожим на доктора,

поднялся во второй этаж. Он шел неторопливо, чтобы встречные девушки успели наглядеться на него. Он понимал, что девушкам, работающим в клинике для нервнобольных, приятно посмотреть на красивого нормального мужчину… Земляк встретил Мирзоева восторженно, другие больные тоже. Мирзоев вытащил из кармана гостинцы. Больные уселись в тесный кружок, выпили и закусили. Сестра, входившая в палату, сделала вид, что ничего не заметила. Мирзоев налил было и для нее полстакана и сделал ей томные глаза, но она отвернулась и вышла. Потом русские больные пели по-русски, а Мирзоев и земляк — по-тюркски. Потом Мирзоев спел хорошую русскую песню «Выхожу один я на дорогу…» «Ночь тиха, пустыня внемлет богу, и звезда с звездою говорит», — пел он высоким, несильным тенором, и от умиления слезы проступали у него на глазах: хороша песня!..

Довольный, ушел он из клиники и решил съездить на вокзал к московскому поезду.

По пути прихватил какое-то семейство с узлами и чемоданами. Приехал на вокзальную площадь — денек только чуть смеркался… Семейство хотело уплатить мелочишку, но Мирзоев поглядел на детишек, на узлы и сказал: «Ну что вы, не надо

мне ничего...»

Скоро народ посыпал с вокзала — пришел московский поезд. К машине Мирзоева, хромая, подошел человек в демисезонном пальто и теплой кепке, в одной руке чемодан, другая глубоко запрятана в карман, на глазах черные очки...

— В горисполком сколько возьмешь? — спросил он.

Явно командированный. Столковались. Командированный сел на заднее сиденье. Поехали.

Мирзоев не был равнодушен к людям, которых возил, он всегда интересовался, кого везет и за какой надобностью. И он уже хотел повернуться к седоку и спросить прилично-сочувственно, указывая на очки и на руку, спрятанную в карман: «На Отечественной потеряли?..» — как вдруг седок положил здоровую руку ему на плечо и сказал:

— Ахмет.

Мирзоев повернулся, подскочил на сиденье: как только этот голос произнес его имя, он узнал его сразу.

— Товарищ комбат! — закричал он.

Машина вильнула и чуть не налетела на проходивший трамвай...

— Смотри, черт, — сказал, улыбаясь, комбат. —

Ты меня второй раз закатаешь!

Мирзоев задохнулся, слезы брызнули у него из глаз.

— Постойте, — сказал он. Остановил машину около тротуара, повернулся к комбату, и прохожие замедляли шаг, наблюдая с удивлением, как в машине целуются долго и нежно шофер и седок.

— Нализались, — сказал кто-то.

— Вы живые! — восклицал Мирзоев.

— Да, брат, выпутался, — сказал комбат. — Нука, поедем все-таки. А то мы вон толпу собрали.

— Я вас везу к себе, — сказал Мирзоев, берясь за баранку.

— В другой раз, — сказал комбат. — Мне в горисполком срочно.

— Завтра! — сказал Мирзоев. — Завтра я вас лично отвезу в горисполком к началу занятий. Сегодня не может быть никакого горисполкома. Я вас во сне видел сколько раз. Мы только заедем на минутку в магазин «Гастроном».

— Ладно, — сказал комбат, — только в горисполком все-таки сегодня, часа через два. Я всего-то на сутки. А водочки с тобой, по старой памяти, выпьем.

Мирзоев не стал рассказывать о том, что у него

вырезана почка и что он воздерживается пить по этой причине: совестно выскакивать с какой-то почкой перед человеком, который так пострадал. Он заехал в магазин и купил всякой снеди на все деньги, какие нашлись в карманах. Потом доставил комбата к себе на квартиру, завел машину по соседству в пожарный гараж, чтобы была под рукой, и, запыхавшись, примчался домой. Он был в детском восторге, ему приходилось изо всех сил держать себя в руках, чтобы говорить связно.

— На-ка, выпей успокоительных капель, — сказал комбат, налив ему в стакан.

Мирзоев обеими руками принял от него стакан, глотнул в экстазе — с отвычки водка опалила ему горло и в самом деле несколько успокоила.

— Ну, как же вы? — спрашивал он счастливо, с любовью заглядывая комбату в очки. — Как вы?.. Где вы?..

Комбат рассказал, что работает в Москве по строительной части. На вопрос: «А как вообще жизнь?» — ответил:

— Да что. Время трудное, что же тут скрывать. Сам знаешь, какова международная обстановка. Ничего, переживем. Не такое переживали, вспомни-ка. — Он улыбнулся своей спокойной улыбкой.

— Международная обстановка — да, — сказал Мирзоев. — Нет, я в смысле вашего личного устройства. Вашего личного, чисто бытового устройства.

Комбат немного нахмурился.

— Ну, что ж личное, чисто бытовое, — сказал он. — Живу, как все. — И, оглядев стол, добавил: — А ты, кажется, устроился неплохо.

— Я живу очень хорошо, — сказал Мирзоев. — Не хуже директора, между нами говоря.

— Зарабатываешь слева, — сказал комбат. — Понятно.

— Знаете, — сказал Мирзоев, с тревогой почувствовав, куда ведет разговор, — иметь такую машину и такого директора, как у нас, и не заработать слева — это надо быть форменным идиотом.

Он достал еще свертки и выложил яства на тарелку.

— Слишком, слишком хорошо живешь, — сказал комбат. — Это тебе вредно. Откровенно сказать, — прибавил он, — я воевал не за то, чтобы несколько веселых парней могли зарабатывать слева и жить без забот.

— Я понимаю вашу мысль, — сказал Мирзоев, покраснев. — Я тоже. Я воевал за то самое, что

и вы.

— Постой, — сказал комбат, откинувшись на спинку стула и глядя на Мирзоева черными очками, — ты же комбайнер?.. Ну да, комбайнер. Где же твой комбайн, лодырь собачий? Чего ты околачиваешься в директорских шоферах?

— Вы думаете, он меня отпустит?.. Ого!

— Да ты у него просился?

— Сколько раз, — не моргнув, сказал Мирзоев. — Слышать не хочет.

— Врешь, врешь, — сказал комбат. — Вижу, что врешь.

Он взглянул на часы и встал, обдергивая пиджак на фронтовой манер, как гимнастерку.

— Время. Вези.

— Еще пятнадцать минут! — вскричал Мирзоев. — Вы должны меня выслушать! Сядьте, я вас прошу! Наш спор не кончен.

— Да какой же спор? — сказал комбат добродушно. — Спора нет и не может быть.

Действительно, спора не было, но в душе Мирзоева под влиянием смущения, огорчения и водки поднялся такой вихрь, что ему показалось, будто они с комбатом ожесточенно спорят уже несколько часов.

— Вы должны выслушать, — твердил он, хва-

тая комбата за плечи. — У каждого может быть своя точка зрения. Вы должны узнать мою точку зрения.

— Ладно, валяй, — сказал комбат. — Только быстро.

— Вы сядьте, пожалуйста. Такую вещь я не могу быстро.

Комбат терпеливо сел. Мирзоев перевел дух и заговорил вдохновенно.

Он был фантаст. Мысли рождались в его мозгу мгновенно.

Он сам был уверен, что исповедует то, что только что пришло ему в голову.

Почему люди жалуются на жизнь? Потому что они недостаточно активны.

Разве Советская власть говорит мне: «Не думай, я буду думать за тебя»? Да ничего подобного. Только дураку она говорит: «Поступай вот так-то, а то пропадешь». Умному она говорит: «Думай хорошенько, думай сам; все обдумай, а я тебе помогу». Я умный, я думаю сам.

Молодой человек хочет быть инженером. Держит экзамен и проваливается. Озирается кругом и видит, что еще успеет в этом году поступить учиться на агронома. Есть, видите ли, вакантные места, и смотрят сквозь пальцы на то, что он

плохо знает алгебру. И только из-за того, что он плохо выучил алгебру, он идет учиться на агронома, когда он не отличает редьку от капусты. И пожалуйста — судьба человека испорчена. Он будет растить редьку и думать про эту редьку: чтоб ты провалилась. Вы скажете, что все-таки он молодой, что при нем остается и любовь, и физкультура, и хорошая погода, так что он все равно и с редькой будет счастлив. Я не так понимаю счастье…

Человек мечтает жить в Тбилиси, а живет тут у нас. Я его спрашиваю: почему же ты не живешь в Тбилиси? Он говорит: меня не прописали. Вы понимаете, его не прописали, он заплакал и поехал жить в этот климат… Могу я к нему относиться серьезно?

Мне говорят: почему не женишься, столько кругом девушек. Потому что я знаю, на какой я женюсь. Я ее еще не встречал. Если встречу завтра, то завтра женюсь. А если не встречу, то не женюсь ни на ком. Я не плыву по течению. Я выбираю себе жизнь.

Он замолчал со страстно блестящими глазами. Когда он начинал свою речь, она представлялась ему до конца последовательной и убедительной. И вдруг мысль оборвалась и за нею не оказалось

ничего.

— Вы понимаете, чего я хочу?

— Понимаю, — сказал комбат. — Ты хочешь еще выпить. Чтобы дойти окончательно.

Он налил Мирзоеву еще водки.

— Я хочу, — торжественно сказал Мирзоев, поднимая стакан, — чтобы человек не был иждивенцем. Чтобы он не плыл, куда его несет, а размышлял и выбирал. Боже мой, в нашей ли жизни мало возможностей выбора?.. Когда нашей молодежи открыты все дороги…

— Хватит, — сказал комбат и встал решительно. — Ты полчаса учил меня жить, а теперь еще начнешь агитировать за Советскую власть… Поехали.

Мирзоев убито натянул свое кожаное пальто. Он не убедил комбата, наоборот, еще больше испортил дело: у комбата суровое лицо; он рассердился…

Комбату стало жаль Мирзоева. Он обнял его здоровой рукой.

— Ахмет, — сказал он, — послушай меня. Это все бред собачий. Упражнения блудливого и праздного ума. Дело, брат, настолько ясное, что яснее быть не может: раны нам нанесли страшные, стройке нашей помешали… Сейчас залечиваем раны, воз-

обновляем стройку, дорога у нас у всех одна — в коммунистическое общество, без этого народу не будет ни счастья, ни настоящего устройства. И нечего тут воду мутить. А если принять твою речь всерьез, то иждивенец — не тот, кто в трудной жизни свое дело делает и заработка слева не ищет, а иждивенец настоящий, махровый, ничем не прикрытый — это ты. Ты плывешь по течению. Я не плыву!.. Не понимаешь? Подумай и поймешь: ты же умный…

В город ехали молча. Простились коротким поцелуем. Комбат отклонил предложение Мирзоева отвезти его завтра на вокзал: он попросит машину в горисполкоме… Обменялись адресами и обещали писать. Очень поздно Мирзоев вернулся домой.

В своей комнате он долго стоял неподвижно, не снимая пальто и не зажигая света. Мелко и нежно тикали часы на его запястье…

— Стоп, — сказал Мирзоев.

Где он только не шлялся сегодня, чтобы уйти от этого отвратительного настроения. Ходил до поздней ночи, исходил весь поселок — не ушел.

Все равно как в морду дали…

В сущности, что за драма? Он же всегда смотрел на эту службу как на временную. Может человек,

отвоевав, отдохнуть и подкормиться на легкой работе? Он имеет настоящее место в жизни. А может быть, он пойдет учиться. На инженера.

Сколько это лет учиться? Года два в техникуме. Потом четыре (или пять?) в институте. Минимум шесть лет. Гм…

Сколько студенты получают стипендию?..

Вспоминалась легкость нынешнего бытия, разные житейские соблазны, дамочка с швейной машиной — ух, мировая дамочка…

Комбат сказал: «Пиши в дальнейшем…»

Вернуться в совхоз? Заработок на комбайне очень и очень приличный… Воображаю, как меня будут встречать!

Или лучше в студенты?..

В общем, буду говорить с директором. Я не хочу, чтобы хорошие люди плевали в физиономию. Прижму директора в машине: отпускайте на учебу, я эти вузы и втузы отстаивал своей кровью, имею право, в конце концов…

— Трудно тебе будет, лодырь собачий, — сказал кто-то из темноты голосом комбата.

Мирзоев улыбнулся темноте.

— Товарищ комбат, дорогой, это кому-нибудь будет трудно, а Мирзоеву везде будет замечательно. Такой он человек.

Лукашину приснилась война. Он лежал в окопчике, близко кругом разрывались мины. Всякий раз как, противно мяукнув, рвалась мина, Лукашин падал лицом на подсохшую, колючую, жирно пахнущую землю и думал: вот сейчас; вот конец; вот меня уже нет. Вдруг рыхлый бугорок перед лицом Лукашина зашевелился, начал вспухать, посыпались комья в окопчик, из земли показались человеческие пальцы, потом стала подниматься голова. Лукашину стало так страшно, что он и о смерти думать перестал.

«Ну, что, Сема? — сказала голова и подмигнула веселым глазом. — Когда приступаешь к занятиям в конторе?» Лукашин закричал и проснулся. Марийка сидела около него, испуганная, и говорила:

— Что с тобой? Приснилось что-нибудь?

Она поцеловала Лукашина, укрыла его и прижалась к нему, бормоча что-то теплым сонным голосом. Но он боялся заснуть, чтобы опять не увидеть страшное, и попросил:

— Не спи. Говори что-нибудь.

— Что же говорить? — спросила она, засмеявшись. — Стих наизусть, что ли?

Но он сказал:

— Мы так до сих пор и не решили, куда поста-

вить кроватку.

— Как не решили? — сказала Марийка бодрым, деловым тоном. — Ты забыл: между шифоньером и столиком; если столик отодвинуть к окну, станет в аккурат. И как хочешь, Сема, придется купить цинковую ванночку: ванночка будет служить лет десять, а так что? В тазу годов до трех докупаешь, не больше.

— Можно и в корыте купать, — сказал Лукашин.

Марийка всплеснула руками.

— В деревянном корыте, где грязное белье стираем?! Ну, Сема…

Лукашин вздохнул. Ванночка так ванночка. Тут была граница его мужского царства.

— Какую он фамилию будет носить? — спросила Марийка и засмеялась: так не шло к тому, о чем они говорили, слово «фамилия». — Твою или мою?

— Конечно, мою, — сказал Лукашин. — И ты — мою, какая у тебя может быть своя фамилия. — И он собрался поцеловать Марийку, но подумал, что эта женщина во многом перед ним виновата, и сказал другим тоном, очень веско: — Но только, Марийка, семейная жизнь может получиться тогда, если и муж и жена идут на уступки. Один

раз я уступлю, другой раз — ты. А у нас получается такая картина, что уступаю только я, а ты делаешь все, что хочешь, и не считаешься со мной ни на копейку.

— Семочка, — скороговоркой и шепотом отвечала Марийка, привалившись к нему, — ангел мой, котик мой, прямо совести у тебя нет, ну, когда же я с тобой не считалась?!

— Я тебя просил, — сказал Лукашин, — оказать мне пустяковую услугу, я говорю о кожаной куртке, — ты отказала. Раз. Я тебя просил не бегать по соседям, когда я дома, но это, видать, выше твоих сил. Два.

Он долго перечислял Марийкины вины и в темноте загибал пальцы, чтобы не сбиться со счета. Марийка слушала-слушала и вдруг сказала радостно:

— Сема, ты вообрази, мне теперь все время соленого хочется. Ничего бы не ела, только огурцы и селедку. И до того хочется — ужас!

— Глупая ты у меня, — сказал Лукашин, сбившись со счета. — Что мне с тобой делать, что ты такая глупая?

За поздней беседой засиделись два старика — Веденеев и Мартьянов.

Мартьянов пьян. Большое мясистое лицо его

налилось кровью. Печь уже остыла — пока нет больших морозов, Мариамна топит экономно, — но Мартьянову жарко. Он расстегнул рубаху на широкой груди.

— Вот так я жил, — говорит он, тяжело отдуваясь, — вот такая была моя, Никита, блудная и черная жизнь…

Склонив аккуратно остриженную седую голову, сощурясь, Веденеев задумчиво водит по столу тоненькую рюмку…

— Только что крови не лил — к этому не причастен, нет, — а почему? Совести боялся?

— Нет, — тихо говорит Веденеев, — не совести.

— Кодекса боялся, ну да. Формально — руки чистые. А фактически сколько грехов на мне?..

— Можешь не считать, — говорит Веденеев так же тихо. — Мы сочли без тебя.

— Ты мне одно скажи, — говорит Мартьянов, подперев обеими руками большую лохматую голову и приблизив ее над столом к Веденееву, — отробил я свою черноту перед людьми или нет?

Веденеев молчит.

— Отробил или не отробил? — страстно повторяет Мартьянов. — Скажи!

— Ты-то сам как понимаешь? — спрашивает Веденеев. — Сам ты как чувствуешь?

— Не знаю! — с задышкой говорит Мартьянов и широко разводит руками. — Не знаю!

— Все прощается за труд, — сухо говорит Веденеев. — Сужу человека смотря по тому, какую долю труда он внес.

— Ну! Ну! — говорит Мартьянов с ожесточением и надеждой. — Слыхал я это от тебя. Ты про меня, про меня скажи: отробил я?..

Веденеев встает, закладывает руки в карманы и ходит по комнате, размышляя. Подходит к печке, трогает ладонью остывшие кафели… И оттуда, от печки, доносится слово, которого ждет Мартьянов:

— Отробил…

И над маленьким южным городом тоже ночь.

Большое окно открыто в сад, в саду сухо, с жестяным постукиваньем шелестят листья какого-то растения.

Вот так в ветреную погоду постукивают на кладбищенских крестах жестяные венки…

Запихали в могилу и радуются. Сами живут, а он лежи и умирай.

— Маргарита! Будь добра, Маргарита, закрой окно.

Маргарита Валерьяновна входит из соседней комнаты и торопливо закрывает окно.

— Как ты хлопаешь. Неужели нельзя не хлопать… И спрашивается: для чего держать окна настежь, когда такая сырость?

— Но ведь доктор сказал, что, пока тепло…

— Какое же тепло. Сырость, ужасная сырость. Неужели ты не замечаешь, что одеяло к утру совершенно отсыревает?

— Извини, я не…

— Ты многого не замечаешь, Маргарита, когда речь идет обо мне. Нельзя так слепо выполнять предписания доктора, как ты выполняешь. Надо жить своим умом. Эти курортные врачи вообще ничего не понимают.

— Я каждый день вспоминаю Ивана Антоныча, — со слезами на глазах говорит Маргарита Валерьяновна.

— Это очень мило, что ты вспоминаешь его каждый день, но, к сожалению, это ни в какой степени не может мне помочь.

Владимир Ипполитович садится в постели и принимается, кряхтя, перекладывать подушки.

— Нет, я сам. Оставь, пожалуйста. Никому до меня нет дела. Не могу допроситься, чтобы клали подушки так, как мне удобно.

Действительно: нет рядом души, которая бы посочувствовала. Некому даже подушки пере-

ложить…

Маргарита делает вид, что вот-вот свалится с ног. Чего ей валиться с ног? Ей еще и шестидесяти нету. А молодая, здоровенная Оксана храпит так, что в спальне слышно. Отвратительно тонкие стены у этих маленьких домишек. Лежать всю ночь и слушать храп — тоже удовольствие…

В открытую дверь виден пустой чемодан, стоящий на полу, и женские тряпки, разбросанные по стульям.

— Еще не уложилась?

— Нет еще.

— Подумаешь, сложные сборы, — едешь на неделю.

— Представь, я как-то не могу сообразить, что надо взять с собой. Здесь тепло, и Оксана мне выгладила летние платья, я стала укладывать и вдруг думаю себе: ведь там морозы!

— Ну конечно, морозы. Ты — как младенец, Маргарита. Надо взять шубу, и валенки, и все теплое.

— Да, валенки, — говорит она, — надо вынуть из нафталина… — и она уходит, и он знает, что она рада предлогу уйти.

Все рады уйти.

Листопад за все время прислал одно письмо.

Еще одно пришло от группы конструкторов — какое-то вялое, принужденное… Людей сближает совместная работа, остальное — сентиментальное вранье. Отработал человек — его спихивают к черту на кулички. На покой. И радуются…

Кажется, он поторопился с этим домиком.

Ему здесь гораздо хуже. Просто несравненно хуже. Болваны доктора не понимают.

Инерция работы держала его на ногах. И еще десять лет продержала бы. Нет, дернула нелегкая бросить все, изменить привычному ритму жизни. И сразу начал распадаться весь механизм.

Вот и окно закрыто, а одеяло все-таки сырое.

На севере топят большие печи. Топят дровами. Тепло.

Вот он, покой: никто ничего от тебя не ждет, никто не придет, можешь совсем не вставать с постели. Постукивают в саду жестяные мертвые листья…

Маргарита рвется скорее привезти мебель, чтобы устроить здесь по-городскому. Маргарита хитра, но глупа, все хитрости ее как на ладони. Вовсе не мебель ей нужна. Она хочет на неделю-две вырваться из этой могилы…

Что же, по человечеству ее можно понять. Хотя это возмутительно, что и она бежит от него.

Соскучилась по своим председателям и заместителям председателей.

Надо ей сказать, чтобы спала в его бывшем кабинете, — там теплее всего. Там печь очень хорошая… Два чертежных стола так и стоят там у окна. Кто-то будет жить в том кабинете? Унесут чертежные столы, поставят дамский туалет или детские кровати…

Ломит поясницу, ноют ноги, голова тяжелая, сна нет. Вот вам и знаменитые целебные грязи!

Не те времена! Никто не протянет над тобой руки и не скажет: «Встань и иди!» Сам вставай, сам иди. Сам воскрешайся из мертвых.

Маргарита может спорить сколько угодно, а одеяло сырое.

— Маргарита! Маргарита! Достань и мои валенки из нафталина. Мы едем вместе.

Этому нельзя перестать удивляться. Кто ты был для меня? Никто. А сейчас ты мне ближе всех на свете. Был безразличен мне, а сейчас для меня самое интересное — то, что ты говоришь, то, что я хочу сказать тебе, то, что я о тебе думаю, то, что думаешь ты. Ты умнее всех, ты прекраснее всех; если бы я хоть секунду думала иначе, разве я потянулась бы так к тебе, разве бы я так гордилась тем, что имею право прислониться к тебе? Как это

другие не видят, что ты лучше всех? Как я сама этого раньше не видела? И почему теперь увидела? Откуда взялось прозрение? Не потому же, что я искала любви? Я не искала любви! Если бы искала, нашла бы давно, она под ногами у меня лежала, я и не нагнулась поднять… Нет, я искала любви, не нужно быть нечестной. Но почему именно ты? За какие такие твои заслуги? Чего ради я ряжу тебя во все это великолепие? Ничего не понятно, от непонимания кружится голова…

Листопад и Нонна идут медленно. Оба устали. Устали оттого, что просидели в накуренной конструкторской до глубокой ночи, и оттого, что за все эти часы ни разу по-настоящему не приблизились друг к другу…

Он что-то говорит. Она отрывается от своих мыслей и вслушивается.

— Только не испугайтесь моего жилья, — говорит он как бы шутя, но голос вздрагивает. — У меня пусто и холодно, похоже на сарай.

— Это же все равно, — говорит она почти шепотом.

Они условились, что она придет к нему. Когда? «Я тогда позвоню», — сказала она коротко. У нее такое ощущение, словно она раскачивается на качелях: выше — выше — выше…

— Лодки, — говорит она.

— Лодки? — повторяет он, заглядывая ей в лицо. — Какие лодки?

Она отрицательно качает головой, ей не хочется объяснять. Это в детстве было: качели-лодки, подвешенные на стальных тросах к толстой перекладине. Девушки и ребята становились по двое, держась за тросы, и раскачивались что было силы. Раскачавшись, лодка перелетала через перекладину, описывая полный круг. Кто слабонервный — и не суйся!

— Ты хочешь спать, — говорит он, в первый раз называя ее на «ты». — Ты спишь на ходу. — Он обнимает ее бережно и нежно.

Вот и горка, и лесенка, ведущая к веденеевскому дому. Пришли! Она останавливается и поднимает к нему лицо…

— Ноннушка, — говорит он, целуя ее закрытые глаза.

— Еще, — говорит она, не открывая глаз.

И наконец они расстаются. Она отпирает дверь — целая связка хитроумных ключей, бесчисленные веденеевские затворы — и входит в дом. Он идет обратно, из старого поселка в новый, по необъятно широкой пустынной улице, обставленной высокими домами.

Куда же он сворачивает, разве не домой лежит его путь? Слишком поздно, чтобы идти в гости. Только всполошишь хозяев, вызовешь недоумение, неудовольствие, насмешку… Но он идет уверенно. Его ведет радостный подъем — он убежден, что все, что он сейчас сделает, будет хорошо! На мгновение он задерживается, чтобы разглядеть номер дома: белая эмалевая дощечка ясно и доверчиво освещена электрической лампочкой. Листопад входит в полутемный подъезд, поднимается на пятый этаж: вот та дверь. Нажимает кнопку звонка: звонок не действует. Листопад стучит.

— Кто там? — спросил Уздечкин.

Он только что собирался ложиться. По-прежнему по утрам ему трудно было работать, а к вечеру силы приливали, он словно оживал и с удовольствием засиживался над делами до глубокой ночи. Закончив работу, он приготовился уже раздеваться, как вдруг постучали. Он прислушался — не померещилось ли? Нет, постучали вторично. Кто так поздно?.. Он вышел в коридор и негромко спросил через дверь:

— Кто там?

— Федор Иваныч, — ответил голос Листопада, — это я, отворите.

Несколько секунд Уздечкин держал руку на замке и не знал: отворять или нет. Отворил. Еще какое-то время они стояли, один в передней, другой на площадке; потом Листопад усмехнулся и вошел, слегка отстранив Уздечкина.

— Не спите? Это хорошо, что не спите. Можно к вам? — Он прямо пошел на свет в столовую, скинул пальто, бросил на стул у двери… Уздечкин двигался за ним, не сводя с него глаз. Листопад сел к столу:

— Присяду, можно?

Уздечкин не отвечал. Глаза его спрашивали неистово: ну, что еще придумал?

На столе под лампой лежала папка с бумагами. Листопад открыл ее, прочитал бумажку, другую: заявления от рабочих; ссуды просят, ордера…

— Утопаете?

Уздечкин сказал с трудом:

— После войны у всех в быту обнаружились прорехи.

— И вы из своего завкомовского бюджета предполагаете все прорехи перештопать?

Глаза Уздечкина потухли. «Сейчас, — подумал он, — я возьму папку у него из рук и скажу: давайте завтра на заводе; я спать хочу…» — но Листопад сам отодвинул бумаги и спросил:

— Чаю дадите? Плохо встречаете гостей — даже чаю не предложите. Я бы выпил, откровенно говоря.

— Чаю предложить могу, — сказал Уздечкин, — только сладкого, кажется, ничего нет.

— Знаете, что я вам скажу? — сказал Листопад. — Жить надо так, чтоб было сладкое. Обязательно.

— Обязательно? — переспросил Уздечкин.

— Обязательно.

Оттого, что было уже очень поздно и все кругом спали, голоса у обоих были негромки и слова ронялись замедленно, по-ночному.

— Так-таки обязательно! — повторил Уздечкин с кривой улыбкой.

— Все-таки чаю дайте, — сказал Листопад. — Несладкого дайте, только горячего.

Ему нужно было хоть на минуту остаться одному: не получалось разговора с Уздечкиным! Трудно человеку одолеть собственный характер; пожалуй, это самое трудное, что есть на свете.

И Уздечкину хотелось остаться одному, чтобы привести мысли в порядок. Он нарочно долго возился в кухне, подогревая чайник. «Что это значит, — думал он, — зачем он явился среди ночи и зачем я буду поить его чаем, дурак я, и

больше ничего!» Сердце у него дрожало и болело. Он налил стакан чая и пошел в столовую.

Листопад стоял на пороге детской и смотрел на спящих девочек. Они были укрыты стеганными одеяльцами до ушей; только две светлые макушки видел Листопад в слабом свете, падавшем из столовой, да слышал сладкое, безмятежное детское дыханье… Он обернулся на шаги Уздечкина, взгляд у него был растерянный и мягкий.

— Вот, — сказал Уздечкин отрывисто. — Согрел, пейте.

Листопад вернулся к столу, но не стал пить. Облокотился и, нахмурясь, глядел на Уздечкина с недоумением. И вдруг сказал тихо:

— Что это у нас с тобой происходит, а? Ты не можешь объяснить?..

— Все понятно, — сказал Уздечкин, — что тут объяснять! Ты имеешь счет на меня, я на тебя. Я тебе моего счета еще не предъявлял.

— И я тебе тоже!

— Нет, ты предъявлял. У тебя выдержки нет, чтобы держать в секрете. Я все знаю, что ты обо мне думаешь. Ты думаешь, я мало даю… партии, народу… Ты думаешь, что ты много даешь, а я мало; и ты на меня смотришь как на муравья… Не спорь, я знаю.

Листопад не спорил, он молчал. Уздечкин перевел дыханье.

— Отсюда все и вытекает. Какие у тебя основания думать, что я мало даю? Потому что работаю тихо, без звона? Мне звона не надо!

— А что тебе надо?

— Много надо; только не звона.

— Так ты считаешь, что много даешь партии? Что же ты даешь?

— Все! — отвечал Уздечкин. — Все, абсолютно все, что имею. Последнее понадобится отдать — отдам последнее. А ты сколько даешь? Три четверти? Половину?

— Я тоже все, кажется.

— Нет, ты не все. Разве столько у тебя, сколько ты даешь? У тебя больше!

— Спасибо на добром слове, разреши считать за комплимент.

— Ты, может, и все отдаешь, — сказал Уздечкин, подумав, — так ты этого не чувствуешь. Ты радости много взамен получаешь. Сделка для тебя выгодная.

— Э, заговорил как подрядчик! Так бери и ты радость. Это ж у нас не нормированный продукт, бери, сколько можешь унести!.. Не умеешь? Так и скажи. Нескладно как-то все у тебя. Незграбно,

как на Украине говорят.

— Я сочувствия не прошу, если кто сочувствует, так это просто глупость. Уходи с твоим сочувствием!

— Не уйду, Федор Иваныч. Потому что если уйду, то второй раз мне не прийти. Я пришел с тобой помириться раз и навсегда, окончательно. А ты меня гонишь.

Выражение лица у Листопада было отчаянно-упрямое, мальчишеское… Уздечкин улыбнулся невольно, ему вдруг стало легко: как будто и с его плеч упало двадцать лет, и он тоже мальчишка, который и ссорится напропалую, и мирится прямодушно.

— Вот ты пришел, — сказал он, — и с маху поставил на мне клеймо: нескладно все у меня, говоришь. Ты меня знаешь — сколько? Меньше двух лет?.. Ты хоть раз говорил со мной не как директор, а как человек?

«Да ведь и ты передо мной являлся не иначе, как председателем завкома», — хотел сказать Листопад, но не сказал: мелки показались ему эти слова, и не стоило прерывать Уздечкина, раз уж тот заговорил.

Пусть выскажется.

— Я на заводе вырос. Я помню, как тут еще

дореволюционное оборудование стояло… как начали строить новые цеха, повезли оборудование по последнему слову техники. Новые мартены ставил комсомол, я был в числе бригадиров. На месте нового поселка пустырь был, голое поле — я помню, как закладывали каждый фундамент… Сейчас, конечно, много у нас нового народа, а до войны — идешь утром на работу, так голова заболит кланяться: со всеми встречными знаком! И каждый тебя знает по имени-отчеству, и каждому ты нужен!.. Тебе Кружилиха — что? Ты до нее, может, на десятках предприятий побывал. У меня тут и дом, и семья, и родина, и отцовская могила, и все!.. А тебя завтра переведут в Челябинск или Свердловск — ты и поехал! И хоть бы что тебе!..

— Постой, постой! — не выдержал Листопад. — По-твоему, значит, если я тут не родился, то уж и не могу любить завод так, как ты любишь?

— Не потому, что не родился. Потому что у тебя характер не тот. Таким, как ты, и здесь хорошо, и в Челябинске не хуже. Для тебя Кружилиха — один перегон, от станции до станции; а для меня — вся жизнь.

— Извини, пожалуйста! — сказал Листопад. — Ты о моих привязанностях суди по моей работе; а это все сочинительство — чепуха на постном

масле.

— А хоть бы и сочинительство, — сказал Уздечкин. — Мало ли мы друг о друге сочиняем. Человек не книга, чтобы прочитать сразу; смотришь на него и сочиняешь… Ты мою мысль прервал, — добавил он. — Подожди, я вспомню. — Он как бы вздремнул, поддерживая голову рукой, вид у него был очень усталый. Листопад смотрел на него со смешанным чувством раскаянья и интереса.

— Да! — вдруг вспомнив, обрадовался Уздечкин. — Я о периоде реконструкции упомянул. Вот тогда уже, понимаешь, мне страшно много понадобилось от жизни. Страшно много! Я до тех пор представлял себе социализм и коммунизм абстрактно, как будто это не у нас будет, а я не знаю где, чуть не в межпланетных масштабах… Ну, я тогда мальчишкой был… А как стали кругом подниматься леса, я понял: какого черта! не на Марсе, а вот тут это будет. Вот тут! — он постучал ногой в пол. — И как представил себе конкретно… так уж меня взяло нетерпение! скорей, скорей!.. Пятилетка в четыре года — даешь; жалко, что не в три!..

Он оживился, глаза заблестели.

«А трудно тебе было с твоим нетерпением», —

думал Листопад, наблюдая его.

— И тогда все старое мне перестало нравиться, — сказал Уздечкин, глядя перед собой. — Все, что мешает, понимаешь… Быт, например: гиря на ногах!..

— А что ж быт? — сказал Листопад успокоительно. — Часть жизни. Чай вон пьешь? Бреешься? Детишки есть? Вот и быт. Ничего такого страшного…

— Хочу счастья для каждого человека! — сказал Уздечкин, не слушая его. — Хочу жизни ясной и светлой для всех…

Он что-то еще говорил, а Листопад смотрел на него по-хозяйски и думал: первым делом подлечить тебя нужно; куда бы тебе съездить, в какой санаторий? Подправить тебе нервы — будешь работник что надо… «Вот какой, оказывается, у нас на Кружилихе председатель завкома!» — мелькнула привычная весело-хвастливая мысль. Макаров-то прав оказался.

— Слушай, — перебил он Уздечкина, дружелюбно тронув его за плечо, — это все так, а ты мне вот что скажи: ты полечиться не думаешь?..

Ночь над поселком. Ночь подсматривает сны и подслушивает разговоры. Выключено электричество, молчит радио. Час отдохновения и для

взрослых, которые устали работая, и для детей, которые устали играя… Спокойной ночи, люди добрые!

Глава пятнадцатая
Концы и начала

Накануне вечером пришла телеграмма о прибытии Маргариты Валерьяновны. Листопад велел выслать на аэродром машину и отрядить уборщицу, чтобы протопила квартиру. Машину послали, об уборщице забыли, никто, кроме шофера, не поехал встретить. Сам Листопад поехал бы на аэродром, если бы мог выкроить хоть полчаса. Но и четверти часа было не выкроить — готовился к докладу на заводской партийной конференции. Для доклада требовалось много цифр, фактов; плановый отдел, коммерческий директор, соцбыт, редакция заводской газеты — все сбились с ног в эти дни, поставляя материал для директорского доклада. А тут еще Макаров звонил, просил прислать тезисы. На тезисы, только чтобы продиктовать стенографистке, ушло полдня…

И Мирзоев никак не мог подступить к директору со своим разговором. В ту ночь, после встречи с комбатом, Мирзоев совсем уж было настроился уходить на учебу, но ему не удалось вовремя реа-

лизовать свою решимость, и она слабела изо дня в день, — он боялся, как бы она совсем не угасла… Нужно было заручиться кем-то для моральной поддержки. Каким-то человеком, которого он уважал бы так же, как комбата. Оглядевшись кругом, Мирзоев нашел, что единственный человек поблизости, которого он уважает почти так же, как комбата, — это Анна Ивановна. Он встал утром пораньше, чтобы захватить ее, пока она не ушла в заводоуправление.

— Анна Ивановна, — сказал он, подкараулив ее на лестничной площадке, — слышали новость? Иду учиться на инженера.

— Что вы говорите! — сказала Анна Ивановна. — Очень рада.

«Ну вот, — думал Мирзоев, вздыхая. — По крайней мере мне уже нет отступления».

Маргарита Валерьяновна вошла в свою бывшую столовую. Там было холодно и неуютно; мебель прикрыта газетами, на газетах пыль. Ручками в пуховых рукавичках Маргарита Валерьяновна сняла пыльную газету с низенького кресла, в котором она когда-то так горько плакала, узнав об отъезде, и присела отдохнуть, — у нее все еще кружилась голова после воздушного путешествия… «Опять я сижу в этой комнате, в

этом кресле, — подумала она. — Пусть я проживу здесь до смерти, не таскайте меня отсюда никуда, я ведь уже старая». В первый раз она подумала о том, что она старая. Это не испугало ее: что же делать, это бывает у всех. Одно ей было грустно: что в квартире нет телефона и нельзя сейчас же позвонить в завком и узнать, что там делается.

Часа в два Листопаду позвонила Нонна. Она спросила:

— Вы свободны сегодня вечером?

Он не был свободен сегодня вечером, но такая бодрая, радостная сила разлилась по всему телу от звука ее голоса, что он сразу ответил:

— Да!

— Я приду, — сказала она. — Часов в девять, — хорошо?

— Да, да, да! — повторил он с горячностью.

Когда она повесила трубку, он взялся за доклад с удвоенной поспешностью: скорей, скорей! Чтобы к девяти быть дома!

Вдруг бросил доклад и стал искать телефон директора столовой, — надо хоть ужин заказать…

К восьми управился с докладом. Было еще время приготовиться к приходу Нонны. Домой!..

Так что же я надену все-таки? Надену черное платье с высоким воротом, оно больше всех мне

идет. Надену туфли, которые берегу для самых торжественных случаев. Я иду на великий праздник!

У Нонны горело лицо, ее даже знобило от волнения. Кончено! Она выходит из своей светелки — ни девичьей, ни вдовьей, не разберешь какой…

Возьму его руки и приложу к моему лицу. Он почувствует этот жар. И ему передастся этот жар.

Как он сказал: «Ноннушка».

Она закрыла глаза и вспомнила его голос, говорящий:

«Ноннушка…»

Который час? Так можно собираться и бредить до полночи.

Часы стояли: она забыла их завести. Первый раз за восемь лет забыла.

Она перерыла ящики комода, выбирая все самое красивое. Туфли лежали, завернутые в шелковый лоскуток. Она их надела.

Громко и весело захлопнулась выходная дверь.

Что надо сказать — до свиданья или прощай? Может быть, она не вернется сюда. Вернется только на минутку — забрать тряпки.

Если он захочет, она останется у него, в его больших холодных комнатах, похожих на сарай.

О, захоти, захоти, чтобы я осталась в твоих больших холодных комнатах!

Ты захочешь.

За порогом был мрак. Она его не заметила. Ей было светло. Она не шла, светлая ночь сама несла ее.

Падал снег.

Нет смысла ждать трамвая, который всегда переполнен. Всего три остановки, двадцать пять минут ходьбы по прекрасной погоде — мороз небольшой, ветра нет, тихо и прямо падает снег.

Она не спешила. Нарочно замедляла свой полет: пусть не двадцать пять, пусть тридцать минут, даже тридцать пять — счастье никуда не уйдет, никуда от нас не уйдет наше счастье, наступит не на двадцать шестой, а на тридцать шестой минуте, вот и все.

Никогда у нее не было такой силы и легкости в руках, в ногах, в каждом мускуле. Она бы шла к нему сто километров на своих высоких каблуках и не устала. Сквозь падающий снег далекие, еще дальше отодвинутые падающим снегом, светились окна высоких домов. В окнах свет, в домах люди — и ничего нет, и никого нет: есть только он, ожидающий ее, и она, идущая к нему.

Листопад едва успел вернуться домой и немно-

го приготовиться к приходу гостьи, как раздался звонок.

«Не дождалась девяти! — подумал он с торжеством, бросаясь отворять. — Пришла раньше. Ах, умница!..»

Он открыл дверь…

— Боже мой!

Маленькая черная фигурка с вызывающе закинутой головой стояла в слабо освещенном коридоре.

— Вы здесь?

— Принимаете гостей? — спросил главный конструктор, входя в переднюю.

Его длинная шея была обмотана шарфом до ушей, шапка-ушанка подвязана под подбородком тесемочками. Из котиковой оторочки шапки торчало сухое, чистенькое, ехидное личико, порозовевшее на морозе.

— Вышел наугад, вижу — у вас свет. Дай, думаю, зайду.

Он поставил в угол палку и долго разматывал шарф, задрав подбородок и поматывая головой.

— Вижу свет — ну, думаю, дома! И зашел. На огонек.

Кто мог подумать, что старик способен на такие шалости…

— Владимир Ипполитович, — сказал Листопад, обрадованный, тронутый, заинтересованный, — как же я не знал, что вы здесь? Как же мне ничего не сказали?..

— А очень просто: я запретил им говорить. Они меня слушаются, по старой памяти. Я хотел сделать вам сюрприз. Ведь сюрприз?

— Сюрприз, — рассмеялся Листопад.

— Я так и знал, что для вас это будет сюрприз, — с удовольствием сказал главный конструктор, входя в комнату и потирая ручки. — У вас угощение приготовлено, вы ждете кого-то. Я вам помешал.

Листопад придвинул мягкое кресло к столу.

— Усаживайтесь, Владимир Ипполитович. Вы мне не можете помешать. Ведь я вас ждал! Одну минуту только, простите.

Он вызвал столовую и сказал, чтобы прислали ужин на трех человек. Да, заказано на две персоны, совершенно верно, а пришлите на три. Да, сейчас. В термосе и чтобы все как следует.

— А пока, Владимир Ипполитович, выпьем — за что? За пятилетний план нашего завода. Пьем?

— За пятилетний план нашего завода, — повторил главный конструктор, отхлебнул и усмехнулся: — Сладкое вино. Дамское.

И Листопад усмехнулся, немного смутившись:

— Дамское.

— Она другого не пьет?

— По-видимому.

— Я тоже.

Холодным взглядом главный конструктор окинул комнату. Должно быть, он думает: «В этой самой комнате ты был с другой. Голубок, не прошло и года, как ты отвез ее на кладбище, — вот сроки твоей любви и твоего горя».

— Мертвый в гробе мирно спи, жизнью пользуйся живущий, — сухо и отчетливо сказал главный конструктор, глядя в рюмку, как будто в ней он прочитал эти грубые и благодатные слова. Медленно выпил вино, надел очки, достал из внутреннего кармана объемистый блокнот. — Так вот, Александр Игнатьевич: что касается нашего завода, я позволю себе, если вы не возражаете, занять ваше внимание некоторыми замечаниями, прожектами, расчетами…

Нонна пришла к десяти. Листопад встретил ее восторженным возгласом:

— Нонна Сергеевна, вы представить себе не можете, кто у меня!

Она остановилась: у него есть кто-то?..

— Вот вы увидите! Ни за что не догадаетесь!

Приняв высокомерный вид, она переступила порог и увидела главного конструктора.

Он поднялся ей навстречу с бодростью, какой у него не было до поездки на юг:

— Нонна Сергеевна, я рад вас видеть.

Может быть, это было сказано с ехидством, а может быть, и от всей души, не в этом дело. Дело в том, что там, куда она шла, оказался третий человек, и присутствие этого третьего человека разбило все.

— Владимир Ипполитович, ну, разумеется, как я могла догадаться!.. Как вы себя чувствуете?

Он что-то отвечает. Она слушает и ничего не слышит.

— Надолго в наши края?

Он переглядывается с Листопадом, оба улыбаются, как дети.

— Не знаю, не знаю, не предрешаю ничего. Это там решат, — он показывает на потолок…

Каким-то образом перед нею оказывается рюмка с вином. Она машинально отпивает глоток. Вино горькое, как хина.

Что-то спрашивает у нее главный конструктор. О работе отдела. Кажется, она ответила связно…

— Да, а что с проектом Чекалдина? — спрашивает он у Листопада. — Помню, это было не без

таланта… Продвинут проект?

— Как же, включен в план, работы первой очереди будут закончены в сорок шестом году…

Это Листопад говорит. Он с увлечением рассказывает, как проект Чекалдина обсуждался на технической конференции и как исполнители настаивали на удлинении сроков работ, а они с Рябухиным поддержали Чекалдина, — боже, до чего он длинно рассказывает… Бьют часы. Звонят, входят, вносят какие-то тарелки, отвратительно пахнет едой… И разговоры, разговоры… Никогда не предполагала, что главный конструктор способен так разболтаться… И она говорит что-то и что-то ест через силу, чтобы не заметили, как она разбита вся.

Опять пробили часы. Нонна встала.

— Вы что, уходите? — взметнулся Листопад.

— Да, — сказала она. У него было такое лицо, что ей стало жаль его; она утомленно улыбнулась ему. Простившись с главным конструктором, вышла в переднюю, Листопад — за нею, в полной растерянности: он надеялся, что она дождется ухода главного конструктора…

— Я приду завтра, — сказала она тоном, каким говорят с детьми.

— Не уходи! — сказал он. — Он скоро уйдет.

— Я приду завтра, милый, — повторила она. — Мы сговоримся по телефону.

— Завтра у меня доклад, — сказал он.

— Ну, что же делать, значит, послезавтра, — сказала она тем же тоном.

Она чувствовала себя больной и не могла тут оставаться.

— По крайней мере подожди: я вызову машину.

— Нет, нет! — сказала она. — Я пройдусь пешком, я люблю ходить, мне нужно еще зайти в заводоуправление…

Ей не нужно было заходить в заводоуправление, ей хотелось пройтись одной, чтобы собраться с мыслями, а то в ней все рассыпалось…

Надевая на нее пальто, он обнял ее и спросил:

— Так послезавтра?

— Да, да!

Она спускалась, держась за перила и нащупывая ногой ступени.

Открыла тяжелую дверь на улицу — ей в лицо бросилась метель, широкое крыльцо было завалено снегом. Она пошла, не замечая метели.

Она очень медленно шла. Трудно идти, когда под легким, еще не обмятым снегом — мерзлая, в рытвинах, земля. Ей очень мешали высокие

каблуки.

Иногда она чувствовала страшную усталость. То вдруг засыпала на ходу и, очнувшись, не сразу понимала, где она и что с ней.

«Я просто больна, — вдруг догадалась она. — Просто у меня жар. Простуда…»

Больше всего на свете ей сейчас хотелось прийти домой и лечь. Где попало лечь, хоть на полу.

Неподалеку от дома, у подъема на горку, ей показалось, что она сейчас упадет. Она собрала силы, поднялась по деревянной лесенке, заваленной снегом, дошла до своей двери и позвонила Веденеевым — один раз: она не могла доставать ключи и отпирать все хитроумные веденеевские замки…

Когда Мариамна отворила, Нонна сказала: «Я больна» — и опустилась в снег.

Она лежала с закрытыми глазами, голова у нее горела, а в спине было такое ощущение, словно ее посыпают снегом: очень холодно и щекотно. Один раз она не выдержала и, открыв глаза, с негодованием сказала Мариамне: «Пожалуйста, перестаньте посыпать меня снегом!» Мариамна не ответила и укрыла ее поверх одеяла чем-то большим, тяжелым, и Нонна вдруг сразу уснула, будто провалилась в потемки. Когда проснулась,

около кровати сидел Иван Антоныч, доктор.

— Вы что ж это, мадам? — сказал он, держа Нонну за руку. — Людей пугать вздумали. Придется вас в больницу.

— Не надо, — сказала Мариамна. — Незачем.

— То есть как, мадам, незачем? — спросил доктор.

— Знаю, была, — отвечала Мариамна. — Скребут полы с утра до ночи, а позовешь зачем — подойти некому. Пускай тут лежит.

Нонна никогда не лежала в больнице, но ей вдруг представилось, что там невыносимо скучно, одиноко, печально. Она сказала слабым голосом:

— Не хочу в больницу! — И заплакала, и Мариамна фартуком утерла ее мокрые щеки.

— Ах, медам, медам, — сказал доктор, — морока мне с вами, будьте вы неладны.

Он сел к столу писать рецепт, и Нонна не слышала, что он дальше говорил и когда ушел.

Еще два раза она просыпалась. Один раз оттого, что за дверью разговаривали два голоса: голос Мариамны и голос Кости. Мариамна называла лекарство неправильно, а Костя не понимал и переспрашивал, и они вдвоем на все лады уродовали незнакомое слово.

— Сульфатиазол, сульфатиазол! — прислушавшись, поправила их Нонна.

Ей показалось, что она крикнула это очень громко. Они как будто испугались ее голоса и замолчали, а ее снова свалило забытье…

В другой раз она открыла глаза, и между нею и лампой, горевшей на столе, большой, темный, сгорбившийся, прошел Никита Трофимыч. Он прошел на цыпочках к двери, и его не стало, одна Мариамна стояла в ногах кровати…

«Как это славно, — подумала Нонна, поворачиваясь к стене, чтобы опять заснуть, — как славно, что старик здесь был, — значит, он на меня больше не сердится, ах, как хорошо…»

Она очнулась вся в поту. В печке бурно потрескивали, словно взрывались, дрова. Солнце, поднимаясь, заходило в комнату, на окне сверкали морозные пальмы. Пока она спала, наступила настоящая зима.

— Какой сегодня день? — спросила Нонна.

— Четверг, — ответила Мариамна.

Нонна сосчитала: значит, всего один день и две ночи она провалялась в постели. Вспомнила во всех подробностях позавчерашний вечер…

— Ко мне никто не приходил? — спросила она.

— Ребята заходили, спрашивали. Доктор был

два раза.

Мариамна переменила Нонне рубашку и наволочки на подушках, вымыла ей руки и расчесала волосы. Чтобы не думать о том вечере, Нонна попросила принести какую-нибудь книгу.

— И помирать будешь с книгой, — сказала Мариамна, но все-таки спустилась вниз и принесла толстую, растрепанную книгу.

— Все читают, растрепали, — сказала она. — Хвалят.

Это был «Обрыв». Нонна читала его в отрочестве, почти забыла. Она стала читать с середины. Трудно было поддерживать тяжелую книгу, Нонна опускала ее, и задремывала, и опять читала. Тихо прошел день, наступили сумерки. Мариамна ушла вниз готовить ужин, некому было зажечь лампу. Нонна лежала лицом вверх, смотрела на голубое, отдаленное сумерками окно и думала о том, как изменилась жизнь со времен Райского и Веры — и место любви в жизни изменилось, и отношение человека к любви. Тех преград, которые стояли перед Верой на пути к счастью, для Нонны не существует, время их опрокинуло. Но, видимо, какая-то плата все-таки положена за счастье, другая плата: ради любви приходится человеку поступиться кое-чем своим; это почти

физический закон — там, где одному просторно, двум, естественно, приходится потесниться… Так думала Нонна, лежа одна в тишине и сумраке. Позвонили. Неясно донеслись голоса, потом шаги по лесенке. Она почувствовала слабость до обморока… Вошла Мариамна.

— Директор приехал, к тебе просится.

— Зовите, — сказала Нонна, положив руку на сердце.

Мариамна зажгла свет, оправила постель и вышла…

И вот он здесь, большой, страшно большой в ее маленькой светелке! Присел, провел по ее лицу ладонью, пахнущей кожей перчатки.

— Как же так! — сказал негромко. — Не прислала, не известила, исчезла — и всё. Я вчера закрутился с этим докладом, сегодня звоню проститься, — говорят: второй день нету. А тут сказали — воспаление легких, и я не знал. Так нельзя!

Ее ударило слово: проститься. Она спросила шепотом:

— Ты уезжаешь?

— Да, в Москву, — отвечал он. — Наркомат вызывает, кстати, надо заново оформлять Владимира Ипполитовича. Непоседливый старик:

совсем было уволился, теперь все с начала. А другого не хочу. От добра добра не ищут. — Торжество светилось в его глазах; видно, очень близко принял к сердцу возвращение главного конструктора.

Так же покорно она спросила:

— Надолго ты?

— Дня четыре с дорогой, — ответил он. — Ну, может быть, задержусь немного… В общем — не больше недели.

Этот ничем не поступится ради любви. Не потеснится… Поступаться, и тесниться, и смиряться, и ждать будет только она. Он полетит в Москву, и пойдет в наркомат, и будет хвастать своей мотопилой, и рассказывать, какие возможности она открывает для лесной промышленности, и как он осваивает производство резьбонакатного станка, и все будут слушать его с удовольствием и любить его… Вечером он с приятелями будет ужинать в ресторане и опять хвастать — своим заводом, своим главным конструктором, своей молодежью, — и все будут любить его… Он вспомнит о Нонне и о том, что она больна, и пошлет молнию: «Телеграфируй здоровье…» Она взяла большую руку, лежащую на ее волосах, и поцеловала ее.

— Ноннушка, — сказал он беспомощно, — я

полюбил тебя очень, Ноннушка…

Мимо двери, которую Мариамна оставила открытой, покашливая, прошел Мирзоев. Он умирал от законного любопытства. Он еще с утра решил, что сегодня состоится разговор между ним и директором. Он будет просить, чтобы его отпустили… Но невозможно уволиться, не узнав, чего ради директор помчался к Нонне Сергеевне.

Поразмыслив, Мирзоев оставил машину на попечении мальчишек и поднялся к Нонне. Присутствие директора не смущало его; кашлял он для того, чтобы предупредить влюбленных о своем приближении: успеют нацеловаться, вся жизнь впереди.

— Тебе что, Ахмет? — спросил Листопад весело. — Обожди, минут через десять поедем.

— Здравствуйте, Нонна Сергеевна, — нежно сказал Мирзоев, встав на пороге со своей улыбкой. — Душевно огорчен вашей болезнью.

— Подхалимничай хорошенько! — вскричал Листопад. — Травкой перед ней стелись, понятно?

— Вполне понятно, — прикрыв глаза, многозначительно сказал Мирзоев.

И, всячески показывая, что он сочувствует влюбленным и благословляет их, еще раз улыб-

нулся и отправился вниз — у хозяев разузнать подробности о новой директорше.

Нельзя было курить около больной, и Листопад с удовольствием закурил, уйдя от Нонны. Зажав в зубах папиросу, на ходу застегивая пальто, вышел он на улицу и взглянул вверх, на ее окна.

Мягко светились они сквозь белые занавески. Хорошо, когда светит человеку этот ясный свет. Хорошо знать, что кто-то о тебе вспоминает, кто-то тебя ждет, кто-то все тебе простит…

Ах, Ноннушка, милая…

Хорошо из натопленной комнаты, где нельзя курить, выйти на простор, под летящий снег. Вдохнуть чистый и крепкий, как спирт, морозный воздух. Затянуться всласть табачным дымом. Оглянуться на ласковые окна — и опять хозяин сам себе.

Снежинки налетели и погасили папиросу. Мирзоев ждал в кабине. «Ну-ну-ну-ну!» — стучал мотор.

— Кругом давай, — сказал Листопад.

Мирзоев знал эту команду. У каждого начальника своя фантазия. «Кругом» — это значит: гони по всему шоссе, вокруг всего города, а потом уже на завод. И не смей разговаривать — директор думать будет. На заводе его отвлекают: он думает

в машине.

До чего не везет человеку: придется отложить решающий разговор на завтра…

Автомобиль тихо поплыл по крутой улице в гору, проплыл до поворота на шоссе и помчался прочь от поселка.

Трамвай взбирался в гору страшно медленно, казалось, что он стоит на месте. Маленький трамвай, увешанный людьми. Это те, кто живет в поселке, а работает в городе; они возвращаются домой.

Если человек работает в городе, думает Листопад, то и квартиру ему нужно в городе; а в поселке пусть живут те, кто работает здесь, на заводе. А то ведь он по два раза в день вот так мучается: ждет подолгу на морозе, висит на подножке, руки стынут — держаться за поручни… Да, а если жена работает в городе, а муж на заводе, — где должна жить семья? Вот задача, действительно…

Пусть оба работают на заводе. На Кружилихе десятки профессий требуются. Есть же такие семьи, где все на одном заводе. Вот семья Веденеевых…

Домов надо больше, домов. Только не этих безобразных кирпичных кубов на двести квартир каждый. Строят по пять этажей, без лифта. Либо с лифтом, либо в три этажа, не больше. А лучше

всего — особняки, по две квартиры на особняк, каждая с отдельным входом. Где у них тот проект новой улицы, который отложили из-за войны? Время строить. Вернусь из Москвы, будем строить.

Надо же было заболеть тебе, Ноннушка. Была бы здорова — посадил бы тебя вот здесь рядышком и все бы это тебе рассказывал, чтобы ты меня слушала и смотрела на меня. И глаза бы твои блестели из-под меховой шапочки. Руку твою взял бы и вложил в свой рукав, чтобы согреть. И так славно мы с тобой прокатились бы. В полость всю тебя завернул бы, как ребенка…

— Ахмет, — Мирзоев поворачивается к директору. — Скажешь Аверкиеву: пусть достанет новую полость. Хорошую. Волчью.

— Хорошо, — отвечает Мирзоев и лукаво улыбается в темноту…

Вниз, вниз с горы! Летят за окном чугунные перила моста. Здесь была когда-то речушка, пересохла. Только весной, когда тает снег, ее русло наполняется водой. Летом на дне русла жидкая грязь, осока, комары. Вызвать гидрологов. Пусть подумают и дадут смету: во что обойдется, чтобы снова была река. Пусть будет река. Парк насадить по берегу, где сейчас мусорная свалка. Вода и

зелень чтоб были вокруг поселка. Купальни поставить. Яхт-клуб. Белые мачты, алые вымпелы, ребята в майках, состязания по гребле и плаванию. А для домашних хозяек — там, пониже, по ту сторону моста, поставить хорошие плоты для стирки белья. С навесами плоты, с брезентовыми навесами от дождя и солнца. Стирай, голубочка, наводи чистоту!

Сколько лет думаешь прожить, Александр Листопад? Не по щучьему веленью на месте мусорных свалок поднимаются парки. Миллионы выносливых рук трудятся многими годами, неустанно и терпеливо, чтобы еще насколько-то улучшить человеческую жизнь. Когда еще гидрологи принесут проект и смету, когда еще будет приведена в иссохшее русло вода! Потом придут школьники в красных пионерских галстучках, посадят тоненькие деревца, тебе по плечо деревца, смешной ты человек! А ведь ты не эти деревца видишь перед собой. Ты видишь большие березы и липы с тяжелыми кронами, ты чуешь густой шум листвы и свежесть глубокой тени в летний день, — да сколько же это лет прошло с сегодняшнего дня?..

Ну и что же? Да, много лет прошло, ну и что же? Что из этого следует, собственно? Что меня,

Александра Листопада, не будет на свете, когда разрастутся те, не посаженные еще деревца? Знаю, знаю, был студентом, пел: «Умрешь — похоронят, как не жил на свете…» Коротковата жизнь, конечно, — хоть вдвое бы, если уж нельзя втрое… Коротковата, ничего не скажешь. Но можно успеть кое-что. Вот поселок достроюю… И новую реку увижу, и пионерские деревца увижу, — а может, увижу и тот тенистый парк! Ты знаешь, что ли, что мне не дожить до девяноста лет? Наша порода живучая.

А не доживу, так другие увидят, Чекалдин увидит, Коневский увидит, мальчик Анатолий Рыжов увидит, увидят дети тех, что вот сейчас поехали с работы домой, держась за поручни окоченевшими руками… «Как не жил на свете»? Враки. Я живу на свете. Я на этом свете оставил мой след на веки веков!

Ноннушка, а ты меня поймешь, если я вот это все буду тебе говорить? Никому не говорю, не приходится к слову, и некогда, и неловко, скажут: «Чего агитируешь за Советскую власть, знаем без тебя». И Клаше, бедняжке, не говорил, а тебе хочу говорить и хочу, чтобы ты поняла. Ты поймешь.

Ты умная, Нонна. Спасибо судьбе, что подослала умную подругу. Ты с твоим умом должна была

разгадать, что я за человек. Меня хитрецом считают, говорят: «Хитрый хохол», — а я, Нонна, самый простодушный человек. Я верую простодушно в свою цель, в твою цель, в цель моего народа, моего государства. Хотят, чтобы у моей веры была научная база. Что ж, база хорошая вещь. У меня есть база, но вера моя не стала от этого менее простодушной, она не ушла из сердца в мозг, она душевная, вера моя! И исповедую я ее простыми словами, а не научными терминами. Солдат шел в бой со словами: «За Родину, за Сталина», — все равно, была у него база или не было. И я живу с простыми девизами, хотя и знаю истмат и другие ученые вещи. Ноннушка, прими меня, открытого! Машин с тобой настроим, речку обводним, парк насадим — милая ты моя! — счастье народа будем строить, Ноннушка, так это называется попросту…

Машина шла по городу. Сквозь сетку снега замелькали большие дома. Массивная темная глыба в колоннах — оперный театр, построенный еще руками крепостных. Чистые, стройные параллелепипеды университета, воздвигнутые лет двенадцать назад. Вместе с русскими здесь учатся дети северных кочевников — охотников и оленеводов, не знающих грамоты… Больнич-

ный городок, где умерла Клаша… Улицы, улицы — корпуса, светофоры, магазины, столбы, избы, леса построек, начатых минувшим летом и отложенных на будущее, — пестрое, многосложное, вечно собой недовольное человеческое общежитие — город!

Будет ли день, когда человек скажет: «Я всем доволен, премного благодарен, мне больше ничего не надо»? Никогда не будет такого дня. Всегда раскрыта земля для новых семян, и никогда не сняты леса для строителя. А кто произнес такие слова, тот мертв, от него нечего ждать живым.

Уже позади город. Разыгралась метель. На бешеной скорости гонит Мирзоев машину по шоссе. Мечется перед очами белый вихрь… Редко промчатся фары встречной машины, коротко и сильно прошумит встречная, обдав светом, — и опять только снег кругом, мечутся сумасшедшие белые полотнища… Пляши, пляши; гуляй, красавица, не знающая удержу русская зима!

И вот приближаются неясные сквозь метель светы, неясные сквозь шум мотора звуки — мое место на земле, кровиночка моя — Кружилиха. За что я полюбил тебя, Кружилиха? Не ты меня вскормила, не ты меня взрастила, а присох!..

Проступили сквозь метель высокие окна. Фо-

нарь; резко освещенные, летят снежинки мимо фонаря. Все кругом завалено пуховым снегом. Лебедино чистая стоит обитель владыки мира — Труда. И на чистую обитель сеет, сеет, сеет летучие свои алмазы безудержно щедрая русская зима…

— Приехали, Александр Игнатьевич.

1947

Евдокия

1

На улице Кирова, бывшей Пермской, стоит двухэтажный бревенчатый дом Евдокима Чернышева, кузнеца. Евдоким воздвигал его почти двадцать лет. Сначала была изба на две комнаты, в три окна, потом пристроили угловую светлую комнату — ту, где переночевал последнюю ночь Андрей, а до отъезда в училище жил Саша и где на стене висит модель линейного корабля; потом ставили второй этаж, — это уже когда семья разрослась, стало тесно, а Павел и Наталья стали зарабатывать хорошие деньги.

На окнах белые занавески, шитые прорезью, — к этому вышиванью приложили руки все женщины семьи Чернышевых, даже недоброй памяти Клавдия, порхнувшая по дому недолговечной бабочкой… Белые занавески и китайские розы. Розы растила Катя. Уезжая на фронт, она долго наставляла Евдокию, как ходить за цветами. Евдокия до цветоводства не охотница, но ради Кати берется за ножницы и лейку и холит, и охорашивает оконный девичий сад.

В доме теплота натопленной русской печи, запах вымытого пола и горячих шанег, смешанный

с запахом машинного масла от рабочего платья, висящего в сенях. Чисто в невысоких горницах с потертыми половичками, простеленными от угла к углу. Много портретов в узких рамках по стенам. И маленькая Лена спрашивает Евдокию:

— Бабушка, это всё твои дети?

— Ну да, — отвечает Евдокия.

— Столько много детей?

— Где же много? Всего четверо, Андрюша пятый был.

— Где же четверо? Тут одних девочек десятеро или двадцатеро.

— И всего две девочки: тетя Катя да мама твоя.

— А вон та, с косичками?

— Мама.

— А стриженая, с длинной шеей?

— Мама.

— А красивая, в бусах?

— Мама.

— И на пушке — тоже мама? — спрашивает Лена.

Евдокия вздыхает:

— Нет. На пушке — тетя Катя.

Лена закрывает глаза и говорит:

— Столько разных детей, что я устала на них смотреть.

2

В тысяча девятьсот двадцать втором году Евдоким Чернышев решил жениться.

Мать писала: «Долго ли еще будешь скитаться неженатым? Время, сынок!» До тех пор ему было не до женитьбы. Жизнь мотала его: из тесной отцовской кузницы в деревне Блины — в визг, лязг и грохот огромного цеха на уральском заводе, с завода — на войну. Война была долгая, она пронесла Евдокима от Урала до Карпат, с Карпат в Питер, из Питера во Владивосток, через тысячи километров железнодорожных путей, сквозь сотни площадей, деревень, станций, сквозь госпитали и пустыни. Бродя с товарищами-партизанами среди болот, он заболел лихорадкой; одежда, пропитанная потом, высыхала на нем; сыпь, сливающаяся в гнойные корки, обметала ему рот. И вот по ночам, на бездомном привале, в жару и ознобе, глядя на звезды и дыша со свистом сквозь зудящие, изуродованные губы, он стал мечтать о будущем гнезде, о семейном рае. Именно раем представлялась ему семейная жизнь: светлое место, где человек снимает тяжелые сапоги и передыхает после труда и битвы. Светлая,

спокойная, разумная жена виделась ему — помощница и советчица; светлые, ласковые дети…

У его матери было детей одиннадцать душ. Чтобы за стол не садилось тринадцать человек, мать выписала из Кукуштана бабушку. Бабушке не хотелось уезжать из Кукуштана, но она пожалела дочку — тринадцать душ за столом каждодневно, ни на что не похоже! — и переехала в Блины. Было хлопотливо и весело. Когда лепили пельмени, от них некуда было деваться, пельмени лежали на столах и лавках, и на кроватях, и на подоконниках, мешки с пельменями висели в сенях на морозе. Молоко к столу подавалось в ведре, шаньги — на блюде величиной с колесо. Вот такой дом и представлялся Евдокиму! Он строил его и украшал. Он нес в этот дом заработанный хлеб и гостинцы. Детские головки окружали большой стол, приветливая женщина господствовала у большой печи…

Отвоевав, Евдоким вернулся на Урал, на свой завод. С удивлением он отметил, что в усах у него седина, а вокруг глаз морщины — рановато. Юность прошла, он стал солидным, серьезным, усердно работал, о пустяках говорить не любил. Раненая нога ныла перед дождем. От лихорадки его вылечили. Мечта о гнезде осталась, теперь

она могла осуществиться. Он посматривал на девушек, но — та ему казалась грубой, а та некрасивой, а та любила гулять с парнями — ни с одной не хотел он вить свое заветное гнездо…

— Скучаешь, Чернышев, — сказал однажды старик Авдеев. — Заходи вечерком, побеседуем, выпьем.

Авдеев был из лучших рабочих, держался важно. Евдоким надел праздничную рубаху и пошел.

Авдеев вдовел, подавала на стол его дочь Евдокия. У нее было большое белое лицо и большой улыбающийся рот, и это лицо с постоянной улыбкой, широкими скулами и тонкими высокими бровями напомнило Евдокиму красивый и непонятный лик Будды, который он видел во Владивостоке.

Она молчала весь вечер, все вставала, уходила и опять приходила, и над столом двигались ее белые полные руки. Евдоким разговаривал с Авдеевым и старался на нее не смотреть. Его поразило имя: он — Евдоким, она Евдокия. Судьба? Покуда он обучался в отцовской кузне, вживался в завод, воевал с германцами и белобандитами, валялся в бреду по болотам, — для него безвестно, скрытно, как лесной цвет под листком, подрастала эта белолицая Евдокия. И негаданно, нежданно, будто

за поворотом дороги, она открылась ему. Это ее, стало быть, он дожидался?..

С того вечера он все думал о ней.

Он ходил к Авдееву и с ней не разговаривал — стеснялся, и не смотрел на нее, но думал о ней и думал. И ночью она была в его снах, белая и горячая, с высокими дугами бровей.

В доме не было другой женщины, Евдокия все делала сама; все было в большом порядке, и сама Евдокия всегда такая чистая и убранная. За это Евдоким еще больше ее любил и уважал. Вот именно такая ему нужна! Только такую жену он хочет! Но он боялся, что она за него не пойдет и что Авдеев будет против их супружества. Евдоким приучал их к себе и выбирал подходящую минуту для сватовства.

Как-то Авдеев позвал его, он пришел, а Авдеева не было дома.

— Придет скоро, велел обождать, — улыбаясь, сказала Евдокия.

Он вошел в парадную горницу и сел, положив шапку на колено. Перед ним в простенке висела картина: девица с голубями. Евдоким смотрел на картину, уже изученную во всех подробностях, и слушал, как Евдокия ходит в кухне. Потом она вошла и стала за его стулом. Он не повернул

головы, все смотрел на девицу с голубями. Замер весь белый свет, в полной тишине тикали часы и дышала Евдокия. Она вздохнула прерывисто, тронула ладонью его затылок и прошептала:

— Ах, ты-ы…

Он повернулся и обнял ее, шапка упала ему под ноги, дверь отворилась, и вошел старик Авдеев.

— Очень прекрасно, — сказал он, — за родительской спиной… Ну что ж, по крайней мере — не мот, не франт. Непьющий. Пускай как она хочет.

Он снял с божницы образ и деловито помахал им перед дочерью и Евдокимом.

Сидели ужинали. Авдеев наливал из графинчика и говорил:

— Все бывает в жизни. Ты это запомни, Евдоким, — в жизни бывает все, и обижаться не надо. Деньгами дам десять червонцев, дал бы больше, да сейчас не могу.

Евдокия пояснила:

— Папаша сами жениться хотят.

Евдоким сказал:

— Прежде чем играть свадьбу, хочу дом поставить.

— Ну что ж, — согласился Авдеев. — Станови. Оно вернее. Будем здоровы!

И залпом выпил рюмку.

3

Горсовет разрешил Евдокиму построиться на пустопорожнем участке на Пермской улице. Завод дал лес, а Авдеев — пять червонцев в счет приданого.

Евдоким написал письмо в деревню Блины, и четыре брата приехали строить Евдокиму дом. Авдееву хотелось поскорее выдать дочь, чтобы самому жениться. Он тоже помогал: выхлопотал кровельное железо по дешевке и приладил шпингалеты и дверные ручки. Денег было мало, приходилось рассчитывать каждую копейку. Евдоким торопил братьев и даже поссорился с младшим, Сергеем, который повадился отлучаться с постройки и шляться по городу.

Евдокия братьям понравилась.

— Добрая, — говорили они, — хозяйка будет.

Она приносила им обед и разговаривала с ними ласково, по-родственному.

Был июнь месяц. Постройка подходила к концу. Днем Евдоким работал на заводе, а вечерами и длинными белыми ночами строил свой дом. Он сам ставил печь, оковывал кадушки, делал крышки для чугунов, ковши, жаровни, ковал крючья

для вешалки и отделывал в подарок Евдокии дубовый комод. Всякая работа удавалась ему. Он мог бы стать, если бы захотел, и жестяником, и печником, и столяром, мог работать двадцать часов подряд, не уставая. Особенно весело было делать что-нибудь, когда Евдокия стояла рядом и смотрела на него.

Каждый день он видел ее, и она становилась ему все милей и ближе. Движения ее были круглы, неторопливы и точны, и, как у него, всякое дело спорилось в ее крепких руках. Все в ней было желанно, сердце горело, когда она подходила близко!

Иногда они на минуту оставались вдвоем, и он обнимал ее, но сейчас же она отстранялась, пугливо раскрыв губы, а он думал гордо и умиленно: «Голубка моя чистая!»

Наконец дом был построен.

В доме были расставлены новенькие некрашеные столы, лавки, полки. На кровать уложили Евдокиину перину и восемь подушек; верхняя подушка почти касалась потолка. Рядом поставили Евдокиин кованый сундук со звоночком.

Наступил день свадьбы. В доме Авдеева играла гармонь, ели, пили, танцевали. Евдоким сидел возле Евдокии. На голове у нее была красная

лента. Лицо ее пылало, конец ленты щекотал ей шею, и она, опьяневшая, слабо отмахивалась от него, как от мухи. Приходил фотограф, снимал жениха и невесту. Худая женщина в зеленом платье распоряжалась и угощала. Это была будущая жена Авдеева. «Старая полюбовница папашина», — сказала Евдокия.

Пировали весь день и всю долгую ночь. В окна заглядывали с улицы чужие лица. Евдоким сидел, держал Евдокию за руку и, когда кричали «горько», целовал ее в мягкие губы. Его Евдокия! Сейчас они, рука в руку, пойдут в свой дом, и это будет начало пути, длинного, счастливого, правильного пути, который закончится только с их смертью.

Вот уже они встают. Кто-то что-то говорит. Они идут по улице, потемневшей перед рассветом, гости и зеваки провожают их, играет гармонь то будто очень далеко, то над самым ухом, — женщина в зеленом платье пляшет перед ними. Вот их дом. Их окружают, хохочут и шутят. Евдоким не понимает слов, вино и кровь шумят у него в ушах… Они входят в дом. Он запирает дверь.

Сразу становится тихо. В прохладные комнаты бледно глядит рассвет, пахнет свежим деревом, пихтой. Они одни, Евдоким и Евдокия, присуж-

денные друг другу судьбой…

Через полчаса она крепко спала, а он лежал неподвижно, лицом вверх, чувствуя себя поруганным и одиноким.

4

Можно было осрамить, ославить, отвести обратно к отцу — мол, получай свое сокровище, думаешь — иконкой раз-два махнул, так и буду на нее, обманщицу, век работать, как дурак! Не на таковского напали, советская власть никого силком не принуждает жить…

Можно оставить при себе, скрыть ото всех, что его надули, как последнего мокрогубого мальчишку, — оставить при себе и держать в унынии, в молчании, в страхе, источить попреками: «Что?.. Да ты кто такова, чтобы мне отвечать? Ты — нечестная, ты обманом меня взяла, чтобы разврат свой покрыть. А полюбовник сбежал, что ли? Что ж так? Женитьбой, значит, не прельстился?» Вот так точить и точить, чтоб стала тоньше спички…

Да, а как же он будет со своим прекрасным домом, который заложен еще там, на гнилых болотах, в партизанском неустройстве? С домом, над которым вот уже возведена крыша?

С кем сладить жизнь, которую так хорошо обдумал и навеки полюбил в мечтах? Где она, его светлая жена?..

Как будто полегчает от того, что она вернется к отцу, а он один останется среди этих стен, для нее поставленных… Да он и жить тут не сможет от тоски!

А насчет того, чтоб извести ее попреками, — этого он и не умеет даже, это так, вообразилось в минуту горя и гнева, — и от одного этого воображения стало еще тошней.

Нет, не будет ему жены, кроме Евдокии.

Ведь вот и порченая, и улыбка у нее бабья, лукавая, блажная, и ума, как приглядишься, не палата, — а все тянется к ней душа и не хочет никакой другой.

Она будто и не понимает, почему он тоскует и хмурится; смотрит спокойно, улыбаясь. Эх, припечатать кулаком, чтоб не стало этой улыбки, да больно жалко!..

Марьюшка, соседка, повстречалась ранним утром на пустой улице. Лицо у Марьюшки было длинное, смуглое, глазки черненькие, беспокойные. Славилась она своим степенством и совершенством манер, а также многими знаниями: знала все приметы, заговаривала зубы и толковала сны. Остановив Евдокима, Марьюшка сказала:

— Что, сосед, хочу спросить, — тебе-то, верно,

известно, — Ахметка-то совсем уехал, что ль?

— Какой Ахметка? — спросил Евдоким. Не задай он этого вопроса, так и не заглянуть бы ему никогда в Евдокиино прошлое, и, может быть, скорей бы прошла боль в сердце, которая даже во сне не оставляла его.

— Нешто не знаешь Ахметки?! — непомерно изумилась Марьюшка.

— Не знаю я никакого Ахметки.

Марьюшка прикрыла глаз уголком платка и застонала от смущения. Потом поспешно, чтобы он не ушел, изложила все.

Татарин Ахмет, приказчик из бакалейной лавки, был Евдокииной зазнобой. Она сошлась с ним, когда ей было шестнадцать лет. И отец знал и допускал. Да об нем что говорить! Друг дружке не мешали. Ихняя авдеевская порода вся бесноватая… Как же, погуляла всласть, мои матушки. Ребеночек был, скинула ребеночка. Да неужто Евдоким не знает ничего? Марьюшка была в уверенности, что его предварили. Такого человека хорошего и не предварили, совести нет у людей… Да, скинула, года три назад, а с тех пор ничего боле не нагуливала, хоть и гуляла по-прежнему. Как лавку закрыли, Ахмет уехал; после, значит, в скором времени опять приехал и

давай за старое; уезжает — приезжает, и прямо к ней, ужасти подобно…

— Что ж не поженились? — глухо спросил Евдоким.

— Дак — татарин! Нельзя ему. Он с самого начала ее предварил — мол, моя вера не допущает. Отец у него, вишь, шибко за веру держится. Лёгко у них все было, лёгко.

— Его нет? — спросил Евдоким каменными губами.

— Нету, сейчас нету. Еще до того времени, как ты стал к ней ходить, пропал, совсем пропал куда-то.

Евдоким кивнул головой и пошел. Он шел широким, грузным шагом, слегка приседая, как человек, несущий на плече тяжелый мешок. Вот оно как! Вот, значит, как…

Прежде он думал, как, поженившись, они будут по вечерам всё друг другу рассказывать и советоваться. Ничего этого не было — ему не хотелось с ней говорить, он сидел молча, много курил, прочитывал газету и шел спать. Советоваться! Что с ней советоваться? Она пошла за него, любя другого.

И все-таки он любил ее. Она была такая же, как до свадьбы: ясная, красивая, опрятная. В доме

было чисто, еда вкусная, сама — как из бани. Все она что-то делала, никогда не сидела без работы. Куря, он слушал, как она ходит и дышит. И ему нужно было, чтоб она ходила и дышала.

Чтобы не было так тягостно, он стал приводить своего товарища Шестеркина. Шестеркин на работе оглох и в разговоре кричал без надобности, но был человек чистый, простого сердца. Он думал, что Евдоким должен быть очень счастлив, имея такую жену, и кричал на весь дом:

— Страдал ты? Верно! Ну, да без страданья нет награды! За страданья тебе награда — она!

Евдокия любила, когда приходил Шестеркин. Без него очень уж тихо было в доме. Евдокия думала, что Евдоким, конечно, ничего себе человек, но скучно с ним. Молчит да молчит. Приласкает когда — и слова не скажет, а без слов что за любовь? Так ли любил ее Ахмет: он ей сказки сказывал, на коленях ее качал, как дитя, учил нежные слова по-татарски говорить. И все-то смеется — белые зубы, черные брови, рука узкая, ласка вкрадчивая… Хорош Ахмет!

Так прошло года полтора. Постепенно привыкали друг к другу, сживались. Детей не было. Евдоким хоть и помнил мутный Марьюшкин рассказ, однако надеялся, что будут дети. Евдокия

помалкивала, но про себя давно знала, что материю ей не быть никогда.

5

У отца Евдокия бывала редко.

На именины и на пасху полагалось поздравить родителя, в прощеный день — попросить прощенья. Евдокия шла вместе с мужем, их принимали с почетом, угощали, но она чувствовала себя стесненно, как у чужих. Мачеха была слащавая, неискренняя, с завистливыми глазами; отец словно боялся, что Евдокия чего-нибудь у него попросит. А пуще всего Евдокию удручала Наталья.

Этой Наталье, мачехиной дочке от первого мужа, было лет десять. Глазастая, стриженная под гребенку, с длинной тощей шеей, она угрюмым и злым лицом была похожа на старуху. Когда приходили гости, она стояла у двери, водила глазами, и, оборачиваясь, Евдокия встречала ее недобрый взгляд.

В доме Наталью не любили. Мачеха говорила жеманно-ласковым, приторным своим голосом:

— У людей дети как дети, а моя — бог с ней! — неслухмяна, непочтительна. Читать научилась: от кого научилась, — так ведь ни за что не скажет, хоть пополам ее перебей, не скажет, вы подумайте! А кошку зачем ты, зачем кошку прибила,

ну? Говори.

У Натальи покривились губы, по лицу прошла судорога. Глухо, ненавистно она ответила:

— А зачем она мышку мучила?

Мачеха притворно засмеялась:

— Глупая. Разве она мучает? Она с ней играет, забавляется…

Евдоким жалел Наталью. Идя с Евдокией домой, он говорил:

— До чего довели девчонку; не смеет к людям подойти, из угла глядит. По голове хотел погладить — шарахается. Даю ей пряник — она за него взяться не умеет, не умеет спасибо сказать, ровно бирюк.

И прибавлял с обидой:

— Другие ждут не дождутся детей… А этим, видно, ничего не надо, кроме своей утробы.

«Будь у нас дети, — думала Евдокия, — он хороший был бы отец». Чувство вины перед ним касалось ее сердца, и она старалась получше заботиться о муже, повкусней его накормить, чтоб хоть отчасти утешить.

Раза два Авдеевы приводили Наталью к Чернышевым, и тут Наталья держалась так же дико и неприязненно и, как видно, не получала никакой радости от того, что ее сажают и угощают вместе

со взрослыми.

В начале зимы старик Авдеев заболел тифом. Мачеха отдала его в больницу. Евдокия ходила проведать отца, но ее к нему не пустили.

Было утро, Евдоким только что ушел на работу. Еще не развиднелось как следует, в кухне горела лампа. Евдокия, позевывая, щепала лучину, чтобы разжечь печь. Вдруг отворилась дверь и вошла Наталья.

На ней была материна кофта с длинными рукавами и большие валенки. Она захлопнула за собой дверь и остановилась у порога, кофта распахнулась, открылись голые коленки. Евдокия испугалась:

— Ты что? Случилось чего?..

Держась за дверную ручку, словно готовясь убежать, Наталья спросила шепотом:

— Дяденька Евдоким дома?

— Нету. Тебе зачем его?

— Так, — прошептала Наталья. Глаза у нее закатились, помутнели. Она выпустила дверь, сползла — опустилась на пол, ноги в валенках разошлись. Евдокия стала на колени, приподняла ее голову и услышала шепот:

— Маму в больницу увезли… Папа помер нынче ночью… Дров наколотых нет, истопить нечем… Я

к дяденьке Евдокиму пришла…

От ее худого тельца дышало жаром. Она завела глаза, забылась.

Евдокия раздела ее и перенесла на сундук, подстелив овечью кошму. На тонкой руке Натальи, выше локтя, были два синяка, острые ключицы торчали. С болезненной жалостью Евдокия подумала: «Сиротка!»

Потом она вспомнила, что она теперь тоже круглая сирота, и заплакала. С отцом у нее никогда не было нежностей, он ничему ее не научил, ему было бы прибрано в доме да состряпано кушанье, — но все-таки он ее не бил, кормил, одевал и, когда она запуталась в своих любовных делах, пристроил ее за хорошего человека. Ей казалось теперь, что со смертью отца ушла ее главная опора и защита, и, всхлипывая, она причитала вполголоса:

— И на кого ж ты меня спокинул! И стою же я одна, как былиночка на ветру!

Наталья открыла большие, очень блестящие глаза и спросила:

— Где дяденька Евдоким?

И весь день, не то в сознании, не то бредя, она о нем спрашивала. А к вечеру стала Евдокию принимать за Евдокима. Ухватила Евдокиину руку

своей жаркой цыплячьей ручкой и спросила:

— Дяденька Евдоким, дяденька Евдоким, ты меня маме не отдашь, нет?

— Нет! Нет, детка! — ответила Евдокия, ужаленная состраданием, ужасаясь этому детскому несчастью и беззащитности. — Не отдам никому, ничего не бойся!

Мачеха умерла на девятый день. Наталья, промаявшись полтора месяца на Евдокиином сундуке, поднялась, длинная, тощенькая, но с новым каким-то лицом, будто в этой схватке со смертью она обрела жизнь и получила к ней вкус.

Стриженная наголо, в старом платье, из которого выросла за время болезни, она ходила из кухни в спальню и рассматривала каждую вещь так, словно в первый раз ее видела. Подходила к окошку, смотрела, как вьюга несется над пустынной улицей, и чему-то смеялась тихо. Евдоким приносил газету — Наталья прочитывала ее всю, согнувшись над смутной печатью, шевеля губами. Евдоким сказал:

— Вот я тебе книжек принесу, дочка.

И принес. Наталья что-то уж очень быстро их прочла, Евдоким хотел ее проверить, но для этого надо было самому прочесть эти книжки, а

у него не было времени: его выбрали председателем цехкома, от множества дел некогда было вздохнуть.

— В школу надо тебя! — сказал он.

Евдокия вступилась:

— Куда ей наукой голову трудить? Вон она какая слабенькая! Пусть откормится порядком, а там ее к портнихе отдать бы в ученье, золотое ремесло. Хочешь, Наташа, портнихой быть?

— Нет, не хочу! — сердито и резко ответила Наталья.

Она поправлялась быстро. Евдокия перешивала для нее платья покойной мачехи и помаленьку приучала ее к хозяйству. Наталья все делала без охоты — норовила скорей кончить дело и бежать к книжкам, — но споро. Только вышивать она полюбила: сидит часами, аккуратно водит иглой и думает о чем-то. Как-то Евдокия услыхала: Наталья пела! Еле слышно пела она, и лицо у нее было ясное, детское. Евдокия умилилась… Когда Евдоким однажды сказал: «Слышь, Наташа, зови меня папой, а Евдокию мамой, ты же у нас дочка», Наталья тихо сказала: «Ладно».

6

Евдоким приезжал с завода, с Кружилихи, поездом. Доехав до станции, он неторопливо шел домой, минуя центр города. С ним был Шестеркин. На углу Сибирской они услышали пронзительный женский визг:

— Держите! Держите вора!

Что-то метнулось в сумерках, пригибаясь. Сейчас же затопали десятки ног. Кто-то кинулся наперерез — толкнули, схватили, навалились, прижали к земле небольшого мальчишку.

Женщина в котиковом манто, в фетровых ботах до колен, подбегала, неуклюже раскатываясь на льду:

— Украл! Украл! Ах, боже мой!

— Чего украл-то? — спросил чей-то голос. Другие голоса перебили, загалдели:

— Отдавай!

— Где у него?

— Кому передал, говори!

— Жулики проклятые, проходу нет от них!

Женщина в манто верещала:

— Сумочка! Сумочка! Ради бога!

На нее никто не обращал внимания — сбились

в кучу, стремясь расправиться с мальчишкой… Евдоким подошел, обеими руками разгреб толпу:

— Ну, кончай базар. Самосуд ладите, что ли?

Рукой в великанской рукавице он вытащил мальчишку из толпы и поставил перед собой:

— Где сумка?

Мальчишка трясущимися детскими руками достал из-под тряпья, откуда-то с живота, сумку и подал. Евдоким показал ее женщине:

— Ваша?

— Слава богу! — всхлипнула женщина.

— У, распустила губы из-за дерьма, — сказал кто-то в той самой толпе, которая собиралась оттаскать мальчишку. — Паразиты чертовы, нэпманы, готовы удавиться за целковый…

— Пойдем-ка со мной, красавец, — сказал Евдоким.

— Дяденька, — заныл мальчишка, — отпусти! — Кровь текла у него по губам и подбородку, и он хлюпал носом, пугаясь алых капель, падающих на снег. — Дяденька…

— Ладно, давай печатай! — сказал Евдоким.

Он привел мальчишку к себе домой и сказал Евдокии:

— Принимай гостя. Дай умыться чертенку да покорми.

— Я холодной водой не могу мыться, — сказал мальчишка, видя, что Евдокия наливает в таз воду из кадушки. — Я малокровный.

— Скажи, какой нежный! — сказала Евдокия, но все же налила ему теплой воды. Мальчишка мылся так, словно боялся испортить свою красоту. Евдокия зашла сзади, одной рукой охватила его, а другой старательно и бесцеремонно вымыла ему лицо.

— Не дерись, зараза! — закричал мальчишка. — Дяденька! Тетка дерется!

Вымытый, он оказался блондином с бледненьким смышленым лицом. Ноздрю, из которой еще сочилась кровь, он зажал пальцем.

— Вшей-то на тебе, поди… — сказала Евдокия. — Всю квартиру зачумишь. — И она дала ему старые рабочие брюки и рубашку своего отца, Евдокимова одежа была бы велика непомерно. Весь чистенький, мальчишка нерешительно присел у края стола. Евдоким протянул ему ломоть хлеба; мальчишка так и впился в хлеб руками и зубами. На щеках у него проступили два круглых, как яблоки, красных пятна.

«Господи, много ли надо, — подумала Евдокия. — Умыли, согрели, глядишь — вовсе другое дитя, на человека похож…» Она отрезала ему

кусок студня и спросила:

— Откуда ты?

— С Волги, из Самары, — ответил он, всей пятерней взяв кусок.

— Отец, мать есть?

— В голодовку померли.

— А звать как?

— Андрей.

Она уложила его на печке, чтобы он прогрелся хорошенько. Евдоким сказал, что утром отведет его в приемник.

Утром мальчишки на печке не оказалось, не оказалось и Натальиной шубейки на вешалке. Лохмотья свои, что Евдокия накануне стащила с него, мальчишка забрал тоже.

— Ты больше води уркаганов в дом, — сказала Евдокия, расстроенная пропажей шубейки. — Еще не то будет.

Евдоким рассердился:

— Води, води!.. А тебе б догадаться, поснимать с вешалки, попрятать…

Месяца через два Евдокия, придя с рынка, увидела в кухне Андрея. Он сидел на полу — ворохом грязного тряпья — и хлебал щи. Наталья стояла и серьезно смотрела на него.

— Здравствуй! — сказала Евдокия. — Ты как, с

ночевкой пришел?

Андрей поднял чумазое лицо и сказал:

— Я, тетка, больше не буду. Я могу тебе дров напилить, если хочешь.

— Он озяб очень, — сказала Наталья. — У него ботинки отняли.

Андрей, в самом деле, был совсем босой. У Евдокии сжалось сердце, когда она увидела его маленькие черные ноги. Она сама пришла с мороза и, хоть была в тулупе, валенках, пуховом платке и толстой шали, озябла так, что губы у нее одеревенели. Все-таки она не утерпела — попрекнула:

— А шубейку где девал? Шубейку небось загнал, а сам голый-босый явился?

— Ну мама! — строго сказала Наталья. — Зачем говорить, когда все ясно.

— Чего тебе ясно? — спросила Евдокия.

— Говори не говори — шубейки все равно нету, — ответила Наталья. — И нельзя голого и босого человека выгнать на мороз.

Евдокия озабоченно помолчала.

— Расселся! — повторила она снова, разматывая свой платок. — На полу собака ест и кошка ест; а человеку за столом сидеть указано… Неси, Наташа, таз, а я теплой воды достану. Вставай

мыться, малокровный!

7

Наталью и Андрея отдали в школу. Евдоким сам купил им тетради, сумки, пеналы.

Наталья училась очень хорошо. Учителя ее хвалили:

— Очень способная девочка, надо ей дать хорошее образование.

Про Андрея они говорили:

— Ленив, дерзок, мученье с ним.

По вечерам Наталья в кухне готовила уроки, а Андрей дразнил ее:

— Чего стараешься? Все равно твое дело девчонское: подрастешь, выскочишь замуж, нарожаешь детей и все забудешь.

— Неправда, не забуду, — отвечала Наталья.

— Врешь, забудешь. Только замуж выйдешь, забудешь и арифметику, и географию, и все.

— Я не выйду замуж, — отвечала Наталья.

— Выйдешь. И ни к чему тебе ученье. Одно провожденье времени, чтоб поменьше дома помогать.

— Мама! — кричала Наталья, не вынеся несправедливости. — Зачем он говорит неправду?!

— Не трожь ее! Что ты к ней пристал, на самом

деле? — вступалась Евдокия.

— Что делать будем? — хмуро спросил Евдоким, когда Андрей остался в четвертой группе на второй год. Ему уже было четырнадцать лет. Был он живой, вертлявый, острый на язык, охочий до всякой работы — только не до ученья. Он приносил воду, пилил дрова, разводил утюг, починял кастрюли и ведра. Евдокия не могла без него обойтись.

— Возьмите меня на завод, — сказал Андрей Евдокиму. — Скучно мне на парте сидеть с пацанами.

— А на заводе не будешь лодыря гонять?

— Не буду, честное слово.

Через несколько дней Евдоким сказал:

— Берет тебя Шестеркин в индивидуальное обучение. Будешь с ним на прессе работать. Только — смотри! Меня на заводе знают. Мне моя честь дорога. Ты — мой сын. Береги, смотри, сынок, нашу рабочую честь, понятно?

Андрей отвечал, что понятно. Действительно, Шестеркин был им доволен: даже удивлялся, почему такой сообразительный паренек плохо учился в школе. Андрей теперь уходил по утрам вместе с Евдокимом. Он возмужал, стал курить, щеголял своей испачканной рабочей одеждой.

Когда он принес Евдокии свою первую получку, у него был такой гордый вид, что Наталья ему позавидовала.

Наталья ни за что бы не бросила ученье. Она себе поставила трудную цель: стать ученой женщиной. Как Софья Ковалевская и Мария Кюри. Ей шел четырнадцатый год, она стала формироваться, у нее выросли густые короткие косы. Чтобы казаться старше, она заплетала эти косы на висках и укладывала их на темени. Стройная шея и руки ее округлились. Как-то она сфотографировалась с подругами, и Евдокия, разглядывая карточку, нашла, что Наталья становится очень хорошенькой.

8

Из деревни Блины письма приходили редко, и всегда в них были сообщения о важных семейных переменах: или женился кто-нибудь, или умер. О рождении детей писали вскользь, между прочим, потому что у Евдокима было в живых четыре брата и три сестры, и каждый год у них рождались дети, а жена брата Сергея два раза приносила по двойне. Не хватило бы времени докладывать о каждом прибавлении семейства. Мать только дивилась, что Евдоким ничего не пишет о своих детях, и раза два спрашивала: «Отпиши, сынок, кем же похвастаешь передо мной, старухой, внуком аль внучкой, и имя пропиши», — но, не получая ответа на этот вопрос, перестала спрашивать. Один, один бездетный во всем Чернышевском роде был Евдоким, а уж ему ли не хотелось иметь детей?..

Летом пришло письмо, в котором, после многих поклонов до сырой земли, было написано:

«Еще сообщаем вам, что старший ваш брат Петр Николаевич приказал долго жить по причине грызи и оставил после себя семь душ детей, старшей же, Афросинье, 15 лет, и вдовая его су-

пруга Антонида Ильинична, сама будучи хворая, ума не приложит, что ей с этой безотцовщиной делать. Желательно было бы вашего совета, как вы после Петра остались старшим над братьями и живете в городе, то лучше нашего знаете все ходы и выходы, где можно устроить сирот на казенный счет, и ежели будете в силе-возможности приехать хотя на день, то было бы нам большое вспоможение».

Евдоким узнал затейливый и уклончивый слог брата Сергея — хлопотуна и хитреца — и задумался. Он вспомнил Антониду, вечно стонущую, с тряпкой на голове, сорную ее избу, недопеченные шаньги. Где ей воспитать семерых ребят! Хотел вспомнить ребят — и не смог: года четыре назад погостил он неделю в Блинах, видел в каждой избе кучу детей, а которые из них были Петровы?.. Семь душ, шутка сказать…

Родственники уже нацелились перевалить заботу об этой ораве на советскую власть. «На казенный счет». Эх, родственнички, уважаемые! Молодому пролетарскому государству только-только удалось беспризорщину одолеть, бездомных сирот разместить по детдомам. Неужто мы, Чернышевы, так слабосильны, чтобы Петровых детей спихнуть на попечение государ-

ства? Не найдется у нас для них угла и куска?

Евдоким обвел взором свое опрятное жилье. Хорошо ли, худо ли, а живут же под его кровом Наталья и Андрей, и ему веселее с ними, и Евдокия, видать, им рада. Все-таки она — ничего баба: вон сидит, латает штаны Андрюшке. Что ей Андрюшка? Другая бы его поедом ела, а она ему ботинки купила шевровые, с шитым рантом. Говорит, мол, из Андреевой получки, — ну, пускай она это Андрею рассказывает. И зачем мальчишке такие ботинки? Чтоб на свадьбе у товарища, видишь ли, был одет не хуже других: председателя цехкома, видишь ли, приемный сын… Недаром Андрей на нее не надышится: мама да мама… Нет, определенно — хорошая баба. Своих детей лишена — к чужим жмется.

А ведь Петровы дети не чужие: племянники, родная кровь. Семь душ, гм… Двоих бы можно взять. Наталья и Андрей уже большие, и не оглянешься, как вырастут. Андрей уже работает, старается себя оправдать. Надо съездить в Блины.

Он взял отпуск и поехал. Хотел было Евдокию повезти с собой, да как подумал, что обсядут ее бабы и начнут допытываться, почему неплодна, как да что, — пожалел и оставил дома.

В Блинах все было по-старому, только мать сильно подалась и глядела в гроб. Весть о приезде Евдокима собрала всю семью, пришли братья, сестры, невестки, зятья — прямо сельский сход; всем сходом повели его к Антониде. Антонида уже знала и ждала, навертев полдюжины тряпок на голову. При виде Евдокима она разохалась, расстоналась — вот-вот помрет… А хозяйство неплохое — корова, две телки, овец десятка два: все брат Петр на себе тащил, недаром от грыжи помер.

Сидели до петухов, обсуждали, что делать с Петровыми наследниками. Антонида соглашалась оставить при себе троих: двух меньших — один только что начал ходить — и девочку Афроську, которая была уже так велика и разумна, что можно было все взвалить на нее. Двух мальчиков постарше брала к себе сестра Пелагея, председательница сельсовета. Оставались двое: девятилетний Павел и пятилетняя Катя. Евдоким объявил, что забирает их к себе, усыновит и воспитает. Он думал, что братья обрадуются; но они как-то мялись и высказывались туманно. Он долго не мог понять, в чем дело, потом понял и рассердился: Антонида давала за детьми телку; братьям телки было жалко. Евдоким встал и

сказал с досадой:

— Мне телка не нужна. А семью своим трудом оправдываю, и, слава богу, при советской власти мы, рабочий класс, обиды не видим. Не имея ни коров, ни овец, живу чище и здоровей против вашего, и братовых сирот прокормлю без телки, пропади она пропадом!

Братьям стало совестно, и они наперебой стали уговаривать Евдокима взять телку. Тем временем подоспели пельмени. Антонида, ахая, послала Афроську в погреб за брагой. Выпили с чувством на помин Петровой души по разу, выпили по другому — и браги целого бочонка как не было.

9

Евдокия вдруг затосковала. Андрей тоже уехал — в дом отдыха. Некого стало ждать по вечерам, не для кого стряпать. Вдвоем с Натальей они ленились топить печь: похлебают окрошки, поставят самовар — вот и сыты, и делать нечего. Во дворе был разведен огород, но для Евдокииных рук там и до обеда не хватало работы. Наталье добро: знай сидит целый день за книгами; а Евдокии куда девать себя?

Она придумывала себе дело: перештопала все чулки, даже такие старые, что не грех бы выбросить; набрала ситцу в мелких розочках — давно ей приглянулся — и пошила наволочки. Шила, позевывала и думала об Ахмете. Куда он исчез? С ним жизнь становилась праздничной. Как он всегда любовался ею, как нежил!.. Повстречать бы его, расцвести на недельку-другую всем телом, всем сердцем; натешиться, налюбиться всласть… А там опять вернуться к своей простой, привычной и по-привычному милой жизни… Но Ахмет как в воду канул.

От Евдокима пришла телеграмма. Никогда еще Евдокия не получала телеграмм, и мысль о том,

что эти строчки дошли к ней по проволоке — так Наталья объяснила, — эта мысль наполняла Евдокию почтением и гордостью. Евдоким сообщал, что везет двух детей и телку и чтобы она все для них приготовила. Ей стало смешно: еще двух детей! Вот так-так, да у нее скоро подушек не хватит!

С Натальей они осмотрели дом и решили, что дети будут спать пока на сдвинутых лавках, на сеннике; а потом надо будет купить кровать. Для телки Евдокия очистила дровяник во дворе. Ясно было, что на зиму он не годится, — придется ставить теплую пристройку к сеням.

Евдокия съездила в Курью и приторговала сена. Денег у нее не хватило, пришлось оставить задаток, а рассчитаться она посулила потом.

Некогда стало думать об Ахмете, когда приехал Евдоким с двумя детьми, приехала телка в телячьем вагоне, приехал Андрей из дома отдыха, и столько явилось забот, что за весь день не управишься.

Дети понравились Евдокии. Мальчик был славный, похожий на Евдокима, не баловник, все сидел и рисовал картинки. Он ко всему присматривался и очень скоро спросил:

— Тетенька, а почему Наташа и Андрюша зовут

тебя мамой, а мы с Катей зовем тетенькой?

— У Наташи и Андрюши матери нету, — ответила Евдокия, — а у вас мать жива. А я вам тетенька и есть.

— Мама нас не захотела, — сказал Павел. — Она захотела только Афроську, Параню и Витьку.

Евдокия не придумала, что ответить ему на это, и сказала:

— Ну, молод ты еще мать судить.

Павел промолчал, а через несколько дней сказал:

— Тетенька, давай все-таки мы тебя будем мамой звать. — И сказал Кате:

— Катька, ты тетеньку Дуню зови мамой, слышь?

— Почему? — спросила Катя.

— Потому что наша мама нас не захотела.

— Она плохая? — спросила Катя.

— Плохая, — сказал Павел. — Только ты ее не суди, Катька, ты еще молода.

— Ладно, — сказала Катя.

Эта Катя, румяная, тугая, как новенький мячик, огорчала Евдокию. Евдокии хотелось кормить ее с ложечки — Катя вырывала ложку и кричала:

— Я сама, сама!

Евдокия хотела водить ее в передничках и бан-

тиках, но банты Катя теряла, передники рвала и отовсюду падала. Только ее приоденешь, а она уже бегает грязная, в ссадинах и шишках. Евдокия терпеливо мыла ее, приговаривая:

— Вот послал бог счастье.

— Я сама! — кричала Катя, отнимая у нее мочалку.

Наталья смотрела на малышей свысока. Павел робел перед ней.

— Можно взять вашу книжку «Сочинения Пушкина»? — спрашивал он.

Наталья отвечала небрежно:

— Можешь, только ты там еще ничего не поймешь.

— Можно взять ваш красно-синий карандаш?

— Можешь, только не поломай.

Но однажды она застала его за рисованьем. Красным и синим карандашом была нарисована картина: Людмила в саду Черномора. Сад был голубой, светло-тенистый, и только Людмила была нарисована красным, как язычок пламени в волшебной синеве… Наклонив лоб, прикусив губу, Павел осторожно растушевывал голубую кисею листвы и не заметил, как Наталья заглянула через его плечо.

— Это ты нарисовал? — спросила она недовер-

чиво. Он мельком оглянулся на нее, заерзал на стуле и покраснел.

— А разве нехорошо? — спросил он немного погодя, поглядев на рисунок, и уже смело повернулся к ней и взглянул ей в глаза.

— Нет, очень хорошо, — сказала она серьезно. Он взял рисунок и протянул ей:

— На.

— А тебе не жалко?

— Нет. Я таких сколько хочешь могу нарисовать, — сказал он. — Только мне нечем.

Она посмотрела на рисунок и сказала:

— Ты бери мои краски. А этот карандаш пусть будет у тебя. Насовсем.

К годовщине Октября Андрей провел в доме электричество. Теперь в кухне и в спальне висели лампочки, дававшие чистый и яркий свет: в спальне — под стеклянным тюльпанчиком лампочка, в кухне — под зеленым жестяным колпаком. И в новой пристройке, где помещалась телка, тоже было электрическое освещение, и Евдоким рассказывал на заводе:

— Малый-то мой свет провел — сам, без мастера.

— Я тебе его еще не так выучу! — кричал Шестеркин. — Ты мне за него знаешь какой магарыч

должен поставить? Знаешь?!

— Ну, какой? — спросил Евдоким.

Но Шестеркин сам не знал, какой магарыч ему полагается за обучение Андрея. Андрей уже работал самостоятельно, а Шестеркин по нескольку раз в день подходил к нему и учил его всему, что сам умел, — ему жалко было расстаться с таким понятливым учеником.

На демонстрацию 7 ноября ходила вся семья Чернышевых. Наталья шла со своей школой, Андрей — с заводской молодежью, Евдокия и младшие дети — с Евдокимом. Катю Евдоким нес на плече.

10

В цехе поставили новые машины, привезли пресс небывалой мощности. Шестеркин думал, что его уволят, потому что его уменье при новых машинах станет ненужным, и запил от огорчения. Но его не уволили, а поставили обучать подростков и даже прибавили ему зарплаты.

— Выгнать бы тебя за твою дурость, — сказал ему Евдоким, — да жаль: голова у тебя — когда трезва — хороша.

— Молчи, молчи! — кричал Шестеркин. — Думаешь, машина меня заменит государству? Машину государство купит и продаст, а голову мою никто не купит, ни за какие деньги!

Евдоким пошел учиться на курсы повышения квалификации: без этого не удержаться бы ему в рядах лучших рабочих при новой технике и новых нормах. Свободного времени стало у него еще меньше; но при всех своих заботах он успевал думать о семье, об ее нуждах. Он решил, что нельзя дальше жить в такой тесноте, — повернуться в доме негде.

— Корове у нас просторней, чем нам с тобой, — жаловался он Евдокии. — Андрей! Светелку

пристроим?

— Безусловно пристроим, — отвечал Андрей.

— Вдвоем справимся?

— Определенно справимся.

— Составь-ка расчет! — приказал Евдоким. — Аккуратно составляй, без роскоши.

В те годы многие рабочие строили себе дома, нетрудно было достать материал в рассрочку, и за одно лето, при помощи Шестеркина, светелка была поставлена. Там стали спать Андрей и Павел. Туда приходили к Андрею товарищи. Они играли на гитаре и хорошо пели, а случалось — спорили о чем-то напечатанном в газете и кричали так, что казалось — вот-вот быть драке. Евдокия подавала им чай и закуску, ей было приятно, что Андрюша подрос и стал развитой и с лица симпатичный, свои у него знакомые, своя какая-то интересная жизнь. Павел, смирно сидя в уголку, слушал песни и споры и рисовал смешные портреты.

И вдруг опять появился Ахмет!

Словно что толкнуло и подняло Евдокию, когда она подошла невзначай к окну и увидела его. Он стоял на краю тротуара и глядел на ее окна. Должно быть, он давно уже тут стоял: его пальто и барашковая шапка промокли от дождя. Евдокия, сама не помня как, враз очутилась на крыльце. С

мокрым лицом, сияя белыми зубами, Ахмет взял ее за руки выше локтей и крепко сжал.

— Ох, что ты… увидят… иди… — бормотала она как в тумане. А сама не уходила и не замечала, что потоки дождя с карниза льются ей на голову и на плечи.

Ахмет сказал быстро:

— Как стемнеет, приходи на Разгуляй, к булочной, буду тебя ждать.

И ушел, озираясь. Она смотрела вслед, пока он не свернул за угол. Потом вошла в дом медленно, ноги у нее стали будто из ваты.

Когда стемнело, она пошла на Разгуляй.

11

Возвращались поздно — не понять было в черной осенней мокряди, который час.

Ахмет сказал, что его часы остановились. Он провожал ее, они долго шептались и целовались под чужими воротами, прежде чем расстаться.

Дома во всех окнах было темно. Она постояла, потом постучала негромко в темное окошко. Она думала, что придется стучать долго — и Евдоким, и дети горазды были спать, — но сейчас же в сенях по лесенке застучали босые пятки, громыхнул болт. Отворил Павел. Он был в одной рубашке и испуганно дышал.

— Ступай, я сама затворю, — сказала она шепотом. — Ты что не спишь? Ступай, ступай, простынешь.

Он не послушался, стоял рядом, пока она накидывала болт, и по его дыханию было слышно, что он дрожит. Она взяла его за плечи и повела с собой:

— Ложись, ложись, спать пора.

— Я не хочу спать, — сказал он громко.

На печке заворочалась Наталья. Евдокия зашептала:

— Тише! Перебудишь всех.

— Никто не спит, одна Катя, — сказал Павел. — Папа с Андрюшей пошли тебя искать. Где ты была, мама?

— Ложись, ну! — сказала она. — Экой неслух!

Она закутала его и сама быстро разделась и легла, не зажигая света. Лежала, не спала, глядя в темноту и прислушиваясь, не возвращаются ли Евдоким и Андрей. Дождь припустил, шумел по крыше… Было совестно, что они, проработав весь день, ходят под дождем и ищут ее и что дети не спали, дожидаясь ее. Она хотела убедить себя, что это — ее дело, что она никому не делает зла, что не может быть такого правила, чтобы человек отказывался от своей радости ради других. «Никто не велит ему за мной бегать, лежал бы да спал», — думала она. Но что-то шептало ей, что она себя замарала, что она одна замаранная среди них, чистых. «Ах, господи, зачем он приехал!» — подумала она об Ахмете. И в то же время знала, что завтра опять пойдет на Разгуляй и потом опять будет красться по дому и замирать от стыда перед детьми.

Евдоким и Андрей пришли не скоро, мокрые, злые. Где они ни побывали — и в милиции, и в морге… Евдокия сама отворила им и тоже прики-

нулась злой, обиженной.

— Ты где была? — спросил Евдоким. Она ответила, отвернувшись к стенке:

— Где была, где была! Товарку в родильный провожала, а тебе только бегать да срамить меня!

Товарку свою Машу Овчинникову Евдокия не видела уже полгода и только накануне узнала случайно, что Маша отправляется в родильный дом.

— Какую товарку?

— Овчинникову Машку. Проверить хочешь? Проверяй ступай. Андрюшку с собой возьми…

— Ты хоть объявляй, куда уходишь-то, — сказал он устало. Евдокия села на кровати, слезы стыда и упрямства подступили к горлу:

— Вот я тебе объявляю, что завтрашний вечер опять в больницу к Машке пойду, слышал?

— Не кричи! — сказал он сурово. — Дай детям покой.

Она затихла и до утра лежала без сна. Гнев на кого-то — не на себя ли? — и тоска, и другие чувства, которым она не могла бы подыскать названия, давили ей грудь…

На другой день Ахмета на Разгуляе не было. Евдокия ждала его, ждала возле булочной и пришла домой разочарованная и усталая.

Хорошо, что она пришла рано! Евдоким, против обыкновения, был уже дома — сидел в кухне и починял валенки. Катя и Павел крутились около него, он им что-то рассказывал — видно, смешное, потому что дети смеялись.

— Гляди, жена, — сказал он, — как я тебе ладно валенок зашил. — Он посмотрел на нее внимательно и спросил: — Ну, как там Маша, разрешилась?

— Не знаю, — ответила она упавшим голосом. — Я не была.

У нее не хватало сейчас силы лгать, ей было все равно. Или нехороша она показалась вчера Ахмету, что он так поступил с ней? Она пошла в коровник и поплакала.

Евдоким словно не замечал ничего, шутил с детьми и только после ужина, когда они остались вдвоем, сказал:

— Послушай. Сядь-ка, да обсудим, что же это у нас с тобой получается. Неважно получается. Что было раньше, то… Ладно уж. Но больше не хочу обмана. Хочу честной жизни! — сказал он и ударил по столу своей широкой твердой ладонью. — Хочешь Ахмета — будь с Ахметом. Но потихоньку к нему не бегай, слышишь? Я его сегодня чуть-чуть потрепал, а ведь если трахну

серьезно, то ему живому не быть. И пойду я через тебя, дура ты баба, под строгую изоляцию, а детей куда денешь? По белому свету размечешь? Ты об этом подумала? Или у тебя ни души, ни рассудка нет, а только жадность бабья? Врешь — и рассудок есть, и душа, можешь себя придержать.

— Что ты с ним сделал? — шепотом спросила Евдокия.

Евдоким задумчиво разгладил усы:

— Ну… нашел его и говорю: забирай ее по-хорошему либо свертывай с дороги, чтобы тебя и близко не было! А он пьян, что ли, был, полез драться. Тоже!.. Отделал я его маленько: не лезь! Может, еще в суд подаст от большого ума-то.

Она закрыла лицо руками. Он продолжал:

— Погоди реветь, послушай, что я предлагаю. Я же не старорежимный насильник какой-нибудь, чтоб неволей тебя держать. Если так уж полюбила, что жить без него нет возможности, — люби, что ж тут поделаешь. Но меня при этом не будет!.. Может, боишься, что бездомной останешься? Не на улицу гоню, не бойся. Ты в этом доме как была, так и будешь, — он твой, дом этот.

Пораженная, она взглянула ему в глаза:

— А ты?..

— Обо мне разговора сейчас нет. Мы с детьми

другой дом построим, — ответил он. — Дети со мной уйдут: Ахметке детей не оставлю. И тебя-то оставлю скрепя сердце: только если сама захочешь. Не верю этому прохвосту, на полкопейки не верю, безответственный человек… Ну, дело твое.

Евдоким встал. Увидел ее растерянное лицо, усмехнулся невесело:

— Вот, значит, Дуня. Такое мое предложение. И ты решай скорей. Ни мне, ни тебе так жить неинтересно, как Ахмет нам определил. Из меня, скажу откровенно, за прошлую ночь десять лет жизни ушло. Решай. А на свиданья бегать — не допущу. Я не покойный папаша твой, со мной этой легкости не будет, не жди. Я за тебя ответчик, понятно тебе?

Евдокия сидела не двигаясь. Он вышел. Не в спальню — к мальчикам в светелку пошел и затворился.

И затих дом, и она сидела одна в тишине, словно привыкая к будущему своему одиночеству.

Так вот будет она сидеть по вечерам и ждать Ахмета — дождь будет шуметь по крыше, — а Ахмет придет ли, нет ли, — ненадежный человек, обманщик, хоть красивый, ах, красивый…

Бесконечно будет шуметь дождь, и дом будет тихий, мертвый.

А те, что вносили в него жизнь, — уйдут, и не понадобится им больше ее забота, и не будет она каждый день узнавать от них разные новости и обсуждать с ними их дела, и если, встретясь с ней, кто-нибудь по привычке назовет ее «мама», — это уже ровно ничего не будет значить.

Евдокия горько заплакала.

Ей стало обидно за них и ужасно, что они уйдут отсюда из-за Ахмета. Уйдут для того, чтобы она в этих комнатах миловалась с Ахметом.

А ужасней всего, что уйдет Евдоким, добрый, разумный, работящий Евдоким, без которого не было бы ни дома, ни семьи, — ничего бы не было.

Невозможно было перенести такую несправедливость, чтоб из-за Ахмета ушел Евдоким. Евдокия зарыдала в голос.

Наверно, Евдоким слышал рыдания. Но не вышел ее утешать. Она рыдала, рыдала, потом подумала: «Чего это я плачу, глупая; ведь Евдоким сказал решай. Решай, сказал. Как захочу, значит, так и решу — кому тут быть, а кому не быть».

И, успокоенная этой мыслью, чувствуя, что гора свалилась с плеч, умыла лицо, помолилась, улыбаясь счастливо и виновато, о здравии Евдокима, детей и своем собственном и легла спать. А

утром, когда Евдоким и Андрей поднялись, чтоб идти на работу, уже топилась, как всегда, печь, был готов завтрак, и Евдокия степенно хозяйничала у стола.

Они никому не рассказывали об этой истории. Но неведомо откуда пошла по заводу молва — может быть, от всезнающей Марьюшки, она же и подшепнула Евдокиму, что Ахмет вернулся… Молва пошла, и однажды инструментальщик Мокеев, склочник и сквернослов, обозлясь за что-то на Андрея, назвал его: «шлюхин выкормыш». Андрей ринулся драться — не успели его удержать; откинутый тяжелым кулаком Мокеева, он бросался снова и снова. Сильный Мокеев испугался исступления мальчишки, попятился, крича:

— Ну чего ты, чего, чего?! Она с татарином гуляет, дурак!

Несколько человек схватили Андрея за руки, увели, усадили. Андрей выплюнул кровь — Мокеев разбил ему зубы — и сказал:

— Все равно изувечу подлеца.

Его вызвали в ячейку, уговаривали и ласково и строго, — он стоял на своем:

— Не могу его видеть. Она с меня вшей снимала…

И только когда Андрею пригрозили, что вы-

гонят из комсомола, — он расплакался, кусая кулаки, и дал обещание не трогать Мокеева.

Евдоким не сказал жене, из-за чего Андрей подрался с Мокеевым. Больше у них не было разговора об Ахмете. И Ахмета не было: явился на миг, белозубый сатана, отуманил, ожег, набаламутил, — и нет его опять.

12

Кто-то постучал в окно. Был вечер, дети только что заснули. Евдоким еще не вернулся с завода — верно, задержался на собрании. Евдокия вышла отворить. Улица была пуста, ни души, медленными хлопьями падал снег. Евдокия хотела уже закрыть дверь, как что-то вдруг пискнуло у ее ног. Она поглядела — на крыльце лежал небольшой серый сверток, в свертке пищало. Евдокия подняла сверток, внесла в дом и положила на мучной ларь.

Она развернула отсыревшее тряпье и вынула ребенка, мальчика. Ему было недель пять-шесть, он уже держал голову. Освобожденные ножки задвигались, подтянулись к животу. Ребенок поднес кулачок ко рту и потребовал еды. «Эге… эге… эге», — говорил он, ворочая головкой, и заплакал. Евдокия зашикала и прижала его к груди, успокаивая. Лицо ее стало взволнованным, серьезным и важным, словно это был ее ребенок и она собиралась накормить его грудью. «Эге… эге…» — говорил ребенок, перестав плакать и хватая ртом ее кофту. Евдокия положила его — он опять залился отчаянным криком, побежа-

ла к печке, налила теплого молока в пузырек, заткнула чистой тряпкой и дала ребенку. «Эге… эге…» — заговорил он яростно, почуяв запах молока. «Ага!» — удовлетворенно сказал он, поймав тряпку ртом, и стал сосать.

— Ишь, жадный! — с восхищением сказала Евдокия, любуясь им.

Накормив, она налила в таз теплой воды и стала купать ребенка. Он тряс ручками и ножками, но не плакал, и она ловко обмыла его и губами собрала воду со спинки, как делали другие женщины, — от сглазу, от наговора, чтоб рос здоровым да умным. Потом она отнесла его в спальню, на кровать.

— Вот мы какие чистенькие стали, какие красивые! — приговаривала она, вытирая его.

Ребенок молчал и все поворачивался к лампочке. Евдокия запеленала его в старую простыню. Спеленатый, он стал похож на белого червячка и так же ворочал головкой, как червячок; после мытья волосы на его темени стали черными.

— Вот так-то, лежи да спи! — сказала Евдокия, укрыла его своим стеганым одеялом и, потушив свет, пошла поглядеть, какое приданое получила за ребенком.

В сером свертке оказалась застиранная жен-

ская рубаха, обрывок байкового одеяла и грубый холщовый свивальник. Все это Евдокия вышвырнула в сени. На пол упала бумажка, Евдокия подняла ее. «Крещен Александром», — было написано на бумажке. Евдокия подумала: хорошее имя Александр, можно кликать Шурой, Сашей, Саней, как понравится, а то еще Аликом.

Пришел Евдоким. Усталый и чем-то недовольный, он долго мылся под висячим рукомойником, и Евдокия заробела — вдруг он не захочет принять ребенка? Сменив одежду, он молча уселся к столу, а она, подавая ужин, все думала, как ему половчее сказать.

— Что собрание-то нынче так затянулось? — спросила она, чтобы начать разговор. Он ответил нехотя:

— Судили одного. Из заводского материала утварь делал, продавал в свой карман.

— Кто ж судил?

— Мы и судили. Собрание.

— Собрание?.. — переспросила она задумчиво, думая о своем. Погодя, повела речь напрямик:

— Без света в спальне не будь, на кровать, не осмотревшись, не бухайся, не ровен час — придавишь дитя.

— Какое дитя?

— Мальчика бог послал.

Он кончил ужинать и пошел в спальню; она — за ним. Он зажег свет, откинул одеяло, посмотрел на спокойное розовое личико:

— Это чей же?

Она ответила храбро:

— Считай, что наш.

Ребенок спал, посасывая губами.

— Подкинули, что ли?

— Подкинули. Это счастье для дома, — вспомнила она и заторопилась. — На подкидыша господь пошлет!

От яркого света ребенок затревожился, завертел головкой, стал выпрастывать кулачки из пеленки.

Евдоким засмеялся:

— Мальчик, говоришь?

— Александром зовут.

— Почем знаешь?

— Записка была вложена.

Он сел на кровать и стал разуваться.

— Вот те раз! — сказал он весело, глядя на важного младенца. — А я где лягу?

— Ложись к стенке, а я с ним с краю.

— А вдруг задавлю ночью? — осторожно укладываясь под необъятное одеяло, сказал Евдоким

уже не шутя. — Придется люльку ему сработать, а то на самом деле опасно, кости-то у него мягкие…

13

Приходили соседки поглядеть, что за прибыль у Чернышевых. Хвалили ребенка, хвалили Чернышевых, ругали беспутных матерей, которые ночью на снегу, у чужого порога, кидают безвинных младенцев…

Пришла и Марьюшка. Вошла чинно, без суеты. Негромко, но требовательно опросила притихших Павла, Катю и Наталью — хорошо ли учатся, слушаются ли названых родителей и зачем дома ходят в башмаках: дома тепло, башмаки поберечь не грех, у названых родителей расходов, поди, страсть на такую ораву. Потом начальственно, как доктор, Марьюшка приказала показать младенца.

Евдокия поднесла Сашеньку, спеленатого, в чепчике с кружевцем. Марьюшка вздохнула:

— Не жилец.

Евдокия испугалась:

— Ну, почему?

— В глазок посмотри ему, — шепнула Марьюшка.

Евдокия посмотрела в голубенький бессмысленный глаз и увидела в зрачке свое лицо, а

больше ничего.

— В уголок, — шептала Марьюшка. — Который живуч человек, у того в уголку ровно пупочка сидит внутри, видна ясно. У богоданного твоего младенчика пупочки не видать. Жить не будет.

Приведя всех в уныние и угостившись пенным квасом с изюмом, Марьюшка удалилась.

На другой день у Саши заболел живот. Евдокия дала ему касторки, припарки ставила — не помогло. Пришлось понести Сашу в консультацию.

— Вы, мамаша, перекормили ребенка! — гневно сказала черная докторица в белом халате. — Мы дадим ему режим!

Она приказала кормить Сашу через четыре часа, ночью вовсе ничего не давать, молоко разводить рисовым отваром. Евдокия не смела ослушаться докторицы, но душа у нее изболелась, потому что Сашенька просил есть каждый час и, ничего не получая, кричал: «Эге! эге!» — пока не засыпал от изнеможения.

«Небось, твое было бы, не морила б его режимом, — думала Евдокия про докторицу. — Этак от голода протянет ноги дитя».

Но дитя не протянуло ноги, привыкло к режиму и стало спокойно спать по ночам. Это было в марте, а в апреле Павел подхватил в школе

коклюш, от него заразились все дети в доме, и Саша в том числе. Старшие болели легко, а Саша так задыхался, что Евдокия при каждом приступе кашля с ужасом ждала — вот сейчас умрет. Она подолгу смотрела в Сашины глаза; но не находила той пупочки, которая дает живучесть человеку. Кончился коклюш, Катя и Саша заболели корью.

— Это так не пройдет, — сказал Евдоким, глядя на пылающего в жару ребенка. — Не может такая кроха столько перенести. Ждать, видно, горя, Дуня.

Он протянул свою большую руку и бережно пригладил ее волосы. Третий месяц она не отходила от ребенка, похудела и перестала улыбаться.

— Не хочу я этого горя, Евдоким, — сказала она новым каким-то голосом, какого он у нее не слыхал. — Вот не хочу и не хочу!

Ей казалось, что если Саша умрет, то в ее жизни уже никогда не будет радости.

Он болел всю весну и половину лета. У него была ветрянка, прорезывались зубы. Тихий и ослабевший, он лежал во дворе под навесом, который поставил для него Евдоким. Катя, Павел и Наталья по очереди подсаживались к нему, отгоняя мух и комаров. Особенно Катя его полюбила, приносила ему в кроватку свои игрушки,

разговаривала с ним:

— А каков наш Сашенька! Умник наш Сашенька! Красавец наш Сашенька!

И, глядя в лицо девочки грустными глазами, слабо, нараспев поддакивал Сашенька:

— А-а-а!

Евдокия, хлопоча в доме, то и дело через окно посматривала на Сашеньку. Однажды, выглянув, она увидела, что возле Сашиной кроватки стоит чужая женщина и разговаривает с Катей. Евдокия услышала, как женщина сказала:

— Да нет, помрет. Плохой он у вас вовсе.

Евдокия вышла во двор и спросила женщину:

— Ты что ходишь, каркаешь? Твое какое дело тут?

— Мое дело десятое, — отвечала женщина.

— То-то и оно. Мне дитя сглазили, а теперь еще ходят, каркают, — сказала Евдокия чуть не плача. — С богом давай!

Женщина усмехнулась и пошла к воротам. Была она молода и собой недурна, только толстовата излишне и в лице нездоровая припухлость. Светлые стриженые волосы завиты мелкими колечками. На толстых ногах разношенные туфли с кривыми каблуками…

К концу лета внезапно приехал Ахмет.

Несколько раз он прошел мимо чернышевского дома. Никто не окликнул его. Он заглянул в ворота — двор был полон детей. Девочка и мальчик копали картошку, другая девочка читала книгу, помахивая веткой над колыбелью, в которой лежал, ворковал младенец. Ахмет тихо свистнул и ушел, а на другое утро к Евдокии явилась Марьюшка:

— Ну что, Саша твой как?

— Слава богу, хорошо, — ответила Евдокия с задором. Она сидела и кормила Сашу киселем. У обоих лица были веселые.

— Закопалась ты, молодуха, в чужих детях, — посочувствовала Марьюшка. — А веку-то нам, красавица, дадено скупо.

Подбирая ложкой с Сашиного подбородка струйки киселя, Евдокия сказала нараспев, забавно:

— И какие мы такие молодухи, и какие красавицы? Наше дело старое.

— А-а-а! — отвечал Сашенька.

— Скоро будем дочек замуж выдавать, сыновей женить…

— А-а-а! — соглашался Сашенька.

— Ахмет приехал, — сухо сказала Марьюшка и для деликатности поглядела на потолок, а потом

уже на Евдокию.

Евдокия докормила Сашеньку, утерла его мокрым полотенцем, поцеловала и сказала:

— Видала я его. Ходил мимо окон.

Марьюшка пожевала губами:

— Привалило ему счастье в Кунгуре — поступил в кооперацию закупщиком, большое жалованье получает, разбогател. Подарки тебе привез — шаль одну толстую, другую тонкую, с персидским узором; два отреза кашемировых, бордовый и темно-синий. Страдаю, говорит, не могу, говорит, забыть, хоть мало не убил меня Евдоким.

— Так вот мы еще какие! — сказала Евдокия, обращаясь к Сашеньке. — Нам еще подарки сулят, для нас из Кунгура приезжают! А мы им скажем, — продолжала она, похлопывая Сашенькиными ручками и балуясь, — а мы им скажем: поезжайте-ка назад в Кунгур с вашими персидскими узорами…

Все-таки Ахмет повстречался Евдокии на пути, когда она шла по воду. Загородил ей дорогу, маленькой жесткой рукой стиснул ее запястье:

— Что, Дуня? Что ты вздумала? Гонишь меня? Плохой стал Ахмет?

Щурясь от солнца, она спокойно, с улыбкой смотрела на него:

— Зачем плохой? Может, еще лучше, чем бывал. Да мне не надобен.

— Не надобен? — переспросил он с обидой и недоверием. И крепче сжал ее запястье смуглыми пальцами.

— Оставь руку, — сказала Евдокия и так поглядела, что его пальцы сами разжались, — равнодушно поглядела, издалека, как чужая.

— Дуня, жалко, — сказал он. — Хорошая была наша любовь.

— Семейная я стала. Дети у меня.

— Чужие дети! — сказал он и осекся, взглянув в ее лицо.

— Кто виноват-то, что чужие? — сказала она и пошла от него прочь, помахивая ведрами.

Он не стал догонять ее. Все тут было кончено.

В тот же день он уехал из города.

14

Если сосчитать, то огорчений от детей было куда больше, чем радостей…

Наталья, окончив школу, поступила в техникум и так о себе возомнила, что — матушки! Она совсем отбилась от домашних дел — дескать, мать сама управится; а она, Наталья, будет заниматься немецким языком.

— Зачем тебе? — спросила Евдокия. — Тебя ведь в техникуме твоем учат немецкому.

— Учат, так что же из этого?

— И довольно с тебя. И так уж заучилась совсем — кости да кожа…

Терпеливо Наталья объяснила: в техникуме учат недостаточно, а ей надо знать по-немецки очень хорошо, чтобы читать технические книги и журналы.

— И так весь день с книжкой, мало тебе чтения… — сказала Евдокия. И получила в ответ:

— Мама, ты не понимаешь!

Павел нарисовал картинку: коричневая трава, зеленое небо, на зеленом небе длинное лиловое облако. Евдокия усомнилась:

— Нешто бывает зеленое небо!

— Бывает.

— Бывает, да не такое. Уж больно у тебя ярко.

— Ты не понимаешь! — сказал Павел. И потом рассказывал, что учитель рисования хвалил эту картинку и забрал ее для какой-то выставки. Выходило, что Евдокия действительно ничего не понимала.

Катя била всех своих сверстников на улице, и матери приходили жаловаться и ругали Евдокию — зачем она потакает. Евдокия расстраивалась, щеки ее разгорались пунцово, она горой вставала за Катю:

— Она одна зачинщица, что ль? Все дети дерутся. А твой что смотрел? Взял бы да дал сдачи. Мальчик должен за себя постоять!

А когда матери уходили, она говорила жалобно:

— Вот видишь, Катя, что ты наделала! Все нас ругают — как же так можно!

Она не позволяла детям браниться скверными словами и даже шлепала за брань, но они все-таки бранились. Однажды Павел рисовал и вышел из комнаты, оставив на столе незаконченный рисунок и карандаши. Пришла Катя, влезла на стул и красным карандашом зачертила, замалевала весь рисунок. Сделала она это не со зла, а чтоб

рисунок стал еще красивей. Павел вошел, увидел и тихо, чтоб не услышала Евдокия, сказал:

— Ты сволочь.

А маленькая Катя, спеша замалевать пустые места, пока не отняли карандаш, ответила:

— Ты сам сволочь!

15

Наталья ночевала на сеновале. Ей там нравилось — в окно светил месяц, от прохладного сена хорошо пахло, и можно было без помехи помечтать о будущем. Она умылась на ночь холодной водой, чтобы не засыпать — мечтать подольше, поднялась по приставной лесенке и у лунного окна увидела черную фигуру с папиросой. Наталья узнала Павла и рассердилась:

— Ты с ума сошел — курить на сеновале!

Павел сказал кротко:

— Я пальцами потушу. — И он раздавил огонек в пальцах. — Наташа, — сказал он, — я растратил тетрадочные деньги, я подлец.

— Глупости! — сказала она. — Не может быть.

Павел обиделся:

— Дура! Говорю тебе — растратил, хорошие глупости!

Она посмотрела на него внимательно. Давно ли был маленький и говорил ей «вы». А сейчас — растратчик! И курит папиросы…

Он рассказал. Ему поручили собрать на тетрадки. Он собрал и хотел отдать Ольге Иванне, а Ольги Иванны не было, и ему велели отдать зав-

тра. Он шел из школы и зашел в писчебумажный магазин купить карандаш, а там как раз привезли александрийскую бумагу и краски высшего качества. А александрийскую бумагу и краски высшего качества ужасно трудно достать, завтра их уже не было бы в магазине. Вот он и купил и краски и бумагу. На другой день не пошел в школу и все время, пока шли занятия, ходил по городу и думал, где достать денег. Хотел продать учебники на толкучке, но за них давали очень мало, полтора рубля. Заходил ко всем товарищам и у всех просил взаймы, но набралось всего рубль шестьдесят копеек.

— Сколько же ты растратил? — спросила Наталья.

— Шестнадцать рублей.

Они помолчали, подавленные громадностью этой суммы.

— Понимаешь, Наташа, я не могу прийти с этим делом к отцу и матери. Я знаю, что они дадут, но я не могу, понимаешь? Я не могу, чтобы они узнали, что я подлец. По-настоящему, самое благородное с моей стороны было бы покончить с собой. Я не знаю, как это случилось, но, если это откроется, как жить? Но я не хочу умирать, и это самое подлое…

Совсем большой и, кажется, красивый — вон какой у него лоб умный и какой горячий голос! И он говорит о смерти! Наталью охватила сестринская нежность и страх за него. Она молчала, боясь, чтобы у нее не дрогнул голос.

— Какая ты, Наташка, — сказал он с тоской и обидой. — Я тебе все сказал, а ты даже разговаривать не хочешь. Эх, человек!..

Он сделал движение уйти.

— Постой, Паша, — сказала она. — Постой, я думаю. Я думаю, — сказала она медленно, — что ты еще не очень подлец. Понимаешь? Ты не совсем подлец, раз ты понимаешь, какой ты подлец… У меня есть двенадцать рублей, — продолжала она, радуясь, что может помочь ему, — я стипендию получила. И у тебя есть немножко. И я еще достану. Завтра ты отдашь эти деньги. И не говори никому, слышишь? Не будем говорить. Но помни, Паша, если это повторится хоть раз, хоть в самом маленьком размере, то я первая пойду в школу и все расскажу.

— Ну что ты за человек! — воскликнул Павел. — Как это может повториться? Такое выдумаешь… Наташка, я ведь почти совсем решил пойти утопиться в Каме. Я с тобой только решил поговорить, ты это знай.

Он заплакал, стыдясь, что плачет. Она сделала вид, будто не замечает. Стояла и смотрела, как плывут в светлом окне серебряные облака, и тихонько глотала легкие слезы, бегущие по щекам.

— Ложись здесь, — сказала она потом. — Здесь так хорошо спать, Паша.

И они заснули рядом на прохладном сене, утомленные слезами и волнениями. И до рассвета в окне над ними плыли серебряные облака.

16

Стал провожать Наталью из техникума молодой человек приятной наружности. Раз Евдокия их встретила, другой раз встретила. Наталья идет по улице независимая и строгая, под ручку ее взять и не суйся. Молодой человек шел отдельно, на расстоянии, и оба раза что-то ужасно горячо рассказывал и размахивал руками; и в азарте, сорвав с себя кепочку, в воздух подбросил и поймал. Понравился он Евдокии, такой молоденький да славный. Она порадовалась за Наталью, что вот, слава богу, и к Наталье пришла любовь. Баловства Наталья никакого не допустит, да и она, Евдокия, не позволила бы дочке баловаться, а честным пирком за свадьбу — это хорошо!

Она еще ласковей стала к Наталье, чтобы та без сомнений делилась с ней своими переживаниями, и зорко присматривалась, что Наталья: задумывается ли, трепещет ли… Задумывалась Наталья часто, но не трепетала и переживаниями не делилась, а ходила себе в техникум и занималась немецким языком.

Как-то, когда ее не было дома, раздался звонок, — это был тот самый молодой человек, в

руках он держал цветы, обернутые газеткой. Он сказал:

— Пожалуйста, передайте это Наташе.

И бегом убежал. Евдокия вынула из вазы бумажные цветы и поставила живые. От маленьких нежных белых хризантем стало в горнице так нарядно… Она подумала: «Счастливая Наташа; мне вот никто никогда цветочка не подарил».

Пришла Наталья, Евдокия сказала:

— Гляди, чего жених тебе принес!

Наталья удивилась:

— Какой жених? — Потом засмеялась: — Ах, это Вовка!.. Ну какой же это жених, что ты, мама!

— Что ж, — рассуждала Евдокия, — сейчас вас, конечно, не зарегистрируют, поскольку тебе восемнадцати нету; так можно подождать годик. А он симпатичный.

— Да не будем мы регистрироваться, ни через годик, ни через пять годиков. Он товарищ, мама, товарищ, и все.

Евдокия оскорбилась.

— Ты, Наталья, чересчур потайная, вот что! — сказала она. — Чего ты мне голову дуришь? Нешто товарищи букеты носят? Ты б видела, как он с крыльца ринулся, чуть каблуки не оторвал! И не говори мне, что нет у него любви, а одно

товарищество!

— Не спорю, возможно, — сказала Наталья и, отвернувшись, стала нюхать хризантемку, хотя известно, что хризантемы не пахнут, — но оторванные каблуки — еще не причина, чтобы полюбить человека. Это несерьезно. И извини меня, — заключила она, хмурясь и пряча в пушистых цветах порозовевшее лицо, — мне об этом неприятно говорить. Извини.

Сказала — как отрезала. И вот разберись Евдокия в этих ее делах! Такой хороший молодой человек, и такой хороший букет, и имя милое — Вова, а ей даже говорить неприятно, подумайте. Чего же ей надо? Что она себе загадала, не чересчур ли многого добивается, не чересчур ли большие поджидают ее огорчения? «Ох, не надо! Пусть счастливой будет! Пусть сбудутся ее желанья, пусть все будет ладно у девочки моей!»

17

Однажды вечером — было это в первый год первой пятилетки — Андрей не пришел с завода.

Его подождали и поужинали без него. Случалось и раньше, что он приходил поздно, загулявшись с товарищами; а тут Евдокия что-то затревожилась необычно, без меры, и тревогой своей заразила Евдокима.

Сидели вдвоем, ждали, прислушиваясь. Было душно; комары звенели вокруг лампочки… В ночи пронеслась гроза с бурным коротким ливнем. После грозы Евдоким распахнул окошко — в комнату хлынула влажная свежесть, по мостовой шумел поток, светало… Вдруг забарабанили в дверь. Евдокия вскочила, Евдоким не пустил ее:

— Я сам.

Тяжелой походкой он пошел отворять. Она — за ним; и выглянула из-под его руки. Ватага парней стояла на улице среди луж. Парни молчали, и Евдоким молчал. Какой-то паренек в засученных по колено штанах выдвинулся, кинул папироску в лужу.

— Евдоким Николаич, беда, — сказал он.

— Живой? — спросил Евдоким.

И опять ребята молчали, медленно светлело небо, шумел поток…

Андрей лежал в гробу, и гроб был большой, как для взрослого мужчины! То, что осталось от его головы, было укрыто кисеей и цветами. Евдокия стояла в изголовье и все не могла взять в толк, как же это вышло.

Он возвращался с завода, с Кружилихи, поездом — ну да, как всегда. И товарищи были с ним, и он первый, на ходу, соскочил. Было в нем это удальство, было! — споткнулся и с размаху полетел лицом о рельс… Его подобрали с разбитым черепом, явилась скорая помощь, врач сказал, что он умер, но ребята, что были с ним, не поверили. Они звонили в комитет комсомола и прокурору, требуя, чтобы их товарища взяли в больницу и лечили. Только увидев его в мертвецкой, вытянувшегося и застывшего, они поняли, что помочь нельзя ничем. Всю ночь они бродили по городу под грозой и спорили, кто пойдет скажет семье. Никто не хотел, наконец решили, что пойдут все.

Он лежал длинный, безликий, совсем взрослый, и взрослые люди говорили о нем как о равном. Его хоронил завод, за гробом шли старики в старомодных пиджаках, девушки с венками, дети в красных галстучках. Играл оркестр, несли

тяжелые богатые знамена. Безутешно плакал Шестеркин, и обливалась бурными слезами Катя.

Евдокия на людях почти не плакала; тихо утешала Шестеркина, уговаривала Катю. Но, вернувшись домой и увидев на спинке стула его старый пиджачок с торчащим из кармана изгрызенным карандашиком, — упала головой на стол, и застонала, и запричитала…

И долго, долго мучили ее Андрюшины вещи, и траурный марш все будто слышался да слышался, — безжалостно ударяли медные тарелки. А пуще всего почему-то рвало душу воспоминание, как Евдоким привел его и велел умыть, и вместо черного, измаранного кровью, нечеловеческого лица к ней обернулось беленькое, умненькое лицо ребенка…

Может, она виновата? недоглядела? Может, надо было загодя что-то сделать, что-то ему сказать, чтобы этого не случилось, чтоб он был жив и здоров? Какое-то придумать слово, предупреждение, которое его уберегло бы?

Не подумала в свое время, нерадивая, упустила. И сейчас уж поздно.

18

Евдокия пошла за покупками и взяла с собой Сашеньку. Она боялась даже на час оставить его без присмотра — вырос и такой стал самостоятельный, озорной, Евдокии день и ночь было за него беспокойно. И, кроме того, красив стал необыкновенно; Евдокия считала — таких красивых детей больше и нет; она боялась, как бы его не украли.

Они долго ходили по обувным и мануфактурным магазинам, потом зашли в кондитерскую и купили пирожное. Сладкое тесто Сашенька съел, а крема не захотел, крем съела Евдокия. Потом они взвешивались на весах, пили воду с сиропом и купили синего фланелевого медведя с пуговками вместо глаз. Сашенька не захотел нести медведя, несла Евдокия. Вернулись домой усталые. Саша как был, одетый, лег поперек Евдокииной кровати и заснул. Евдокия сняла с него ботиночки, подложила ему подушку под голову и принялась за стряпню. Вдруг постучались, и вошла та женщина.

У нее не было ни кудряшек, ни высоких каблуков. Она вошла смиренно и попросила Христа

ради. Евдокия усадила ее у двери, дала шаньгу и стакан молока. Женщина не торопилась есть, она непохожа была на голодную, толстая, щеки красные; только одежа была истрепанная и грязная. Хлопоча возле печи, Евдокия спросила:

— Молодая, здоровая, — почему не работаешь? Нешто так хорошо?

Женщина не смутилась:

— Однако ты тоже не работаешь.

— Я на пять душ варю, стираю, шью. Я себя оправдываю. При мне четверо детей содержится да муж.

— Не твои дети-то, — усмехнулась женщина.

Евдокия остановилась с ухватом:

— Ну? Что ж, что не мои дети?

— Приемыши, — сказала женщина. — Кто-то носил, кто-то родил, а тебя мамой зовут. — Она залпом осушила стакан молока. — Какая твоя заслуга?! — воскликнула она, с размаху ставя на ларь пустой стакан. — Ты мучений за них не приняла! Шаньгой глотку затыкаешь! — Она кинула шаньгу Евдокии под ноги, размотала рваный платок, отрыгнула, — Евдокия только тут догадалась, что она пьяна. — Вишь, какая разумная! Сто рублей давай, да еще возьму ли, нет ли, там видно будет!

— За что сто рублей? — изумилась Евдокия.

— Бона! — закричала женщина визгливо. — Безвинная какая, гляди на нее! Подавай сто рублей, а не то отдавай сына, слышь?! Пятый год сыном пользуешься, а мне шаньгу тычешь, вишь какова!

Евдокия поставила ухват и коротко вздохнула.

— Заберу, и не увидишь, у меня на него метрика есть! — кричала женщина.

— Прав твоих нету, никто его тебе, бродяжка, не отдаст! — сказала Евдокия.

— Погляжу, как вы не отдадите!

— Ты его бросила!

— Как не так! Я не в себе была, из больницы выписавшись; положила на приступку, сама под ворота отошла за нуждой, воротилась — его уж нет…

— Не ври, не ври! Ты его подкинула!

— Сама не ври! Ты его украла! На суде покажу, и метрика у меня, и свидетелей приведу, что мой! Ты — пустопорожняя, чужими детями пользуешься, чтоб не работать, возле печки сидеть! Так наш же пролетарский суд правду видит! — сказала женщина торжественно, с подвыванъем. — Он тебя, паразитку, на чистую воду выведет!

В это время вошел Павел, вернувшийся из

школы, и, услышав брань и крик, замер от удивления.

— Паша, — сказала Евдокия, — побудь здесь. Никуда не уходи, — и пошла в спальню. Сашенька сладко спал, приоткрыв свежий рот. Между штанишками и туго натянутыми чулками было видно его крепкое, смуглое тельце, синий медведь лежал рядом с ним.

Страшно было подумать, что он уйдет с этой пьяной бабой, которая заставит его просить милостыню, будет его бить!.. Евдокия стала на колени и открыла сундук. Там на дне, в шелковом платке, лежали деньги, которые она копила Евдокиму на костюм. Когда Наталья будет выходить замуж, Евдокиму обязательно придется купить новый костюм, старый уже плох. Евдокия тайком от мужа продавала молоко и откладывала деньги. Она отсчитала сто рублей и вышла в кухню.

— Пиши расписку! — сказала она. — Подай, Паша, чернильницу, голубчик.

Женщина подобрела при виде денег.

— Не шибко я грамотна, — сказала она примирительно, берясь за перо. Евдокия и Павел стояли и смотрели, как она пишет.

— И напиши, — сказала Евдокия властно, — что ты от него отказываешься, что ты ему не мать,

а ехидна.

Женщина подписалась: «К сему Анна Шкапидар» — и поставила завитушку. Евдокия взяла расписку и спрятала в шелковый платок, на дно сундука.

19

Наталья, окончив техникум, работала на инструментальном заводе. Она думала поработать года три-четыре, потом идти учиться дальше — в институт. Но вдруг своей волей все переиначила и завербовалась строить город на Амуре.

— Стоило языки учить, — сказала Евдокия, которую печалил Натальин отъезд, — стоило, право, мучиться и по-немецкому и по-английскому, чтобы пни корчевать да кирпичи класть.

Наталья только улыбалась на эти слова. И уехала с комсомольским эшелоном бог знает в какую даль.

А Павел хотел стать художником.

Он не советовался с родителями и товарищами — ему казалось, что они над ним станут смеяться; говорил о своих планах только учителю рисования Николаю Львовичу.

Николай Львович был стар, носил какие-то детские распашонки и усы как у Атоса, Портоса и Арамиса. За его манеру разговаривать с учениками ему постоянно делали выговоры и даже грозили снять с работы.

— Ну, что ты нарисовал? — спрашивал он

отрывисто, глядя на чей-нибудь неудачный рисунок. — Это что за кретиническая фигура? Что ты этим хотел сказать?

Об искусстве он говорил так:

— Смотрите! Первое орудие художника — его глаза, кисть и карандаш второе. Учись глядеть не моргая. Возьми лист и смотри его на солнце. Запомни каждую жилку листа — она неповторима. Не фотографируй! Натуралистов, фотографов, жалких копиистов природы нужно расстреливать. Не фотографируй, но пойми механизм устройства, чтобы сотворить бессмертное. Тот лист, на который ты смотрел, изучая, — увянет и сгниет; лист, созданный художником, не увянет никогда: он вечен. Сомнительно, бессмертна ли богоматерь и существовала ли она вообще, но богоматерь Рафаэля существует, и она бессмертна. Будь творцом! Попирай смерть! Отделяй свет от мрака и твердь от воды! А если не можешь, то иди в водовозы.

Еще он говорил:

— Что такое красота? Мне говорят, что кудри — это красиво, а лысина безобразно. Я утверждаю: лысина прекрасна! Она обнажает благородные выпуклости черепа. Она открывает гордый и мыслящий человеческий лоб. (Я, понятно, имею

в виду не лысого кретина.) Только то прекрасно, что оплодотворено мыслью. Наплюй на красивость — она затуманивает мысль. Самая красивая картина, лишенная мысли, годится только для клозета.

— Можно ли говорить так с детьми?! — возмущались педагоги. Николай Львович отвечал:

— Они понимают. А у кого вместо мозга в голове куриные потроха, тому и понимать не нужно.

И действительно, ученики его понимали и гордились тем, что он так разговаривает с ними, и урок рисования был для многих самым любимым.

Вот этому чудаку сказал Павел о своих планах. Николай Львович выслушал его и сказал хладнокровно, как о самой обыкновенной вещи:

— Ну что ж. Кончишь школу — поедешь учиться в Академию художеств.

— Николай Львович, а как вы считаете, я смогу быть творцом? — спросил Павел волнуясь. Николай Львович кивнул и серьезно ответил:

— Сможешь.

Покраснев от радости, Павел сказал:

— Задайте мне какую-нибудь работу.

— Работу?

Николай Львович обвел глазами комнату, по-

смотрел в окно и спросил:

— Твой отец работает на Кружилихе?

— Да.

— А ты бывал на Кружилихе?

— Сколько раз!

— Ну вот и нарисуй мне Кружилиху.

Это было легкое задание. Павел съездил на Кружилиху, осмотрел ее с крыши дома, где жил Шестеркин, и зарисовал.

— Рисуй, рисуй! — кричал Шестеркин, стоя с ним на крыше. — Рисуй нашу маму Кружилиху!

Дома Павел разделал рисунок акварелью, добросовестно воспроизведя все трубы и дымы и для эффекта пустив на небо закатные краски. Кончив, побежал к Николаю Львовичу.

— Что ты нарисовал? — спросил пренебрежительно Николай Львович, глядя на рисунок.

У Павла похолодели уши. Он ответил еле слышно:

— Кружилиху. Вы сказали…

— Я сказал — Кружилиху. А ты нарисовал просто много труб.

— Это и есть трубы Кружилихи.

— Чепуха, — сказал Николай Львович. — А закат почему? Для красоты?

Он отбросил рисунок.

— На любой фотографии я могу увидеть лучшую Кружилиху — на закате, при луне, зимой и летом.

Павел взял свой рисунок, который теперь и ему показался отвратительным, и ушел посрамленный и несчастный. Как же ему написать Кружилиху, чтобы Николай Львович похвалил его?

Павел ходил на Кружилиху всю зиму. Шестеркин опасался за его здоровье: шутка ли, стоять часами на крыше на ледяном ветру! И в цехах бывал Павел, видел сотни машин и людей… молодых и старых, работавших на этих машинах. И он рисовал эти цеха, рисовал и рвал рисунки: это не была Кружилиха! Вот и станки стоят правильно, и люди похожи до портретного сходства, это и есть станки и люди Кружилихи, а Кружилихи на рисунке нет. Павел забывал об уроках, о еде, жил мучаясь и злясь. Кружилиха выматывала его, до мельчайших подробностей знакомые очертания труб и перспективы цехов снились ему, самое название от бесконечного повторения теряло свое значение, приобретало какой-то другой смысл. Кружилиха… Кружилиха… Похоже на женское имя. Как говорят: Степаниха, Карпиха, Чернышиха… Кружилиха…

И вдруг простая мысль осенила его, стало так светло, словно в темной комнате повернули выключатель. У него задрожали руки, судорогой перехватило горло. Как просто, как просто!.. Не слишком ли просто? Но уже всем своим дрожащим от счастья сердцем он знал, что это хорошо, что просто, — хорошо, хорошо!

Кружилиха — это и была женщина, рабочая женщина, добрая и могучая. Павел увидел свой рисунок так ясно, словно он был уже готов. Вот она, Кружилиха: не молодая и не старая, с открытым лобастым лицом, с полуопущенными глазами, сосредоточенными на работе. Рука, обнаженная до локтя, лежит на рычаге, каждая мышца руки живет во всю силу. Все на свете может сделать Кружилиха этими руками! Любую тяжесть вынесут эти крутые плечи! А за плечом, в солнечном небе, видны дымящие трубы — трубы Кружилихи!

Каждую деталь он видел: борозду вдоль щеки, проведенную заботой, и прядь волос на виске из-под косынки, и твердый мускул у основания большого пальца… Она не была красива, не гналась за красотой, и никто не потребовал бы от нее красоты: она была Кружилиха!

Он шагал домой не по снегу — по воздуху. Не

было тяжелых валенок, не было морозного ветра, обжигающего лицо, не было прохожих: ничего не было, кроме счастья. В одно мгновение он перенесся от дома Шестеркина в отцовский дом на Пермской. Он взял лист бумаги и карандаш и осторожно, боясь испортить неумелым штрихом, набросал то, что стояло, закрыв весь мир, перед его глазами… И снова мгновение перенесло его в комнату Николая Львовича, неряшливую холостяцкую комнату, где усатый старик в распашонке пил чай и намазывал на ломтик хлеба яблочное повидло. Павел вошел молча и положил рисунок на стол.

Николай Львович спросил, сощурясь:

— Кто это?

— Кружилиха, — ответил Павел.

Словно слетев с высоты, он ударился ногами о пол и проснулся. Тело стало тяжелым от простуды и усталости, буднично горела пыльная лампочка, собственный голос показался ему осипшим и грубым.

Он ждал. Николай Львович смотрел и молчал. У Павла начался озноб, по спине, по груди — дошел до сердца, лицо вспотело. «Если он выругает, я больше никогда ничего не смогу нарисовать», — отчетливо и холодно, без боли, подумал Павел.

И вдруг услышал странные квакающие звуки. Николай Львович отвернулся, сутулая спина его запрыгала.

— Николай Львович, что вы! Николай Львович… — пробормотал Павел в испуге.

Николай Львович высморкался в большой, как пеленка, платок.

— Не обращай внимания, Чернышев, — сказал он. — Видишь ли, милый, талант — это редкость и чудо, это трогает до слез…

Потом он сказал про рисунок:

— Не заканчивай его пока. Пусть полежит. Подожди, когда у тебя будут средства для полного выражения твоей мысли. Зачем спешить с тем, что от тебя не уйдет? Ты будешь большим художником.

20

Сашенька обожал моряков. Он признавал только те книжки, где были нарисованы корабли. Одно время он цепенел и забывал все на свете при виде речников Камского пароходства; но, узнав от Евдокима, что они не плавают в море, разочаровался в них. Глядя на Каму, он убито спрашивал Евдокию:

— Зачем она в море не течет?

— А не знаю, детка, — отвечала Евдокия. — Ты у папы спроси. Стало быть, не надобно ей туда, коль не течет.

Когда ему исполнилось семь лет, она затеяла сшить ему к весне новый костюмчик с длинными брюками. Сашенька страстно заинтересовался этой затеей и ласкался и ревел до тех пор, пока она не согласилась сшить в точности по матросскому фасону, с настоящим клешем.

В день, когда происходила последняя примерка, явилась Анна Шкапидар, Сашина мать, и потребовала триста рублей. Евдокия возмутилась и выгнала Анну, не дав ни копейки.

Через две недели Евдокима и Евдокию вызвали в народный суд.

Судья был молодой человек с совершенно бесцветными, какими-то бескровными волосами, усталым голосом и недовольным лицом. Он допрашивал ответчиков и жалобщиков, недоуменно морща лоб, и, казалось, не мог понять, какого черта все эти люди ссорятся. Направо и налево от судьи сидели заседатели: плотный мужчина с смешливым лицом и плотная седая женщина в мужской тужурке. На женщину эту у Евдокии было больше всего надежды.

Сперва разбиралось дело между мужем и женой, которые разошлись и никак не могли поделить имущество; а всего-то спорного имущества было письменный стол да швейная машина. «А вы умеете шить на машине?» — спросил судья у мужа, болезненно морща лоб. В зале засмеялись, а судья позвонил в колокольчик.

Потом без конца разбирали, действительно ли дворник из коммунального дома украл дрова у жильцов. Жильцы выходили по очереди из соседней комнаты и высказывали свое мнение о дворнике, а попутно и о других жильцах. Судья обеими руками держался за голову и все повторял: «Это к делу не относится, отвечайте на вопросы». Евдокия слушала, слушала — у нее самой голова разболелась… Вдруг жильцы все

сразу ушли, топоча ногами, и Евдокия услышала, что слушается дело о незаконном присвоении чужого ребенка Чернышевыми, мужем и женой.

Евдоким и Евдокия стояли перед судьей. Анна Шкапидар стояла тут же, поодаль. Она была трезва, повязана красной косынкой. Долго читал секретарь, упоминая статьи закона и слова «незаконное присвоение» так часто и с таким выражением, что Евдокия совсем упала духом — вот сейчас кончится чтение и судья прикажет ей отдать Сашеньку Анне без всяких разговоров…

— Как ваша фамилия? — спросил судья у Анны.

— Шкапидар, — ответила та.

— Не может быть, — сказал судья страдальческим голосом. — Такой фамилии быть не может. Скипидар! — сказал он внушительно и обратился к Евдокиму.

Евдокия знала, что муж у нее умный и о жизни судит правильно, — если б еще он верил в бога и святых угодников, она во всем решительно была бы с ним согласна. И тут на суде он говорил так складно и дельно, что, не будь кругом чужих людей, она обняла бы его от всего своего благодарного сердца! Он рассказал, как попал к ним Саша, как она, Евдокия, кормила его из рожка,

и лечила от болезней, и голову ему чесала, и не отпускала от себя. Он сказал, что Саша привык называть Евдокию мамой и незачем отрывать ребенка от семьи, где ему хорошо.

— А вы что скажете? — спросил судья Евдокию.

— Я ребенка не украла, — сказала Евдокия. — Я его на крыльце, на снежку нашла. У меня расписка есть.

И она положила на красный стол Аннину расписку. Она очень ее берегла и думала, что это важная бумага, доказывающая ее права на Сашу. Но судья, прочитав, весь сморщился, как от укуса, и сказав: «Какая ерунда!» — велел Анне рассказать, как ребенок попал к Чернышевым. Анна победно поглядела на Евдокию и пошла плести! Через два слова на третье она называла судью: «дорогой товарищ судья». Она требовала, чтобы пролетарский суд поддержал ее, трудящуюся женщину, против домовладельцев и паразитов.

— Хорошо, достаточно, — сказал судья. — У вас вопросы есть? — спросил он заседателей.

Мужчина заворочался на стуле, а седая женщина спросила густым добрым голосом:

— А где ребенок?

Она спросила это, глядя Евдокии в глаза, будто

укоряя ее за то, что она не привела Сашу. Румянец ударил в лицо Евдокии, она с радостью, с любовью посмотрела на старую женщину.

— Он тут! — сказала она. — Я его привела. Тут, в коридоре бегает! Я позову!

Она бросилась к двери, но ее остановили и послали исполнителя, который привел Сашу с Катей.

Саша был в новой матроске, в брюках клеш и в шапочке с золотой надписью «Аврора». Судья спросил, как его зовут и хорошо ли ему живется у отца и матери. Саша оробел, но сказал, что он — Саша Чернышев и что ему хорошо. Судья сказал, что у него есть другая мать. Саша ответил:

— Неправда.

Судья спросил, не хочет ли он перейти жить к этой другой матери, и показал ему на Анну. Анна стала всхлипывать и тереть пальцами глаза, а Саша кинулся к Евдокии и вцепился в ее юбку. Тем дело и кончилось. Судья и заседатели ненадолго ушли, потом вернулись, и судья стоя прочитал приговор, что Саша остается у Чернышевых.

Евдоким и Евдокия возвращались домой, ведя Сашу за руки. Каждый приписывал успех себе. Евдоким думал, что это его показание убедило судью. Евдокия думала — какая она ловкая, что

догадалась взять с собой Сашу.

А Саша думал, что судья соврал: не могла та мордастая женщина с красным носом быть его матерью. Саша не мог понять одного: для чего судье понадобилось врать? Впрочем, он скоро перестал думать об этом и стал придумывать, что бы такое сказать матери, чтобы она сообразила, что следует купить им с Катькой мороженого.

21

Несколько лет прошло.

Росли дети, учились. Павел после школы уехал в Ленинград и поступил в Академию художеств.

Наталья строила город на Амуре и только раз приезжала в отпуск. Должна была другой раз приехать, но вместо того очутилась в Крыму, ее туда в санаторий послали на поправку. И долго ее не было дома — успела за это время и на инженера выучиться, и замуж выйти, и сына родить.

И вот приехала наконец и сидела в кухне, возмужавшая, пополневшая, с здоровым ребенком на коленях, одетая как дама. Инженер! Невозможно было поверить, что это та самая Наталья, что вошла когда-то в эту кухню в материнской кофте — заморыш, дичок, сирота…

— Как же вы жить будете? — расспрашивала Евдокия. — Он в Комсомольске, а ты здесь?

— Да, меня сюда, а он пока в Комсомольске. Что же делать, сейчас многие в таком положении. Не хватает людей.

Евдоким спросил:

— Где работать будешь?

— У вас на заводе, папа, у главного конструк-

тора.

— А Павел-то наш — в художники выходит!

— Да, он молодчина. Талантливый.

Наталья держалась суховато — видно, самостоятельная жизнь так ее научила. Когда нежностью вспыхивали глаза, она словно гасила эту вспышку, опуская веки. Евдоким спросил осторожно:

— Где ты думаешь поселиться? — Ведь кто ее знает, может — ей тут больно просто покажется, захочет жить в доме ИТР.

Наталья обвела взглядом кухню:

— А что, у вас очень тесно? Вы скажите прямо, без церемоний.

— Мы тебя вполне можем в угловую! — горячо вмешалась Евдокия. — Только Катю к себе возьми. А Саша тут, на печке.

Наталья прошлась по кухне, заглянула в комнаты:

— Пока можно так. Но долго так жить — трудно. Нас много, каждому нужен уголок, чтобы отдыхать и думать. Давай, папа, построим второй этаж.

— С материалом сейчас тяжеленько.

— Достанем. Купим какую-нибудь хибарку на снос.

— А деньги?

— Я буду зарабатывать, и Николай пришлет.

— Давай! — сказал Евдоким. Ему стало очень приятно, что она хочет жить в родном доме и сделать его больше, выше, просторней. Выросла дочь и стала рядом с ним как ровня, товарищ, помощник в жизненных делах. Новое чувство входило в душу, чувство горделивого покоя.

И они построили второй этаж. Но жить там Наталье почти не пришлось: ее муж, инженер Николай Николаевич Лукьянов, приехал и объявил, что ему надоели бревенчатые избы и палатки, он хочет пожить в цивилизованной квартире с ванной и ходить на работу пешком, а не ездить в поезде. Ему дали комнату в доме ИТР, близко от завода, и он перебрался туда, забрав Наталью и сына. Во втором этаже поселилась Катя со своими розами и геранями.

22

Катя была лакомка, любила танцевать и наряжаться. Она говорила:

— Больше всего в жизни я обожаю танго, потом шоколад «Золотой ярлык», потом красивые туфли, а потом уже все остальное.

Окончив семилетку, она пошла на курсы телефонисток. Ей хотелось поскорей иметь свой заработок. Ее приняли телефонисткой на Кружилиху. Домашнее хозяйство она терпеть не могла, но, чтобы облегчить Евдокию, бралась за самую трудную работу: носила воду, стирала, мыла полы — все швырком, сердито сопя и молниеносно. С охотой занималась только цветами, развела их множество, и все они были такие же свежие и нарядные, как она сама.

Красотой она не отличалась — узкие глаза, нос и рот словно топором вырублены, широкоплечая, приземистая. Но это не мешало ей нравиться, вот нистолечко не мешало! Она была такая живая, так кокетливо одевалась и причесывалась, а в танцах становилась такой легкой и ловкой, что все находили ее очень привлекательной девушкой.

Молодые люди приглашали ее в театр, провожали домой и норовили поцеловаться. Она гордилась своим успехом, но ей хотелось, чтобы кто-нибудь полюбил ее по-настоящему, *глубоко и страстно*, как описывается в романах, — страдал, стоял на коленях, ревновал, не спал по ночам, мечтая о ней.

Она подружилась с Настей Нефедовой, машинисткой заводоуправления. У Насти была такая же шестимесячная завивка, и такие же небрежно, кое-как набросанные черты лица, и такая же жажда любви. В обеденный перерыв Катя с Настей, вымыв руки и попудрив носики, под руку вприскочку бежали длинным коридором в столовую, на бегу поверяя друг дружке свои секреты.

Очень хотелось Кате, чтобы ее полюбили. Ожидание любви, готовность к любви на ней были как бы написаны. И нашелся человек, который откликнулся на этот пламенный зов.

На завод поступил слесарь-лекальщик Дмитрий Колесов. Это был отличный мастер, артист своего дела, несмотря на молодость. Но из-за капризного характера нигде не мог долго ужиться — считал, что его мало ценят. Перебрал несколько заводов в разных городах и отовсюду уходил со скандалом.

Он познакомился с Катей в клубе, танцевал с ней и провожал домой. Прощаясь, задержал ее руку и спросил:

— Вы не видите, что я страдаю? Нет?

Голос у него был глубокий и страстный, он не отпускал шуточек, не говорил глупых комплиментов, сразу был виден культурный человек, понимающий, как надо любить.

Катя поднялась к себе на второй этаж будто на крыльях. Он страдает! Может быть, он не спит по ночам? Может быть, сейчас он идет шатаясь, как пьяный, оттого, что она засмеялась ему в ответ?

Ах, как прекрасно, если он шатается от такой причины!

Сама она эту ночь не спала. Думала о нем. Воображала его глаза, губы, прическу. Ворочалась, вздыхала, вставала — подходила к окошку и, как предписывается в романах, прижималась горячим лбом к холодному стеклу. В романах всегда в различных чрезвычайных случаях прижимаются лбом к стеклу. И обязательно стекло бывает холодное, а лоб горячий.

Дивная ночь начала любви!

Дмитрий Колесов… божественное имя, чистая музыка, только вслушайтесь: Дмитрий Колесов! Дмитрий Колесов был форменный Ромео,

и форменный Отелло, и кто хотите! Он стоял на коленях! Он терзал Катю ревностью! В выходные дни он увозил ее за город — *прочь от шумного света*.

Что это было за счастье! Ни в одном романе не описано ничего подобного. И то, что оно было тайной для всех, — так думала Катя, — и то, что Митя капризничал и требовал, чтобы она ни с кем не говорила и ни на кого не смотрела, — еще больше околдовывало и приковывало Катю.

Только раз, вдруг отрезвевшая среди поцелуев, она спросила, стыдясь своего вопроса, который казался неуместным и грубым, разрушающим *неземные очарования*:

— Митя, мы поженимся?

— Да! Да! — ответил он. — Но подождем еще немного, хорошо? Так ведь лучше, правда?

— Лучше, — прошептала Катя.

23

Это был хороший, удачный год.

Цех, где работал Евдоким, занял на заводе первое место. Рабочих премировали богатыми премиями, и Евдоким получил золотые именные часы. Евдокия была с ним во Дворце культуры на торжественном вечере. Сидела праздничная и солидная, в новом шерстяном платье с брошкой, и Катя надушила ее своими духами. А Евдоким был в президиуме, и Евдокия не могла налюбоваться на дорогого своего мужа, которого все уважают и хвалят.

Наталья родила здоровую девочку, назвали Еленой. Беременность и роды не помешали Наталье работать. Ее назначили в комиссию, которая разрабатывала какой-то важный проект, и даже по ночам ей звонили по телефону.

Сашенька, главный человек в Евдокиином сердце, был хороший мальчик, озорной, правда, но не сквернослов, не хулиган; играл в волейбол и все читал книжки про морские путешествия.

В конце мая приехал Павел, Павел Петрович Чернышев, художник. Он привез свою жену Клавдию — очень молодое, очень хрупкое созда-

ние с желтыми волосами и красными ногтями, в платьях невиданных цветов и фасонов.

Мыслимо ли носить такие высокие каблуки! Да еще мало ей было каблуков, она все время приподнималась на носках, вытягивалась, словно силилась совсем отделиться от пола и взлететь. Две минуты подряд не могла пробыть в одном положении, все меняла позы.

Стол был накрыт парадной скатертью, пили за молодых. Павел краснел и глаз не сводил с жены, и было ясно, что он пойдет за ней, куда бы она его ни поманила.

— Вы все очень ей понравились, — сказал он потом, — и ты, Катя, тоже.

— И она мне нравится, — сказала Катя. — Она безумно интересная, Паша!

— А тебе, мама? — спросил Павел.

— Хороша, ничего не скажешь! — ответила Евдокия. — Одно мне немножко не понравилось — что она при всех достала помадку и губы накрасила.

— Ну что ты. Сколько женщин красят губы.

— Так не при всех же. И зачем курить? Вредно для здоровья и смотреть неприятно.

— Она красиво курит, — вступилась Катя. — Мечтательно.

— Я написал ее портрет с папиросой, — сказал Павел. — Лицо сквозь дымку…

— Что ж тут красивого? Молоденькая, а дымит, как паровоз.

Павел засмеялся и поцеловал Евдокию в волосы:

— Мама, милая, все замечательно!

Павел приехал на долгое время — писать картину, которую ему заказали для музея. Они с Клавдией поместились наверху в большой комнате, а Катя перешла в маленькую. С раннего утра Павел ходил на Каму и там писал, установив мольберт на берегу. Он носил синий берет, чтобы волосы не трепались на ветру и не мешали работать. Евдокия приносила ему завтрак. Почему-то ей было его жалко — что он какой-то не такой, как все, ходит в женском головном уборе, люди работают на заводах и в конторах, а он сидит один на бережку и рисует…

Нарисовавшись, он шел встречать Клавдию с работы: она поступила в горторг управляющей делами. По вечерам Павел и Клавдия ходили куда-нибудь или у себя принимали своих знакомых. Клавдия угощала гостей наверху, вниз не приводила. Евдокию это обижало. Она думала, что неизвестно, как там Клавдия управляет делами;

а уж Павлом управляет шибко хорошо, он без нее не чихнет и не кашлянет.

24

Катя работала в вечерней смене.

Был партийный день, коммунисты ушли на собрания, звонков было мало. Катя сидела и вспоминала, что говорил ей на последнем свидании Митя и какое у него было при этом выражение лица. Вдруг в окошечко из коридора просунулась голова Насти Нефедовой.

— Катя! — сказала Настя. — Ой, Катечка!

Катя сразу поняла, что случилось что-то ужасное.

— Что? — быстро спросила она, бледнея. Настя оглянулась — кто-то шел по коридору — и бухнула сразу:

— К Мите Колесову приехала жена.

Зазвонили из диспетчерской. Катя сказала мертвыми губами:

— Дежурная…

Спрашивали главного инженера. Катя не ответила и не соединила, сидела без движения, глядя на щит с рядами блестящих дырочек.

— Ей уже всё доложили, — шептала Настя, боязливо глядя на Катю. — Она пошла к тебе.

Ах так! Катя распрямила плечи и твердой рукой

соединила диспетчерскую с библиотекой. Битва так битва. Она будет сражаться за свою любовь всеми средствами, какие у нее есть! Митя обманул ее? Подумаешь! Обманул, потому что любил! Кому какое дело?! Хорош он или плох, она его никому не отдаст! Плевать ей на всех!

Шаги по коридору приближались. Кто-то шел тяжелой походкой, медленно, с остановками: читает надписи на дверях, ищет… Катя встала и вышла в коридор навстречу сражению.

Большие голые лампы освещали пустой коридорный туннель. Из гулкого туннеля подходила женская фигура. Высокая, простенькое маленькое безбровое лицо… Это жена Мити? Узел русых волос развалился, старый желтый полушалок спущен на плечи. Никакого изящества… Она беременна, несчастная! Яркая стена, белая и коричневая, закачалась в Катиных глазах.

Женщина подошла, скользнула взглядом по дверной дощечке и остановилась. Левую руку с горстью подсолнечных семян она держала под грудью, правой брала семена и бросала в рот; серая скорлупка прилипла к ее подбородку. Без ненависти — с тихим отчаяньем она посмотрела на Катю: признала. По каким-то ей самой неясным приметам признала.

«Беременна, как факт», — тупо подумала Катя. Она не знала, что сейчас скажет. Только знала, что будет врать, потому что надо врать. «Ей рожать совсем уже скоро. Ребеночек будет. Без отца будет ребеночек. А она простота отпетая. С кем сражаться, как тут сражаться!..»

— Что вам? — спросила она.

Женщина ответила негромко:

— Смотрю.

— Дело есть, что ли?

— Смотрю… — Митина жена задохнулась от волнения, — какие бывают разлучницы.

Катя засмеялась:

— Разлучницы? Я, что ли, разлучница? С кем же это я вас разлучила?

— С мужем моим Дмитрием Иванычем Колесовым ты меня разлучила. Ты кто такая? Как твоя фамилия? Моя фамилия — Колесова, я с ним пять лет, регистрированная, по-честному прожила. А ты кто?

— Жила пять лет — живи шестой, мне не горе! Нужен мне твой Дмитрий Иваныч! Никогда не был нужен и вперед не польщусь. И откуда ты взялась? — вдохновенно продолжала Катя. — Налетела, привязалась со сплетней какой-то!

Колесова возмутилась:

— Сплетней? Ой, девка, от людей не скроешься! Люди, спасибо им, всё рассказали! Под ручку с ним гуляла…

— Мало ли с кем я ни гуляю под ручку! До моей ручки охотников много. — Ложь душила Катю, но надо было доврать до конца. — Нехорошо, дорогая: поверила сплетне и пришла меня срамить. Я замуж собираюсь, а ты меня ославить хочешь неведомо за что. Не веришь? Так вот же, с сего дня не подойдет ко мне твой Дмитрий Иваныч! На пушечный выстрел не подойдет! Можешь у людей своих проверить! Не посмотрю на него и «здравствуйте» ему не скажу! Бери его себе! — сказала Катя и ушла в телефонную.

— Врешь! — растерянно сказала Колесова, стоя у запертой двери.

Катя выглянула из окошечка:

— Ты еще здесь? Иди, все сказано, не о чем говорить больше.

— Ты обманываешь, — нерешительно сказала Колесова.

— Да не мешай мне тут! — воскликнула Катя. — Работа не ждет, пока я тебе отбожусь! Иди, иди, живи с мужем, регистрированная, роди ребеночка без страха!

— Не обижайся на меня, — попросила Колесова

и заплакала.

— Я не обижаюсь, — сказала Катя. — Не реви. Тихая ты… Другой раз слышишь — не так воевать-то надо за свое счастье.

— А как? — простодушно спросила Колесова, уже доверчиво глядя на Катю.

— Не знаю, — отвечала Катя. — Мне не доводилось. Только — не так.

Она заметила, что диспетчерская до сих пор соединена с библиотекой, и разъединила их. Завтра она получит выговор. Может быть, ее даже уволят с работы. Все равно!

Колесова ушла. Катя прислонилась головой к щиту с дырочками и словно уснула.

— Катечка! — сказала Настя. — Ты же это не серьезно, что на пушечный выстрел?..

— У нее будет ребенок, — сказала Катя. — Ты видела.

— Как ты можешь! — сказала Настя.

— Иди отсюда, — прошептала Катя, повернув к ней осунувшееся, серое, не свое лицо. — Не трогай меня. Дуры мы, ох дуры…

Она не вполне сдержала обещание, данное Колесовой. И недели не прошло, как Митя подошел к ее окошечку, и она не прогнала Митю и разговаривала с ним, только не «здравствуй» сказали

они друг другу, а «прощай».

Встреча с Колесовой была в июне тысяча девятьсот сорок первого года, за несколько дней до двадцать второго числа, когда началась война. Митю мобилизовали сразу. Подошел он к Катиному окошечку в плохонькой одеже, идя в военкомат, надевали что ни есть постарей, хорошие костюмы оставляли дома, — в плохонькой одеже, с противогазной сумкой через плечо, враз повзрослевший, будто впервые задумавшийся о вещах, которые прежде не приходили ему в голову…

25

И Павел получил повестку. Стараясь быть веселым, он сказал Евдокии:

— Ну, мама, пошли воевать!

Клавдия, придя с работы, застала в доме сборы. Павел разбирал свои рисунки, Евдокия месила тесто, Катя стирала Павлу белье. Клавдия ахнула, побледнела, возмутилась:

— Ты же художник… Я не понимаю… Ты должен хлопотать… Просто нелепо, чтобы талантливый человек шел под пушки!

Очень тихо Павел сказал:

— Подумай, что ты говоришь, Клаша.

Клавдия заплакала, бросилась ему на шею:

— Не сердись! Я тебя люблю! Неужели это конец нашему счастью?

— Не знаю, — сказал он. — Но пока я буду жить, я буду любить тебя. Помни.

— Ничего не конец, — сказала Катя от корыта. Распрямившись, она откинула мокрой рукой упавшие на лоб волосы, вымытые ромашкой, с завивкой «перманент». — Ничего не конец. Распустили нюни. — Она схватила корыто и грубо сказала: — Убирайтесь, не то ноги оболью.

Крутитесь тут… — и выплеснула помои в ведро, обрызгав весь пол.

— Ну чего ты, чего? — сказала Евдокия, когда Павел и Клавдия ушли наверх. — Брат на фронт уезжает, а ты грубишь.

— Подумаешь, разнежничались! — ответила Катя. — Я сама еду на фронт. Не говори мне ничего! — крикнула она. — Вот уеду и вернусь, посмотришь, обязательно вернусь!

— Тьфу, верченая, — сказала Евдокия с негодованием. — Ты не знаешь, как и ружье-то держать.

— Во-первых, мама, знаю; только оно называется не ружье, а винтовка.

— А кроме того, — сказал четырнадцатилетний Саша, находившийся тут же и напряженно слушавший, — Кате самое правильное идти по своей части: связисткой.

— Ты знаешь, что ей самое правильное! — сказала Евдокия. — Это же бог знает что — чтобы девушка на войну шла.

Катя молчала, только вода плескалась в корыте.

— Отец знает? — спросила Евдокия.

Он уже знал. Ему на заводе сказали, что Катя подала заявление о своем желании отправиться

в действующую армию. Евдоким только кивнул — говорить было нечего. Зато другие говорили о Кате, и некоторые спрашивали:

— А как же насчет танго и туфель?

— А это — для мирного времечка, — отвечала Катя. — Отвоюемся — опять надену мои туфельки чудненькие и пойду танцевать.

Прощанье с Павлом вышло печальным, хотя все крепились. В старом костюме, с рюкзаком за плечами, Павел уже не был похож на художника, человека, отмеченного особым даром и особой долей, — самый обыкновенный был призывник, как все молодые люди. Клавдия в своей модной шляпе из прозрачной соломы стояла рядом с ним. Она одна, по его желанию, шла проводить его до призывного пункта, остальные прощались дома. Пришла и Наталья с мужем. Присели на дорогу. Павел поцеловался со всеми и сказал:

— Мама, родная, никогда…

Он не договорил, взял Евдокию за обе руки и, низко склонившись, одну за другой поцеловал эти крепкие ласковые руки. Потом вышел, неловко задев плечом за притолоку, а Катя зарыдала и бросилась за ним. Вся семья стояла у калитки и смотрела, как он шел по улице, удаляясь от дома. Клавдия шла с ним и держала его за руку, но он

уже чем-то был отделен от нее, как от них всех.

Потом и Натальин муж уехал, а там и Катя. Опустел чернышевский дом.

26

Евдокия не знала географии и никогда не предполагала, что в СССР так много городов. Есть Урал, а на Урале ихний город, еще Челябинск, Пермь, Свердловск и разные не столь большие поселения, вроде Курьи, где Евдокия в былые времена покупала сено для коровы. Еще есть Новосибирск, Киров, бывшая Вятка, Горький и — очень далеко — Москва и Ленинград. И вдруг оказалось, что городов у нас великое множество, и немцы их забирали и забирали. Как же так? Где ж им остановка, окаянным?

Она не любительница была хныкать и держалась спокойно, как раньше, но сердце ныло не переставая. Дети, дети! Паша! Катя! Молодые, милые! Сашенька подрастет и тоже уйдет воевать, он и теперь уже ждет не дождется своего дня, — Сашенька, главная боль, главная утеха в жизни!.. Ворочая чугуны в печи, Евдокия шептала псалом царя Давида: «Не убоишася от страха нощного, от стрелы, летящая во дни, от вещи, во тьме приходящая, от нападения и беса полуденного… На аспида и василиска наступиши и попереши льва и змия…» Но аспиды всё катились да катились

вперед, они забрали Украину, обложили Ленинград, стояли уже под Москвой.

Из Ленинграда, Москвы, Киева понаехали эвакуированные. Они жили во всех домах. У Евдокии комнату наверху забрали под приезжих ленинградцев профессора, его жену и двух жениных сестер. Профессора, седого и деликатного, Евдокия жалела. Тихо и косолапо спускался он сверху в своих валенках, которые не умел носить, и, стараясь не шуметь и не брызгать, умывался в сенях под висячим рукомойником. А с бабами — профессоршей и ее сестрами — Евдокия с первых же дней вела негромкую, но ожесточенную войну за чистоту. Они хвастались, какие у них в Ленинграде были квартиры и какая мебель, и как они ходили по музеям и театрам, — а теперь, жалобились, приходится жить в невыносимых условиях. Ни одна из них не была приучена к простому обиходу, к домашней работе, ни одна не умела варить в русской печи. Евдокия скрепя сердце помогала им стряпать и убирала за ними, грязи и беспорядка она не могла перенести. Она убирала, и они же на нее обижались и ставили ей на вид, какая она некультурная и какой у нее плохой, неблагоустроенный дом. Евдокия считала недостойным с ними связываться. Да и

не переговорить бы ей троих таких тараторок. Но она их терпеть не могла. Одного профессора уважала и старалась ему услужить.

Как ни удивительно, вражда с тремя жиличками смягчала Евдокиину горесть и помогала пережить тяжкое время.

А Шестеркин опять запил. Как-то явился пьяный, плакал, буянил, грозил Евдокии, что скоро немцы и на ее дом станут бомбы кидать; и, показывая, какие тут будут опустошения, разбил два цветочных горшка. Евдокия разгневалась и вытолкала его вон. Он кричал:

— Дура набитая! Ты считаешь, я пьяница! Я от унижения пью! От скорби! Дура!..

Зима в тот год грянула рано и была лютая, грозная. Неистовые метели неслись над черными лесами, над суровым городом, над денно и нощно дымящими трубами Кружилихи. К тучам взвивались метели, от морозов и несчастий костенела душа. Когда ушел пьяный Шестеркин, Евдокия села на ларь, стеная без слез и ломая руки. Не о детях было в ту минуту ее горе, она, как и Шестеркин, исходила скорбью о чем-то таком огромном, чего даже не могла уразуметь хорошенько.

— Проклятые, — шептала она.

Такой застал ее Евдоким. Обнял ее, бережно

погладил по спине:

— Ну чего, Дуня? Ну, не надо. Переживем, Дуня…

Он был мастером кузнечного цеха, и работы ему хватало, не каждую неделю домой удавалось выбраться. И, как депутат, он занимался эвакуированными, их устройством, болезнями, претензиями. Он не уставал, верней сказать — не чувствовал усталости: некогда было. Но иногда ему изменяло его рассудительное отношение к жизни, он начинал раздражаться по пустякам и покрикивать на людей. «Спокойно, спокойно! — говорил он себе. — Это ведь только начало, впереди еще много чего будет, побереги нервы давай!» — и опять срывался. Чаще всего его сердили эвакуированные, которые всё на что-то жаловались и чего-то просили. Он раздражался и повышал голос, а потом ему становилось стыдно: вспоминал, что эти люди оставили свои жилища, друзей и многие семью, что вот у этого человека, на которого он сейчас кричал, дети, жена и мать за тысячи километров отсюда, в осажденном городе, — может, умерли от голода и холода, может, их изувечила бомба, — а он-то, человек, стоит у станка и работает… И Евдоким говорил отчаянным голосом:

— Ну, не обижайся. Ладно, поговорю с директором, поищем тебе новое жилье…

Встречаясь иногда на заводе с Натальей, он наскоро перебрасывался с ней парой слов — что пишет Николай, как дети… Однажды заметил, что она исхудала и пожелтела; пригляделся — а у нее на виске седые волосы… Евдоким спросил:

— Ты чего такая?

Она нахмурилась:

— Такая, как все.

— Что мужик пишет?

— Ничего особенного. Жив.

— Ты детей к нам приводи. Пусть у нас живут.

— Хорошее дело. Нарожала да матери спихну?

— А ты давай не разговаривай! — закричал он, уже убегая. — Давай приводи, сказано тебе!

День и ночь дымили трубы Кружилихи.

Шли на запад сквозь пургу эшелоны с танками и орудиями.

Однажды Евдоким, придя домой, сказал Евдокии:

— Ну, Дуня, немцев отогнали от Москвы.

27

Идут дни. Идут годы.

Враг отбит. Полчища аспидов откатились на запад. Где-то у самых границ фашистской Германии сражаются теперь Павел и Екатерина Чернышевы. Радио передает, что ни вечер, приказы о победах. Люди ходят повеселевшие и подобревшие.

Сашенька дождался своего часа — записался добровольцем. Но не добился, чтобы послали на фронт. И на корабль не попал, а держат его, к великому облегчению Евдокии, в тылу, в сухопутном училище.

Наталью назначили помощником главного конструктора. Детей, Володю и Лену, она давно перевела на улицу Кирова, к Евдокии, а сама живет на заводе — ночует в дежурке, завтрак и обед ей приносят в конструкторскую. Она стала как будто еще выше, в ее голосе и осанке выражение властности. Сбываются ее мечты. Ей кажется, что вся ее жизнь — здесь, что дети ей помеха, напрасно она их родила… Но вот дети заболели корью, и Наталья с трудом сосредоточивается на работе и не дождется вечера, когда можно съездить

к ним, своей рукой дать лекарство, поставить градусник, приласкать. И, равнодушная к еде, презирающая разговоры о пайках и карточках, она приходит в восторг от того, что в заводскую лавку привезли варенье — настоящее сахарное варенье, вишневое! Она несет полную банку и улыбается, предвкушая, как обрадуются дети, как Лена завизжит, а Володя крикнет: «Бабушка, где моя ложка?»

Дни идут.

В газете, в списке награжденных орденами, напечатано имя Чернышева Павла Петровича. Евдоким и Евдокия только собирались написать поздравление, — а от Павла письмо из госпиталя: ничего, мол, серьезного, рана пустячная, потерял немного крови, но ему сделали переливание, и он уже поправляется. Хорошо, коль правда!.. Он просит не беспокоиться, только писать почаще. Что-то от Клаши редко приходят письма… Тут Клавдия отводит глаза, а Евдокия вздыхает потихоньку. Уже два раза приходил тут какой-то в модном пальто, с черными усиками, ничего, приличный, вежливый: встретив Евдокию в сенях, посторонился и поднял шляпу… Но Евдокия готова побожиться, что брови у него подбритые, как у женщины, и не понравился он ей, бог с ним!

Она спросила Клавдию:

— По делу приходил?

— По делу, — так же коротко ответила Клавдия, и весь день они не разговаривали — дулись друг на друга.

После этого красавец с подбритыми бровями больше не показывался. Зато Клавдия совсем перестала бывать дома по вечерам.

И еще большая неприятность. Евдокия недоглядела, и Катину меховую горжетку побила моль. Катя думала сделать из этой горжетки воротничок и муфту, а моль проела три плешины на самых видных местах, и Евдокия ума не могла приложить, как написать Кате об этом несчастье.

Москвичи, ленинградцы, киевляне разъехались по своим местам. И профессор со своими тараторками уехал осенью сорок четвертого года. Все четверо горячо благодарили Евдокию за гостеприимство — да, подумайте, эти вздорные старухи тоже благодарили ее со слезами на глазах и целовали, счастливые, что возвращаются домой. Евдокия собирала их в дорогу и связала на память профессору шерстяные носки.

28

Клавдия пришла из театра, встала коленями на стул, прилегла на стол головой и грудью и томно сказала:

— Ну вот, я уезжаю.

— В командировку, что ли? — спросил Евдоким. Клавдия поднялась, вся вытянулась — вот сейчас отделится от пола и полетит; достала портсигар, скрутила папироску.

— Нет, совсем. Дайте огонька, Евдоким Николаич.

Держа перед ней зажигалку, Евдоким переспросил:

— Как совсем?

Евдокия замерла с полотенцем и тарелкой в руках. Клавдия изо всех сил затянулась дымом:

— Так… Приходится.

И заплакала:

— Как будто я виновата. Разве прикажешь чувству? Я хочу счастья… Это не жизнь! Молодость уходит…

Евдоким сказал тихо:

— Ну хорошо. Ну, допустим, увлеклась. Но ты же хоть возьми во внимание, что Паша еще в

госпитале.

— Вы меня сами вчера уверяли, что с ним ничего опасного. Что он там в госпитале здоровей, чем многие здесь в тылу.

— Все-таки не так же просто — нынче с одним счастье, завтра с другим. И сразу — нате вам — уезжаю!

— Он несчастный, — всхлипывала Клавдия. — Он из Литвы, у него фашисты всех убили.

— Зачем торопиться уезжать? — уговаривал Евдоким. — Обожди несколько месяцев, вернется Паша, теперь уже недолго; обсудите между собой, может, Паша тебе покажется лучше.

Клавдия зарыдала и захохотала, все сразу.

— Какой вы чудак, Евдоким Николаич. Что же тут обсуждать? Старая любовь умерла. Он уезжает на родину, я еду с ним…

— Ты послушай! Клаша!

Но тут Клавдия взвизгнула:

— В конце концов я ему жена!

Евдоким встал и ушел в спальню.

Евдокия сказала:

— А зачем он брови бреет? Несчастный, а брови бреет.

— Замолчите! — еще пронзительнее взвизгнула Клавдия. — Что вы понимаете!

И убежала наверх, дробно стуча каблуками по лестнице. Евдокия подумала, сняла передник, обтерла руки, стала натягивать пальто. Вошел Евдоким:

— Куда ты, Дуня?

— К Наталье. В завод.

— Зачем?

— Может, она ее уговорит.

— Сиди дома, — сказал Евдоким. — Наталья об такое дело мараться не станет.

И прибавил, помолчав:

— Сама слыхала — жена она ему. Этому…

Евдокия вздохнула и стала снимать пальто.

В молчании прошел час. Евдокия сказала:

— Я ее позову.

— Зачем?

— Она не ужинала ничего.

— Зови, — грустно сказал Евдоким.

Евдокия взошла наверх, отворила дверь. Клавдия лежала на кровати одетая, читала книгу.

— Клаша, — сказала Евдокия, — поужинай иди.

Клавдия опустила книгу и посмотрела на нее заплаканными глазами.

— Мама, — сказала она, — мне, правда, ужасно тяжело, что так получилось. Ах, бедный Паша,

бедный! Но я ничего не могу поделать, — сказала она с восторгом, закрыв книгой лицо, — я люблю!

29

В старой жестяной коробке от монпансье хранятся письма Павла, Кати и Саши. Каждое из этих писем Евдоким и Евдокия знают наизусть.

Вот письмо Саши:

«Милые мама и папа!

Пишу вам в чудовищном настроении, и может ли быть веселым человек, у которого все висит на волоске по той дурацкой причине, что он на год или на два опоздал родиться, ведь война идет к концу, а нас продолжают держать в училище, и нам угрожает, что мы не примем участия в военных действиях, а будут нас водить на занятия и в столовую, так что даже к шапочному разбору не попадем, как пессимистически выразился один мой товарищ, с которым мы написали заявления, требуя, чтобы нас пустили на линию огня, мотивируя, что мы шли добровольцами не для того, чтобы нас держали в тылу, но эти заявления ни к какому результату не привели, так что мы написали также в ЦК ВЛКСМ, надеемся, там отнесутся более чутко, о результатах вам сообщу.

Любящий сын, Александр Чернышев».

Письмо Кати:

«Милые папа и мама, до чего меня расстроило ваше письмо! До чего жаль Пашу!!! Что касается Клавдии, то скатертью дорога! Больно ненадолго хватило ее любви! Черт с ней!!! Я бы на месте Паши не стала плакать! Но он будет безумно страдать, я знаю! Он ее любит глубоко и страстно!!! Папа и мама! Вы мне обязательно пишите, как он реагирует! Мамочка! Отнеси Нине Калистратовне мое белое платье, что разорвалось на спине! Пусть она мне из него сделает блузку! К костюму, понимаешь? Желательно помоднее!!! Только я не знаю, как теперь носят! Гоним фашистов в хвост и в гриву! Да вы по сводкам знаете! Мамочка, попроси Нину Калистратовну, чтобы не очень копалась! Целую вас крепко-крепко, папа, мама, Наташа, Володя и Леночка!!! Кланяйтесь всем знакомым девочкам! Пишите как можно чаще и подробнее!

Ваша Катя.

Уверена, что вы ей ничего не сказали! Напрасно! Уж я бы ей отпела! Я бы все ей сказала, что думаю о ней!!!»

Письмо Павла:

«Мои дорогие.

Спасибо за сердечные письма. Я уже совершенно

здоров и возвращаюсь в строй. Пришлю новый адрес. Самочувствие у меня хорошее, не беспокойтесь обо мне. Горячо вас целую.

Павел».

И о Клавдии — ничего, будто не было ее…

30

Вечером в субботу приходит с завода Наталья.

Нахмуренная, с сжатыми губами, она приносит воду на коромысле, топит баню, купает детей — все быстро, молча. Потом сама купается и выходит повеселевшая, румяная, в красивом халате. Целует детей и говорит:

— Всю усталость с себя смыла.

Дети сидят на лежанке и болтают босыми ногами. Наталья укладывает их и по узкой лестнице с крутыми ступеньками поднимается в комнату Павла. С тех пор как уехала Клавдия, там никто не живет. На стенах висят рисунки. На одном пейзаже надписано мелко: «Клаше, любимой, в вечно памятный день 18.III.40 г.». Кроме этой надписи, ничто здесь не напоминает о Клавдии. Она забрала все до нитки, только этот пейзажик, дареный, с посвящением, видно, некуда было сунуть…

Наталья зажигает настольную лампу и садится писать письма мужу и брату Павлу. После отъезда Клавдии она пишет Павлу каждую субботу. Ни слова о Клавдии, ни слова об усталости, о том, как трудно. Написать о детях, об отце с матерью;

о работе; о том, что скоро конец войне, разлукам, несчастьям…

Воскресным утром Евдокия идет на рынок. Там толкотня, продают свиную тушенку и колбасу в жестянках, молочницы и торговцы сластями зазывают покупателей, певцы поют о громах победы, о верности жен и геройстве мужей, гадатели предсказывают будущее. Евдокия не прочь бы погадать и на картах, и на бобах, и в таинственных книгах, по которым предсказывают плутоватые слепцы, но ей совестно: увидят знакомые, подумают — «а жена Евдокима Николаича, Натальина мать, совсем некультурная баба, темнота». Неприятно будет и Евдокиму, и Наталье. Евдокия отвернувшись проходит мимо женщин, теснящихся возле гадателей: может — наверно даже, — среди этих женщин есть знакомые; им тоже неловко будет, если она их увидит за этим занятием.

Евдокия возвращается домой. Печь уже вытоплена, и они садятся завтракать впятером — Евдоким с Евдокией, Наталья и дети. Не по-воскресному просторно за большим столом, пусто в чернышевском доме! Но белы как снег занавески, пышно цветут Катины цветы, в полном порядке всё, словно только что вышли молодые хозяева

и сейчас войдут опять. В чистой рубахе сидит, отдыхая, на всегдашнем своем месте Евдоким. С прежней степенной повадкой движется между печью и столом Евдокия. Как прежде, чуть-чуть лукаво смотрят ее светлые глаза в легких морщинках, чуть-чуть улыбаются полные губы, но новым светом светлы этот взгляд и эта улыбка светом материнской любви и материнского терпения. Прямая, красивая, с первыми ниточками седины в гладко причесанных волосах, сидит Наталья, присматривая за детьми — чтобы не вертелись, не вскакивали, чтоб правильно держали ложку.

— Уж ты их муштруешь, как солдат, — говорит Евдокия. — Когда же ребятам и повольничать, как не в эти годы.

— Они и есть солдаты, — отвечает Наталья. — Мы все сейчас солдаты.

Володя поджимает ноги под стул и делает суровое лицо.

— А ты не помнишь, Дуня, — спрашивает Евдоким, — от какого числа последнее Катино письмо: от шестнадцатого или от семнадцатого?

Евдоким знает, что письмо от шестнадцатого; но он спорит с женой, чтобы, придравшись к случаю, достать письмо из жестяной коробки и в

десятый раз прочитать его вслух. И неподвижно глядя куда-то далеко-далеко — в дальние поля, куда ушла дочь, — будет слушать чтение Евдокия. Ласково задумается о сестре строгая Наталья, и затихнет мальчик Володя, с горящими глазами представляя себе танки, битвы и загадочную тетю Катю — что-то она делает сейчас?..

— Почтальон! — кричит Лена, глядя в окно.

— О господи, спаси! — говорит Евдокия. И все спешат в сени.

Девушка-почтальон, низенькая, толстенькая и рябая, роется в сумке и достает два письма.

— От Кати и Николая, — говорит Евдоким.

— От папы и тети Кати! — радостно-испуганно кричат Володя и Лена.

— Зайди, — говорит Евдокия почтальону. — Зайди, поешь горячего, ишь, отсырела вся.

— Некогда мне, — отвечает почтальон.

И идет дальше скорыми шагами в своих грубых мужских ботинках, зашнурованных веревочкой. Идет во всякую погоду по улице Кирова девушка-почтальон с полной сумкой фронтовых писем и стучится в окна, как судьба.

1944–1959